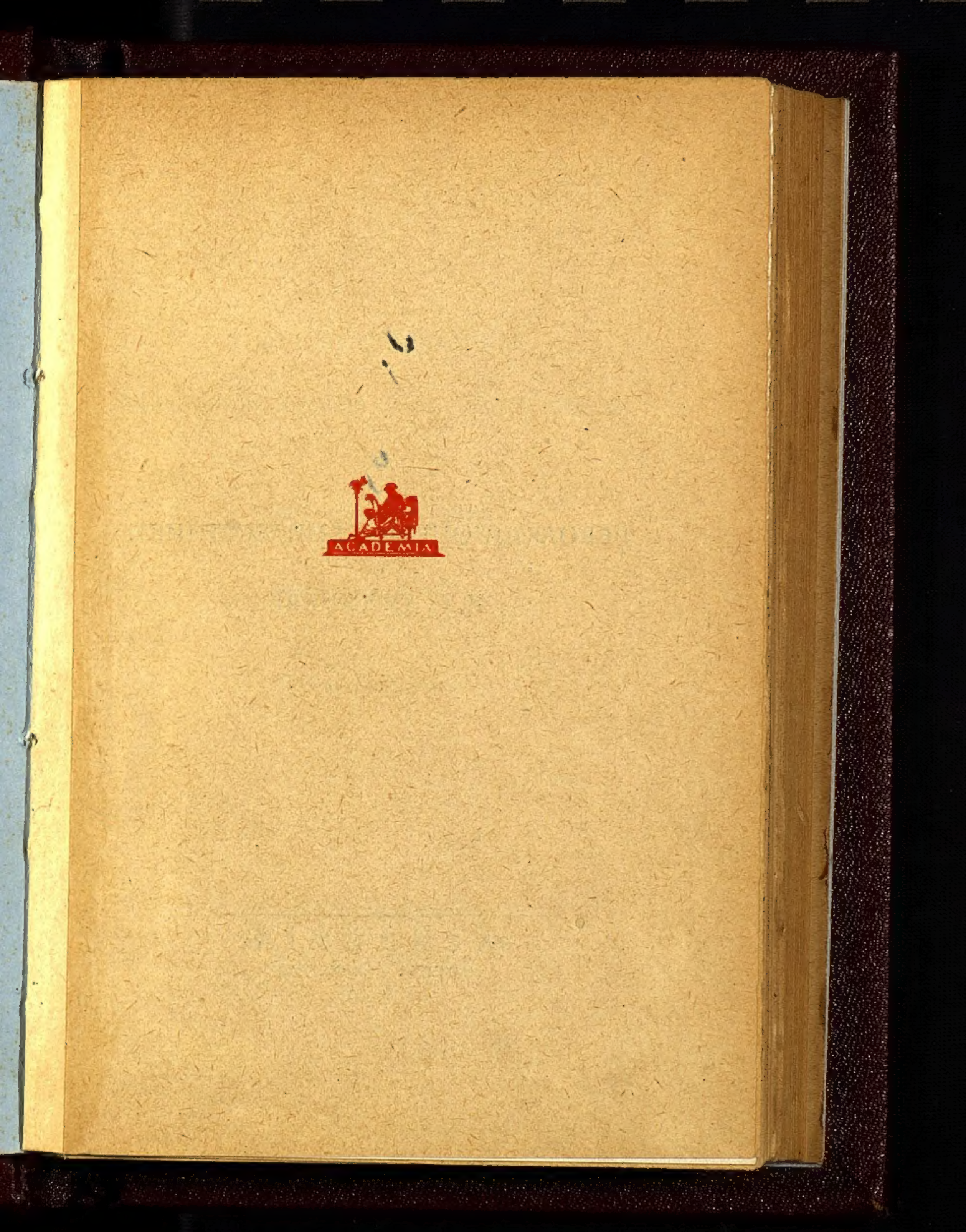


В ВОСПОМИНАНИЯХ РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ СЕМИДЕСЯТНИКОВ



ACADEMIA


ACADEMIA

П А М Я Т Н И К И
ЛИТЕРАТУРНОГО
Б Ы Т А

РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ-СЕМИДЕСЯТНИКИ
О
И. С. ТУРГЕНЕВЕ

«ACADEMIA»
МОСКВА — ЛЕНИНГРАД
1930

И. С. ТУРГЕНЕВ

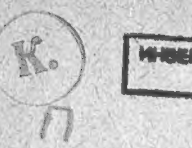
В ВОСПОМИНАНИЯХ РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ-СЕМИДЕСЯТНИКОВ

СОБРАЛ И КОММЕНТИРОВАЛ
М. К. КЛЕМАН

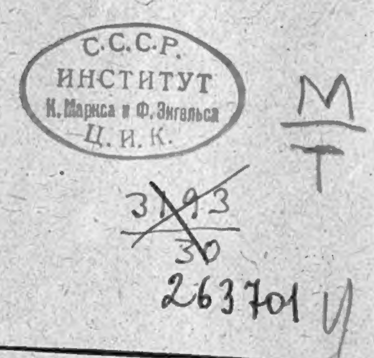
РЕДАКЦИЯ И ВВЕДЕНИЕ
Н. К. ПИКСАНОВА

С 9 иллюстрациями

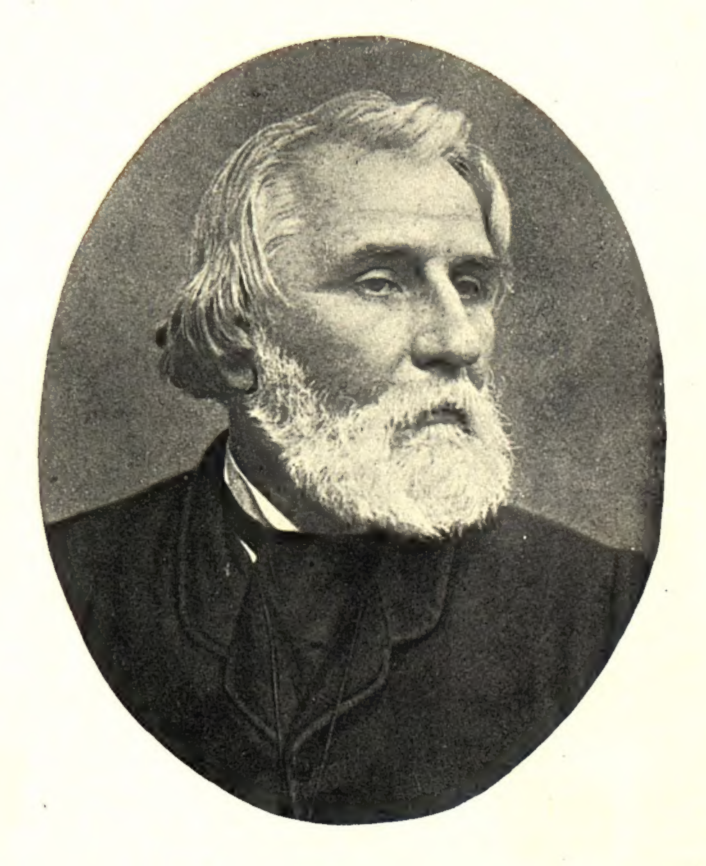
«ACADEMIA»
МОСКВА — ЛЕНИНГРАД
1930



Обложка по рисунку
худ. П. А. Шиллинговского



Ленинградский Областлит № 32178
Тираж 3070 – 12 л. Заказ № 190
Государственная тип. имени
Е. Соколовой. Ленинград,
пр. Кр. Команд., 29



Ив Тургенев

ПРЕДИСЛОВИЕ

Ядро предлагаемого сборника составляют воспоминания о Тургеневе революционеров: П. Л. Лаврова, П. А. Кропоткина, Г. А. Лопатина. К ним примыкают воспоминания радикалов-эмигрантов — Ашкинази, Драгоманова, Гинтовт-Дзевалтовского, встречавшихся с Тургеневым заграницей, в Париже. Особую группу составляют воспоминания о беседах с Тургеневым в Петербурге в 1880 году представителей молодой редакции „Русского Богатства" — Кривенко, Русанова, Златовратского. Из них Златовратский не был ни революционером, ни эмигрантом, но его воспоминания дорисовывают картину встреч Тургенева с радикалами из „Русского Богатства". Замыкается книга перепечаткой предисловия к редкому нелегальному сборнику „Из-за решетки" (Женева, 1877). Предисловие это написано Г. А. Лопатиным, стало быть — примыкает к его высказываниям в беседе 1913 года. Кроме того, оно живо изображает взгляды народников-революционеров на роман „Новь".

Мемуарам предпослан текст прокламации народовольцев 1883 года. Это — не воспоминания; однако, прокламация написана известным писателем, П. Ф. Якубовичем-Мельшиным, прекрасно вводит читателей в круг отношений революционеров к Тургеневу и является необходимым вступлением во многие подробности воспоминаний как Лаврова, так и членов редакции „Русского Богатства".

Составители книги стремились собрать на ее страницах всё, что известно из воспоминаний о Тургеневе

революционеров и радикалов. Сборник дает обильные материалы для бытовой, общественной, литературной характеристики Тургенева. Так, вырисовываются явственно его жизнь и отношения в Париже, его заботы о начинающих литераторах, политическая обстановка его сношений с революционерами и эмигрантами. Воспоминания проливают свет на либеральные манифестации 1879 года. Раскрывается борьба взглядов вокруг романов Тургенева „Дым" и „Новь". Ряд высказываний ярко обрисовывает огромное общественное впечатление стихотворения в прозе „Порог". Все такие данные легко воспринимаются из непосредственного чтения мемуаров. Социально-историческое же значение их определяется в нижеследующей вступительной статье.

Следует сказать, что в наш сборник включены и все письма Тургенева к авторам воспоминаний, какие только дошли до нас.

Воспоминания и письма снабжены комментариями М. К. Клемана, использовавшего разнообразный материал: и варианты воспоминаний в разновременных записях одного и того же мемуариста (напр., М. О. Ашкинази, П. А. Кропоткина), и некоторые редкие письма Тургенева, забытые даже специалистами (напр., письмо к петербургским студентам в 1879 году, письмо ректору Киевского университета), также безвестные показания очевидцев (напр., сообщение бывшего студента Горного института в нелегальном женевском издании) и т. д. Многочисленные примечания раскрывают, по возможности, все темные намеки текстов.

За помощь при составлении их мы благодарны А. А. Шилову и М. М. Клевенскому.

Указатель имен и названий облегчает справки.

Редактор

ТУРГЕНЕВ И РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ-СЕМИДЕСЯТНИКИ

1

В богатой плеяде русских писателей 60 — 70-х годов прошлого века не было ни одного, который бы так интересовался революционерами, как Тургенев.

Толстой, вынесший из своего знакомства с Чернышевским только крайнее нерасположение к этому мыслителю-революционеру, в те годы удалился в Ясную Поляну и был поглощен семейным счастьем, художественным творчеством и педагогической деятельностью.

Достоевский, некогда прикоснувшийся к революционной мысли, потом, вернувшись из Сибири, перешел к ожесточенной борьбе с нею. Он, конечно, интересовался революционерами, но узнавал о них из книг и газет да из устных сообщений, сам же не встречался с теми живыми деятелями революции, коих с такой озлобленностью обличал в „Бесах".

Нечего и говорить о Гончарове, Майкове, Писемском, Островском, Полонском, Григоровиче и многих других; они могли различаться между собою степенью либерализма или консерватизма, но все одинаково чуждались встреч, не говорю уже — приятельства с революционерами.

Тургенев был не таков.

С начала шестидесятых годов он знакомится с Артуром Бени, будущим гарибальдийцем, тепло к нему относится, принимает его в Спасском, потом вступается за

его доброе имя. В те же годы Тургенев находится в тесном общении с Герценом и Огаревым, переписывается с ними, ездит к ним в Лондон. Он знает, что это рискованно, и вскоре процесс 32-х (1863 — 1864 гг.) подтвердил это. Тургенева привлекают к делу, вызывают из Парижа в Петербург, и он вынужден давать свои показания в сенате. Но и после этого процесса Тургенев не прекращает сношений с Герценом, Огаревым и Бакуниным, хотя и сильно расходится с ними во взглядах.

С П. Л. Лавровым он знакомится еще в Петербурге, в 60-х годах. Резкие отзывы Лаврова о „Дыме“ не отталкивают Тургенева, и в Париже в 70-х годах он дружественно встречается со своим антагонистом, перешедшим на нелегальное положение. С Лавровым Тургенев ведет долгие и частые беседы о революционерах, субсидирует его революционный журнал „Вперед!“, хочет ехать в Цюрих, чтобы при его посредстве знакомиться с русскими революционерками. После 1 марта 1881 года, зная, что за ним в Париже следят русские шпионы, Тургенев не прерывает знакомства с Лавровым и назначает ему тайные свидания. „Меня-то полиция знает, как „белого волка“, и наблюдает за мной постоянно“, — писал он тогда Лаврову. Из-за сношений с Лавровым, по доносу какого-то Домбровского, Тургенева вызывают на неприятные объяснения к русскому послу Орлову, и возникает переписка с петербургскими властями. Дело еле удается потушить.

Тургенев дружит в Петербурге с Германом Лопатиным, за которым уже следят и которого вскоре арестуют. О Лопатине Тургенев переписывается с Лавровым, удачному побегу Лопатина из ссылки радуется — и т. д. Заграницей Тургенев знакомится и дружится с революционерами П. А. Кропоткиным и С. М. Кравчинским. Эмигранту М. Ашкинази он помогает напечатать его роман, где обличаются насилия царского

правительства. Другому эмигранту, И. Павловскому, Тургенев дает предисловие к его французским очеркам: „В одиночном заключении. Впечатления нигилиста", чем навлекает на себя нападки русской реакционной прессы. Когда в 1879 г. в Париже арестовали анархистку Кулешову по обвинению в устройстве секции Интернационала, Тургенев хлопочет о том, чтобы ее не выдали русскому правительству. Двумя годами раньше, в 1877, едва успев приехать в Петербург, Тургенев на другой же день спешит побывать на процессе Южно-русского рабочего союза в сенате и целую неделю посещает заседания суда.

Можно было бы привести десятки других аналогичных фактов, но достаточно и вышеизложенного, чтобы подтвердить, что интерес Тургенева к революционерам и революции был исключителен.

2

Можно бы из таких данных сделать вывод, что в лице Тургенева перед нами если не революционер, то писатель, глубоко сочувствующий революционерам и революции, или, в крайнем случае, радикал.

Но, мы знаем, Тургенев не был ни тем, ни другим, ни третьим.

Когда он был привлечен к ответственности по обвинению в сношениях с лондонскими пропагандистами („процесс 32-х"), Тургенев в письме к царю Александру II требовал, чтобы „отдали справедливость умеренности его убеждений, вполне независимых, но добросовестных". Через день, в частном письме к П. В. Анненкову, Тургенев говорит о польском восстании: „Нельзя не желать скорейшего подавления этого безумного восстания". В конце марта 1863 г. Тургенев дает письменные показания сенату по тому же процессу 32-х, где отгораживается от „действий против правительства" Ога-

рева и Герцена, „будучи, по самому существу своему, врагом всего, что походит на заговор“, и причисляя себя к „здравомыслящим русским, не разделяющим народа от царя, честной любви к разумной свободе от убеждения в необходимости монархического начала“. В 1879 г., когда клеврет Каткова, Б. Маркевич, печатно обвинил Тургенева в „кувырканьи“ перед радикальной молодежью, Тургенев напечатал ответ, где заявил: „Я всегда был и до сих пор остался „постепеновцем“, либералом старого покроя в английском династическом смысле, человеком, ожидающим реформы только свыше“. В том же году, в частном письме, он возмущается „безобразным известием“ о „безумном покушении“ А. Соловьева на царя. Демонстрацию 1876 г. на Казанской площади, с речью Плеханова, он называет „безобразно нелепым происшествием“, „грязной пеной“. Десятью годами раньше, в 1866 г., после покушения Каракозова, после великосветского „благодарственного молебна“ в Баден-Бадене, на котором и сам присутствовал, Тургенев пишет: „все чувства слились в одно. Нельзя не содрогнуться при мысли, что сталось бы с Россией, если бы это злодейство удалось“.

Порицательными были оценки революционеров и в художественных произведениях Тургенева.

Если даже не считать „Отцов и детей“, где революционеры и радикалы 60-х годов усматривали в образе Базарова умаление нигилизма как общественно-политического движения, и забыть кружок Кукшиной, а взять только позднейшие произведения, то и их будет достаточно, чтобы выявить воззрения Тургенева на русские революционные движения. В 1867 г. в „Дыме“ Тургенев изобразил русских радикалов за границей в виде кружка Губарева. Невежество, глупость, сплетни, лень, тунеядство, стадность, корыстность, прикрытая радикальной

фразой,—вот что увидел Тургенев во всем общественном русском движении шестидесятых годов. Десятью годами позже (1877) Тургенев напечатал „Новь", где в стиле иронического гротеска и шаржа изображены народники-бунтари — „семинар, тупец" Остродумов, ограниченная, безличная Машурина, безвольный „лишний человек" Нежданов, карикатурный Кисляков, Маркелов с его „ограниченным умом" и жалким непониманием крестьян, его сторонники из крестьян — горькие пьяницы Кирилл и Дутик да еще Еремей, который первый выдал Маркелова полиции. Бессмысленным делом представлена сама пропаганда среди крестьян — „хождение в народ" Нежданова, сведенное к истерическим выкрикам в кабаках. Наконец, в рассказе „Отчаянный", написанном в ноябре 1881 года, в разговоре „о современных людях и делах", т. е. о деятелях русской революции, они названы „отчаянными" и сближены с нелепым, забулдыжным дворянским сынком Мишей Полтевым; рассказ замыкается сентенцией: „иной философ нашел бы родственные черты между ними и им. — И там, и тут жажда самоистребления, тоска, неудовлетворенность". Так в дни насильнической ликвидации партии народовольцев к пустому месту, к неждановской рефлексии сводилась Тургеневым ее героическая деятельность.

3

Если так относился к революционерам Тургенев, то как революционеры относились к нему?

В нашем сборнике читатель найдет десять статей, написанных русскими революционерами, эмигрантами, радикалами и посвященных Тургеневу. Не все революционеры, лично знавшие Тургенева, оставили о нем воспоминания, и не всегда оставленные воспоминания передают всё то существенное, что следовало бы рассказать. Всё

же и теперь можно сразу установить общий характер отношений революционеров и эмигрантов к Тургеневу.

Они были, в общем, сочувственны.

Мы знаем, что Лавров выступил против „Дыма“ с резким возражением (в „Отечественных Записках“ 1869 г.). Но когда он встретился с Тургеневым через несколько месяцев (в 1870 г.) в Париже, „встреча была радушная“. И после „Нови“ это радушие во взаимоотношениях не исчезло. В своих воспоминаниях Лавров пишет: „Весной 1877 г. я переселился в Париж, и личные мои сношения с Иваном Сергеевичем сделались теснее в последние пять лет его жизни, чем в прежнее время“. Тепло вспоминает Тургенева в свои поздние годы Г. А. Лопатин. Его симпатии явно сказались в той горячей тираде, какой он откликнулся на вопрос о роли П. Виардо в жизни и творчестве Тургенева. Прямо горячо отзывается о Тургеневе П. А. Кропоткин. Они познакомились в Париже зимой 1877—1878 г., т. е. после „Дыма“, после „Нови“. И вот что пишет Кропоткин: „Я переступил порог великого романиста почти с благоговением“. Тепло относились к Тургеневу и в той группе народовольцев, из которой вышла прокламация о смерти Тургенева.

Изложенные две группы фактов при сопоставлении вызывают впечатление контраста, противоречий.

Как примирить эти противоречия? Или, по крайней мере, — как их понять?

Как осознать это влечение Тургенева к революционерам и вместе с тем отталкивание от революции, нескрываемое постепеновство, даже — отсутствие мужества и готовность отречься от тех лиц, к которым сам так тянулся?

С другой стороны: как помирить сочувствие революционеров к Тургеневу и одновременно — отрицание многих его взглядов и неустойчивого политического поведения?

Многое тут объяснялось обаянием самой живой личности Тургенева.

Тургенев был добродушен и добр, он был неизменно любезен, внимателен, готов помочь — деньгами, советом, протекцией, он был чуток к чужой душе, он легко загорался сочувствием и бескорыстно ценил в людях доброе. Обаятельно действовал и большой ум Тургенева, и его высокая общая культура. Это обаяние личности мы отчетливо видим по воспоминаниям, помещенным ниже. Достоинства личности были так велики, что перевешивали те недостатки, какие тоже не оставались незамеченными. В воспоминаниях М. П. Драгоманова сохранились характерные признания. „Если позволено мне высказаться о впечатлении, какое на меня лично производил Тургенев, — то я скажу, что не видал я человека такой широты и свободы мыслей, такой разнородности интересов; с этих сторон у Тургенева была поистине „богоравная“ натура, как сказал бы древний грек. Необыкновенна была и доброта Тургенева, который вечно устраивал чьи-нибудь дела часто людей; не имевших на то никакого права. Но там где надо было показать какую-нибудь твердость характера, смелость, перед политической ли властью или перед первым, кто просто накричит на Тургенева или посмеется над человеком, с которым, повидимому, Иван Сергеевич находится в самых приятельских отношениях, там богоравный Тургенев пасовал и отрекался от мнений, от отношений“. Гинтовт-Дзевалтовский был предубежден против Тургенева до первой встречи. Но после первых бесед, получив от писателя ценные советы и помощь, уходил от него „согретый и ободренный“, „счастливый, удовлетворенный“.

Не менее, если не более — действовало обаяние художественного творчества Тургенева.

Следует помнить, что все революционеры и эмигранты, входившие в общение с Тургеневым и писавшие о нем

были моложе его по возрасту и, конечно, с отроческих лет любили его как писателя. И. И. Попов сохранил воспоминание, как волновался автор народовольческой прокламации, П. Ф. Якубович, поэт, беллетрист и критик, когда читал в газетах известия о ходе предсмертной болезни Тургенева: „Боюсь, что мы лишимся великого художника слова, которому после Пушкина нет равного в русской литературе. А какой удивительный стилист: язык тургеневский — это музыка. Я вновь перечитываю Тургенева и наслаждаюсь“. Кропоткин, который был моложе Тургенева на 24 года, отзывался еще горячее. „Из всех беллетристов XIX века Тургенев, без сомнения, не имеет себе равных по художественной отделке и стройности произведений. Проза его звучна, как музыка, — как глубокая музыка Бетховена, а в ряде его романов: „Рудин“, „Дворянское гнездо“, „Накануне“, „Отцы и дети“, „Дым“ и „Новь“, мы имеем быстро развивающуюся картину „делавших историю“ представителей образованного класса, начиная с 1848 года. Все типы очерчены с такой философской глубиной и знанием человеческой природы и с такою художественною тонкостью, которые не имеют ничего равного ни в какой другой литературе“. И в другом месте воспоминаний: „Своими „Записками охотника“ он оказал громадную услугу России, вселив отвращение к крепостному праву (я тогда не знал еще, что Тургенев принимал участие в „Колоколе“), а последующими своими повестями он принес молодой интеллигентной России не меньшую пользу. Он вселил высшие идеалы и показал, что такое русская женщина, какие сокровища таятся в ее сердце и уме, и чем она может быть как вдохновительница мужчины. Он нас научил, как лучшие люди относятся к женщинам и как они любят. На меня и на тысячи моих современников эта часть учения Тургенева произвела

неизгладимое впечатление, — гораздо более сильное, чем лучшие статьи в защиту женских прав". А при пересмотре своих „Записок" в 1920 году, близко к смерти, Кропоткин внес такое интимно-автобиографическое дополнение: „Повесть Тургенева „Накануне" определила с ранних лет мое отношение к женщине, и если мне выпало редкое счастье найти жену по сердцу и прожить с ней вместе счастливо больше двадцати лет, этим я обязан Тургеневу".

В художественном творчестве Тургенева была одна особенность, какую не могли не ценить деятели освободительного движения: его отзывчивость на общественные вопросы. Мы только что прочли горячие слова Кропоткина о „Записках охотника", „вселявших отвращение к крепостному праву". В прокламации народовольцев общественное содержание и общественное влияние творчества Тургенева охарактеризованы еще ярче: „Образы Рудина, Инсарова, Елены, Базарова, Нежданова и Маркелова — не только живые и выхваченные из жизни образы, но — как ни странным покажется это с первого взгляда — это типы, которым подражала молодежь и которые сами создавали жизнь. Борцов за освобождение родного народа еще не было на Руси, когда Тургенев нарисовал своего Инсарова; по базаровскому типу воспиталось целое поколение так называемых нигилистов, бывших в свое время необходимой стадией в развитии русской революции. Без преувеличения можно сказать, что многие герои Тургенева имеют историческое значение".

Эти заявления Якубовича сами имеют историческое значение, значение литературно-исторического документа — свидетельского показания.

4

В таких восприятиях и переживаниях поэзии Тургенева семидесятниками сказалась одна устойчивая черта, присущая психологии читателя.

Художественный образ, оторвавшись от творческого сознания писателя, объективировавшись в печатном тексте, становится неизбежно символичным, многозначным, суггестивным для каждого отдельного читателя и для разных социальных читательских групп. Художественный образ и целое художественное произведение часто воспринимаются не в том смысле, как их создавал поэт, а иначе — как их хочется видеть читателю. Так, „Ревизор" и „Мертвые души" были поняты Белинским и читателями 30 — 40-х годов не в том консервативном смысле, как их создал Гоголь, а в том „обличительном" смысле, как хотелось либеральной и радикальной разночинской интеллигенции. Так, творчество Островского было истолковано Добролюбовым гораздо радикальнее, чем мыслил сам драматург.

То же случилось и с Тургеневым.

Нам теперь трудно понять, как это и в чем революционно-настроенная молодежь могла подражать Нежданову или Маркелову. Но Якубович говорит об этом твердо и от имени революционной группы. Ясно, что и он, и многие видели этих героев Тургенева другими глазами, поняли их иначе, чем сам автор, вложили в эти образы иное содержание. Показательны здесь слова прокламации народовольцев — там, где она возражает либералам, опубликовавшим „как письменные, так и устные мнения И. С. Тургенева о русской революции, в которую он будто бы не верил, которой не служил". В прокламации здесь читаем: „Но мы и не утверждаем, что он верил. Нет, он сомневался в ее близости и осуществимости путем геройских схваток с правительством; быть может, он даже не желал ее и был искренним постепеновцем, — это для нас безразлично. Для нас важно, что он служил русской революции с е р д е ч н ы м с м ы с л о м с в о и х п р о и з в е д е н и й". И словно подхватывая слова

прокламаций, Лавров заявляет: „Радикальная молодежь разглядела в Иване Сергеевиче подготовителя ее борьбы, воспитателя русского общества в тех гуманных идеях, которые, *надлежащим образом понятые*, должны были фатально привести к революционной оппозиции русскому императорскому самодурству“. „Идеи, надлежащим образом понятые“, т. е. понятые как лозунги революции и социализма, это уже не идеи Тургенева, противника переворотов и социализма, убежденного индивидуалиста и „династического“ монархиста. Но художественные образы многозначны, и политическая оппозиционность произведений Тургенева понималась народниками в расширительном смысле.

Было одно произведение Тургенева, особенно памятное и высоко ценившееся революционерами: знаменитое стихотворение в прозе „Порог“. И оно было понято не совсем так, как задумано автором, но то искреннее преклонение перед героизмом революционной молодежи, какое так ярко там выражено, было дорого деятелям революции. С горячей благодарностью прокламация народовольцев говорит о Тургеневе: „он любил революционную молодежь, признавал ее святой“. „Перед целой литературой грязных ругателей этой молодежи, — подхватывает слова Якубовича Лавров, — он выставил ее, эту революционную молодежь, как единственную представительницу высокого нравственного начала, как „служительницу идеи, обвеянную ее сиянием“.

5

В том обстоятельстве, что многие революционеры 70-х годов примиренчески относились к одним чертам Тургенева и преувеличивали другие, сказалась и одна особенность самой тогдашней революционной среды, свойственная ее многим членам: отсутствие четкой классовости в по-

нимании и восприятии явлений. Революционеры-народники ни в себе самих, ни вокруг себя не осознавали достаточно четко классовых сил, двигавших поведением личности и борьбой общества. В своей прокламации народовольцы признавали, что Тургенев — „барин по рождению, аристократ по воспитанию и характеру“, но они не делали отсюда соответствующих выводов. Они спешили его барскому происхождению и характеру противопоставить его „чуткое и любящее сердце“, которое и помогло ему „сочувствовать и даже служить русской революции“. И эта замена классовой природы моральными достоинствами тесно связана с тем, как революционеры-семидесятники смотрели на самих себя. В той же прокламации читаем об этом: „Тургенев был честным провозвестником идеалов целого ряда молодых поколений, певцом их беспримерного, *чисто русского идеализма*, изобразителем их внутренних мук и душевной борьбы — то страшных сомнений, то беззаветной готовности на жертву“.

Характерно, что и Лавров смотрит на Тургенева сквозь тот же народнический идеализм. В своей огромной статье о Тургеневе, похожей скорей на исследование, чем на воспоминания, Лавров достаточно ясно определяет неверие Тургевева в социализм, отрицание им революционной борьбы, его умеренный либерализм и т. д. Но не дает этим чертам социологического объяснения, предоставляя читателям думать, что это просто личные особенности Тургенева.

В одном эпизоде, впрочем, в Лаврове сказался мыслитель, бывший в общении с Марксом и Энгельсом. Вспоминая, как на Пушкинском празднике 1880 года Тургенев был оттеснен Достоевским с его „широковещательными словами о всечеловеке“, и критикуя отожествление Тургеневым „народного“ и „национального“, Лавров неожиданно заговорил новым языком: „самая суть социального

вопроса последнего периода заключалась в противуположении понятия о „народе“ понятию о „нации“, понятия о народе, как экономическом классе, обреченном самою историею на классовое противуположение, на классовую борьбу с экономическими господствующими группами, — понятию о „нации“, как такому, которое соединяло, с точки зрения этнографической, культурной или политической, в одно целое все экономические классы и потому замазывало самый существенный вопрос истории, вопрос борьбы классов“. Лавров тут же добавляет: „Для Ивана Сергеевича этот вопрос в его грозном значении никогда не был ясен“. Это верно. Но вопрос не был ясен и самому Лаврову, так как он тут же „народ как экономический класс“ понимает именно в народническом смысле — как крестьянство, но не рабочий пролетариат. А главное — в круг „борьбы классов“ не включает самого Тургенева, тем самым „замазывая самый существенный вопрос“ в историко-социологическом понимании взглядов и поведения Тургенева.

6

Четкого классового анализа или оценки Тургенева так и не дал никто из революционеров-семидесятников — в силу своего идеалистического миросозерцания и в силу своей собственной (разночинской, мелко-буржуазной) классовости.

Но если отсутствовала явственная идеологическая установка, то в наличности оказалось непосредственное психологическое восприятие барской классовости Тургенева.

Такого восприятия не могло быть у Лаврова, питомца стародворянской семьи. Его не было и у Кропоткина, принадлежавшего к древнему титулованному дворянскому роду. Но от декабристов через петрашевцев до народничества революционные движения все более и более демократизировались в своем социальном составе. Во второй

половине семидесятых годов состав революционных организаций и примыкавших к ним радикальных кругов был уже почти сплошь разночинским; начинали вливаться в него и первые отряды рабочих и крестьян.

И когда вникаешь в воспоминания, собранные в нашей книге, начинаешь различать две группы среди мемуаристов: старшую и младшую. И младшая группа оказывается настроенной иначе, чем старшая — холоднее, требовательнее к Тургеневу.

Очень явственно такое настроение отразилось в воспоминаниях В. Ф. Гинтовт-Дзевалтовского. В то время как встречи в Париже с Тургеневым Лаврова были так дружественны, Гинтовт рассказывает (о начале 80-х годов) иное: „К моему появлению в Париже, с И. С. Тургеневым у колонии выросла глухая борьба. Эмигранты находили, что И. С. разыгрывает левого с левыми, а с правыми — правого, что это непозволительная игра. Иезуитизму нет места среди русских. В одни двери впускает либералов — Салтыкова-Щедрина, Стасюлевича, а в другие — русского посланника в Париже и иных прочих бюрократов, вплоть до вышептавшихся и выдохшихся чиновников, прожигающих во Франции остатки жизни и средств. Конечно, зеленая молодежь набрасывалась на И. С. с пеной у рта, а люди средних лет относились более умеренно, и были такие, что стояли горой за „красу и гордость отечественной литературы". Волна нападок то поднималась, то падала до полного штиля, и вдруг — караул! Тургенев поместил в русской ретроградной газете письмо, где называл себя либералом английского пошиба и что он не революционер. Никто не входил в мотивы этого письма. Повода к нему тоже никто не знал. Все азартно набросились на писателя, не принимая его объяснений. Вышибали из-под ног его скамейку, чтобы он повис у позор-

ного столба. Горячие и азартные советывали мне писать ему о делах, но на дом не ходить". Только советы того же П. Л. Лаврова заставили Гинтовта пойти к Тургеневу, чтобы переговорить о делах русской библиотеки в Париже. Его искренний, правдивый рассказ, помимо намерений рассказчика, восстанавливает перед нами контраст двух социально-политических групп: барской и разночинской — в их будничных соотношениях, без всяких еще идеологических столкновений.

Нуждавшийся в деньгах Гинтовт, отправляясь к Тургеневу, „весь далекий путь от Латинского квартала до улицы Дуэ совершил пешком". „Квартира маститого писателя — красивый двухэтажный особняк". Продрогшего гостя Тургенев усадил у камина и накрыл ему ноги пледом — „дорогой пуховой вещью". Когда позднее Гинтовт однажды подходил к дому Тургенева, „у подъезда, — рассказывает он, — стояла шикарная карета. Я воззрился на нее и любовался красотой лошадей и экипажа. Поднимаясь по лестнице, я был остановлен прислугой, быстро, полушопотом говорившей о приеме русского посланника и просившей зайти через час". Не буду пересказывать, какие чувства испытал при этом Гинтовт. Отмечу только другой эпизод: как Тургенев благожелательно навязал нуждавшемуся Гинтовту деньги — под предлогом аванса за его статью в газете. Гинтовт потом (через много лет!) вспоминал: „Позвякивая монетами, я шел домой с назойливо внедрявшейся в меня мыслью, что я получил больше, чем следовало за мою первую литературную вылазку.— Чтобы чорт побрал хороших людей, — думал я. — Со своим устремлением к филантропии они ставят людей в невозможное положение. К этим монетам в кармане мне противно дотронуться. И выбросив их на улицу, не поможешь делу. Только дураком назовут. Нет, я объяснюсь с Иваном Сергеевичем и в случае его неудовлетвори-

тельного ответа откажусь от дальнейшей получки, которая мне руки обжигает".

7

Яркую общественную и бытовую обстановку, в какой происходили встречи Тургенева с молодыми радикалами в 1880 году, рисуют воспоминания Кривенко, Златовратского и Русанова.

Кривенко вспоминает о Тургеневе: „В то время, о котором идет речь (1879—81 годы), он не пользовался особым расположением в тех кружках, к которым я принадлежал, на него были недовольны за его „Дым" и „Новь", а некоторые не забыли еще „Отцов и детей", но главным образом недовольны были „Новью". Когда группа молодых радикалов задумала преобразовать журнал „Русское Богатство" и попросить у Тургенева какой-нибудь рассказ или статью для журнала, то некоторые из сотрудников были против этого, говоря, что „не стоит кланяться" и даже „связываться с ним".

Как были недовольны „Новью" радикалы и революционеры, видно из предисловия к сборнику „Из-за решетки", напечатанному в 1877 году в Женеве; предисловие написано Г. А. Лопатиным, участником революционного движения. Откликаясь на только-что напечатанную в „Вестнике Европы" „Новь", Лопатин протестует против искажения в романе образов народников-революционеров. „Итак, вот мотивы, толкающие, по мнению Тургенева, наших революционеров на их дорогу: это — фальшивое общественное положение, житейские неудачи, обманутая любовь, умственная несостоятельность и слабость характера... Но факты жизни громко вопиют против такой простой разгадки". Ошибки Тургенева „показывают ясно, что даже сильный талант бессилен изобразить среду, относительно которой он имеет кое-какие

отрывочные сведения". „Если он и не натравливает общество на носителей новых идей, как это делают другие, то все-таки способствует составлению уродливого представления о новом историческом моменте и его деятелях". Заключение статьи Лопатина сурово: „Предлагаемого уже достаточно, чтобы показать, насколько заслуживают доверия лубочныя изображения наших революционеров, хотя бы и писанные патокой, как в первой части „Нови".

Но сам Тургенев, вечно жадный к новым знакомствам и наблюдениям, захотел познакомиться с молодыми радикалами-писателями. Русанов вспоминает: „На предложение беллетриста откликнулись далеко не все. Воздержались — что, впрочем и понятно было с их стороны — самые крупные представители тогдашней радикальной печати, да еще те, кто не простил Тургеневу его Базарова". На свидания не пошли ни Михайловский, ни Шелгунов.

Михайловский еще за три года до этих фактических свиданий в своей статье о „Нови" (в „Отечественных Записках" 1877 г.) говоря об отношении молодого поколения к Тургеневу, нарисовал условную встречу романиста с новыми читателями, и эта картина поразительно предвосхитила ту подлинную встречу, какая состоялась в 1880 году: „Кто привык „вязать и решать", быть выразителем и отчасти даже „властителем дум" своих современников, кто привык видеть, как толпа с волнением ждет его слова, тому тяжело очутиться в положении г. Тургенева. Кругом сумрачно и холодно, холодные, чужие лица, несколько даже изумленные изящной повелительностью манер бывшего любимца. Они знают, конечно, прошедшее любимца, но не переживали его с ним вместе, знают только как совершившийся факт, который был и быльем порос, а потому самоуверенность и плавная величественность, снисходительная небрежность движений

этого человека для них непонятны, несколько даже смешны. Ему непременно должно казаться, что все дело в каком-то пустячном, ничтожном недоразумении, устранить которое тоже чрезвычайно легко каким-то пустяком вроде грациозного жеста или приятной улыбки. Но чорт их знает, этих людей с такими холодными, чужими лицами. чорт их знает, в чем они полагают грацию и какую улыбку назовут они приятною. Тут так легко попасть впросак".

Сам Михайловский, как сказано, на свидание не пошел. Но другие, помоложе, приняли предложение Тургенева.

Одно из свиданий происходило в доме золотопромышленника миллионера К. М. Сибирякова, покровительствовавшего литературе. Н. Н. Златовратский живо описывает обстановку свидания. „Признаться сказать, до такой степени большинство из нас, — разночинских литераторов, — было робко, дико, застенчиво, что одно только антре салона привело нас в полное смущение, а когда мы вошли в богатое большое зало, убранное тропическими растениями, когда увидали впереди стоявшее отдельно кресло, а вокруг него целый ряд стульев, уже наполовину занятых неизвестной нам публикой, как будто ожидавшей выхода на эстраду знаменитого певца или музыканта, — мы смутились окончательно и сгрудились в сторонке около входной двери. Очевидно, нас ожидало впереди вовсе не то, на что мы рассчитывали. В публике говорили вполголоса, сам хозяин постоянно подходил к лестнице и смотрел вниз, чтобы не пропустить момента приезда гостя. Во всем чувствовалось что-то необыкновенно торжественное. Вдруг зазвенели по всем комнатам электрические звонки. Хозяин сорвался с места и бросился к лестнице, за ним поднялась хозяйка. Глаза всех напряженно обратились к дверям. По лестнице поднима-

лась величественная седая фигура Тургенева. Джентльмен с головы до ног, безукоризненно одетый, изящный и любезный, с свободно величавыми жестами, он, как истинный „король“ литературы, широкими, твердыми шагами прошел к приготовленному для него месту. Публика заняла полукруг стульев вокруг него — и Тургенев, как воспитанный, общественный человек, давно привыкший ко всевозможным салонам, тотчас, кажется, понял свою роль. Пока публика терялась, не зная, с чего начать разговор, он сразу взял все дело в свои опытные руки и начал свободно, оживленно и остроумно рассказывать о своей заграничной жизни, о встречах с разными особами, затем, мимоходом упомянув о современных русских делах, выразил сожаление об „обоюдных крайностях“ и, наконец, как-то совершенно неуловимо перешел к характеристике „народа“, который, по его мнению, растет не по дням, а по часам; мы не заметим, когда он будет совсем большой“.

Русанов подхватывает слова Златовратского и продолжает: „Вольные хлеба крепостного права, питавшие Тургенева в его молодости, пошли впрок. Все мы, по большей части разночинцы, перебивавшиеся с грехом пополам, почти ребятами выброшенные на литературный заработок, казались возле Тургенева какими-то гвоздями, сухопарыми, испитыми, что называется, без цвета и радости. Старшим из нас не было в то время и сорока лет, иным едва половина того, а борьба за существование провела уже по лицу у иных преждевременные складки. Но на громадном, благообразном, очищенном лице, — я чуть было не написал „лике“, — Тургенева 60 лет не оставили почти ни морщинки. Эффектно-седые волосы, белая борода только еще больше оттеняли поразительную моложавость этого наполовину библейского, наполовину джентльменского лица, на котором и свет лампы лежал как-то особенно правильно и мягко. Он, и сидя за чай-

ным столом, был выше нас целой головой, и его речь, плавная, сытая, я бы сказал серебряная, как он сам, лилась на нас сверху".

Русанов рассказывает, что дальше произошла серьезная беседа по политическим вопросам, и хотя были пункты острых разногласий, но кончилось мирно, и в следующий раз Тургенев встретился с Русановым и его товарищами „как со старыми друзьями". И впоследствии этот кружок (в его составе — и Гл. И. Успенский) дружественно сносился с Тургеневым. В 1891 г. С. Н. Кривенко очень заботливо проредактировал отдельное издание стихотворений Тургенева. Русанов, как и все политические деятели того времени, с уважением и благодарностью к Тургеневу упоминает „поразительно-сильную и всю проникнутую сочувствием к революционерам вещь" — его „Порог".

Но это уже не то. Можно было поддаваться личному обаянию Тургенева. Можно было ценить его щедрую помощь — материальную, моральную, литературную, — какую он неутомимо оказывал русским эмигрантам. Можно было высоко чтить его художественное творчество. Можно было испытывать к нему чувство горячей благодарности за все то доброе, что он сказал в своих произведениях о русском освободительном движении. Но после статьи Михайловского, после рассказов Русанова, Кривенко и Златовратского ясно, что при встречах в 1880 году друг против друга стояли представители двух разных миров, двух антагонистических социальных групп: уходящего либерального дворянства и наступающего радикального разночинства.

8

Сознавал ли сам Тургенев вполне ту социальную рознь, какая отделяла его от семидесятников?

По всем данным, какими мы располагаем, следует думать — нет. Как и мышлению народников, ему не была свойственна классовость в анализе социальных явлений. Вернее сказать — в анализе культурного общества. В крестьянстве Тургенев зорко видел расслоение, и его суждения о деревенских кулаках, „буржуазии в дубленой шубе“, замечательно метки и далеко оставляют за собою взгляды, например, Герцена.

Но классовость воззрений и поведения либерального дворянства, классовость разночинской интеллигенции ему была видна плохо.

Однако — не настолько плохо, чтобы Тургенев совершенно не понимал того антагонизма, какой так ярко выявился в бытовой обстановке его встреч с кружком „Русского Богатства“. И если Русанов с товарищами живо ощутили, — хотя не осознали, — чужеродность Тургенева-барина, то, конечно, и он живо ощущал чужеродность ему радикалов-разночинцев.

Тургенев ведь мог бы припомнить, что еще двадцать лет тому назад, на границе 50-х и 60-х годов, у него произошло первое — и резкое столкновение с воинствующими радикалами-разночинцами. Разумею столкновение Тургенева с Добролюбовым, поддержанным Чернышевским.

И все-таки он настойчиво стремился к сближению с разночинцами.

Сближение началось еще с сороковых годов, со времен Белинского. Во второй половине пятидесятых годов отношения с радикальной редакцией „Современника“ кончилось разрывом. Встречи и отношения 60 — 70-х годов пересказаны мною выше. Итак, в течение десятков лет продолжались эти отношения. В семидесятых годах они усилились и приобретают для историка особое значение, поскольку в отношения с Тургеневым вступают

теперь подлинные революционеры, социалисты, деятели подполья, террористы.

Вступая в общение с революционерами, Тургенев многим рисковал. Он возбуждал неудовольствие в тех умеренных общественных кругах, где больше всего вращался. Из членов Общества русских художников в Париже его собирались исключить — за то, что он провел на одно из собраний Общества П. Л. Лаврова. Его неоднократно обличали в реакционной печати за сношения с эмигрантами. Он, наконец, привлекался к судебной и административной ответственности за такие сношения. При этом Тургенев вовсе не отличался мужеством. Наоборот, он легко терял присутствие духа и преувеличивал опасности.

Что же так влекло Тургенева к революционерам?

В 1863 году, оправдываясь перед Александром II в своих сношениях с эмигрантами, Тургенев заявил: „я — писатель, ваше величество, и больше ничего: вся моя жизнь выразилась в моих произведениях, меня по ним судить должно“. Тургенев разумел тут художественные произведения. Однако, в литературном наследии Тургенева имеются не только художественные произведения, но и публицистика, притом — весьма обильная. Только самая малая доля этой публицистики вошла в собрание сочинений Тургенева. Некоторая часть и вовсе не была в свое время напечатана, обращаясь только в рукописных копиях. Таковы „Замечания о русском хозяйстве и о русском крестьянине“ (1842), „Письма из Берлина“ (1847), Записка об издании журнала „Хозяйственный указатель“ (1858), „Корреспонденции о франко-прусской войне“ (1870), „Александр III“ (1881) — и многие другие. Эти статьи рисуют нам Тургенева, как чуткого общественника, постоянно следившего за политическими событиями и вопросами. Еще ярче с этой стороны освещают его мно-

гочисленные письма к Герцену, где Тургенев часто высказывался до конца, с полной свободой. Живого интереса к проблемам политическим, социальным, экономическим он не терял до самых последних лет. В воспоминаниях Русанова о Тургеневе сохранилось важное сообщение: „Если напечатают когда-нибудь его письма из этого времени к Успенскому, который нас познакомил с Тургеневым, то из них читатель убедится, как Иван Сергеевич следил за литературной деятельностью нашей братии, и не только за беллетристикой, но и за публицистикой, и не раз встретятся в них рассуждения по поводу, например, той или другой чисто-экономической статьи (между прочим, и моих „Проявлений современного капитализма в России“, напечатанных в начале 1880 г. в „Русском Богатстве“)“. Письма Тургенева к Успенскому, к величайшему сожалению, не дошли до нас. Но из других, известных нам, высказываний Тургенева можно воссоздать целую систему его воззрений.

Эти воззрения и сам он, и окружающие, и историки определили как либерализм. Свой либерализм Тургенев выработал еще в сороковых годах и потом сохранил неизменным. В 1879 г. он заявил печатно: „убеждения, высказанные мною и печатно, и изустно, не переменились ни на йоту в последние сорок лет“. И именно в этом 1879 году, в свой приезд из заграницы в Москву и Петербург, Тургенев оказался как-бы символом, знаменем русского либерализма. В адресах и застольных речах русские либералы обращались тогда к нему с торжественным призывом, не без наивности: „Вы один в настоящее время сумеете объединить все направления и партии, сумеете оформить это движение, придать ему силу и прочность. Подымайте высоко ваше светлое знамя, на ваш могучий и чистый голос откликнется вся Россия, вас поймут и отцы и дети“. И Тургенев готов был принять этот призыв. На

речи он отвечал: „После всего, что мне пришлось здесь видеть и слышать, я прихожу к заключению, что я должен переселиться в Россию... Я знаю, что это дело, за которое мне приходится взяться, — очень нелегкое дело, лучше было бы взяться за него молодому человеку, а не мне, старику...“

Однако, это был только короткий, обманчивый порыв: по первому напоминанию начальства Тургенев стал уклоняться от публичных чествований и вскоре вновь выехал в Париж.

Тут обнаружилось то, что в спокойные минуты Тургенев сам ясно сознавал. Современник так записал мысли Тургенева: „Мы, т. е. я и мои единомышленники, — честные и искренние либералы и от всей души желаем воцарения в России благоденствия, правды и свободы; мы готовы много работать для достижения этих целей, но все мы, сколько нас ни есть, все хорошие и нескупые люди, не решимся рискнуть для этого самой ничтожной долей своего спокойствия, потому что нет у нас ни темперамента, ни гражданского мужества... Что делать, надо сознаться, что малодушие присуще нашей натуре“.

Безволие, бездеятельность русского либерализма Тургенев ощущал до боли ярко. Но он не мог не скорбеть „о судьбах своей родины“, не мог не „впадать в отчаяние при виде всего, что совершается дома“. Лавров свидетельствует: „во всех его словах высказывалась ненависть к правительственному гнету и сочувствие всякой попытке бороться против него“.

И вот, не надеясь на либералов, Тургенев искал тех, кто смог бы сломить политический деспотизм. У того же Лаврова находим ценнейшее показание о Тургеневе: „история его научила, что никакие „реформы свыше“ не даются без давления, и энергичного давления, снизу на власть; он искал силы, которая была бы способна произ-

вести это давление, и в разные периоды его жизни ему представлялось, что эта сила может появиться в разных элементах русского общества. Как только он мог заподозрить, что новый элемент может сделаться подобной силой, он сочувственно относился к этому элементу и готов был даже содействовать ему в той мере, в какой терял надежду, чтобы то же историческое дело могли сделать другие элементы, ему более близкие и симпатичные. Поэтому, когда я ему нарисовал картину одушевления и готовности к самоотвержению в группах молодежи, примкнувших в Цюрихе к „Вперед", он без всякого вызова с моей стороны высказал свою готовность помогать этому изданию".

Помогал Тургенев Лаврову не только деньгами. Ему же он доставлял сообщения о действиях русского правительства, получаемые из переписки с петербургскими высокопоставленными друзьями. Такие же сведения (и документы) он посылал для лондонских изданий Герцена и Огарева. По словам Лаврова же, Тургенев „вел долгие разговоры с П. А. Кропоткиным о его планах и взглядах на русские общественные дела и всячески помогал людям этого лагеря".

Больше того: Тургенев давал советы по составлению пропагандистских подпольных книжек! В „Нови", напечатанной в 1877 году, на вопрос Марианны: „Какие книжки принес тебе Павел?" Нежданов пренебрежительно отвечает: „Да... обыкновенные.—„Сказка о четырех братьях"... Ну, еще там... обыкновенные, известные. Впрочем — эти лучше". Эти — еще несколько лучше, но обыкновенные, известные — хуже... Однако, два года назад, в письме к П. Л. Лаврову в 1875 году, Тургенев пишет об известной пропагандистской сказке Степняка-Кравчинского: „эту сказку мне удалось прочесть только на днях. И вот что я имею сказать Вам. — Автор человек с талантом, владеет

языком—и весь его труд согрет жаром молодости и убеждения. Но тон не выдержан. — Автор не дал себе ясного отчета — для кого он пишет — для какого именно слоя читающей публики? Последствием этого сбивчивость и неровность изложения. — То для народа писано, то для более — если не образованного, — так более литературного слоя. Не избежал также автор того—что я готов бы назвать певучей, риторической или московской манерой — напр. самое начало, — мне кажется,—чем меньше таких уснащиваний—тем лучше. Но повторяю, — у Вашего знакомого есть и талант, и огонь—пусть он продолжает трудиться на этом поприще!" Пусть продолжает трудиться... Этот совет Тургенев давал революционеру-подпольщику относительно подпольной брошюры, восхвалявшей социализм и восстание. Г. В. Плеханов находил такие советы проявлением „необдуманности или какой-то странной двойственности у Тургенева". И конечно, здесь проявилась огромная двойственность. Тургенев был против социалистической и революционной пропаганды, против насильственного переворота и восстания. Но он был также против „правительственного гнета" — и знал, что мирными средствами его не свергнешь.

Наблюдая в революционерах волю к борьбе, революционный энтузиазм, Тургенев загорался надеждой, что они-то и сломят архаический государственный строй, мешающий России овладеть европейскими политическими порядками, ему так любезными.

Но Тургенева и пугали революционеры. Ведь они хотели на борьбу со старым строем поднять крестьян — взбунтовать весь народ. Тургенев же боялся крестьянского бунта. Он твердил слова Пушкина: „не приведи бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный!"

А когда революционеров постигали неудачи в борьбе с царским правительством, Тургенев легко впадал в бес-

сильное, вялое неверие в будущее, в тот скептицизм, который так свойствен рафинированным представителям упадающего класса. Об этом неверии Тургенева в победу революции неоднократно говорит Лавров.

Воспоминания о Тургеневе революционеров, эмигрантов, радикалов-семидесятников, напечатанные ниже, дают массу интересных сведений о них самих. Но еще больше интересны эти мемуары для Тургенева, для его личных настроений и быта, для его творчества. Самое же существенное, что в книге дано, что в ней, при медленном чтении раскрывается, — это общественная драма русского либерала 60-х — 70-х годов.

Воспитанный в старом, архаическом усадебном барстве, овладевая новой урбанистической культурой, Тургенев начинал отталкиваться от родной социальной среды и от того политического строя, который был ею создан и ее ограждал. Но победить этот строй силами либералов Тургенев считал невозможным. Он с надеждой обращался к новой силе — революционному народничеству. Новой силе он готов был принести дань восхищения перед ее героизмом и самоотвержением. Однако, эта сила была ему чуждой, инородной, даже враждебной, притом она стремилась к иному, большему чем то, о чем Тургенев мечтал. Он живо чувствовал и то, и другое. Когда эта сила терпела поражения, он не находил в себе того энтузиазма, той веры в будущее, какие одушевляли борцов. Он не мог сказать того, что они говорили на процессе 1877 года: революционное движение „может быть подавлено на некоторое время, но тем с большей силой оно возродится снова... И так будет продолжаться до тех пор, пока наши идеи не восторжествуют". Тургенев, наоборот, малодушно

отшатывался от борцов, разочаровывался в революционной борьбе, готов был поверить в незыблемость старого порядка. Но старый порядок, чиня расправу над побежденными на время революционерами, не щадил и либералов и беспощадно топтал их надежды на просвещение, на прогресс, на культурные государственные формы.

Так Тургенев и скончался в 1883 году, не увидев просвета, среди злейшей реакции.

Н. Пиксанов

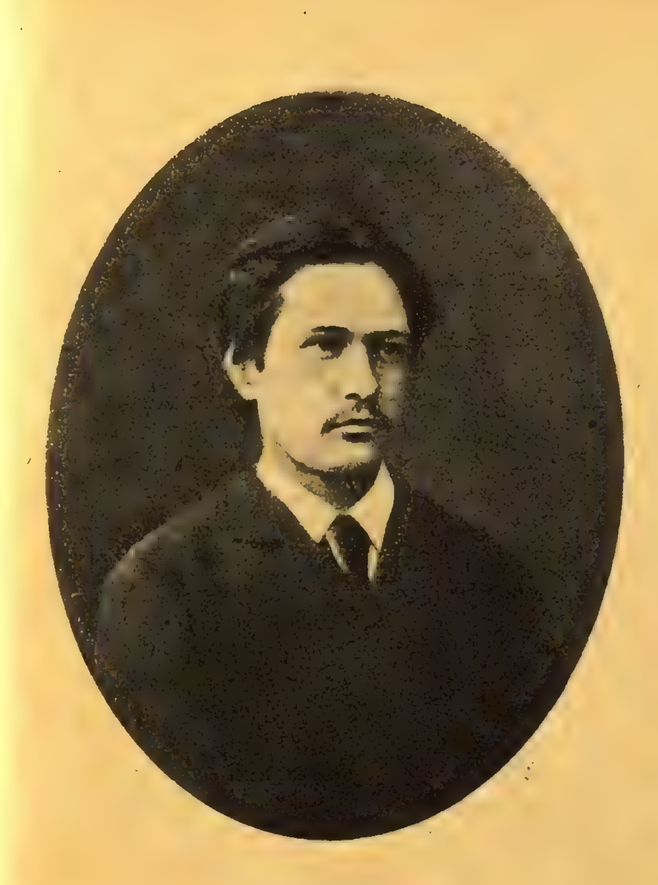
П. Ф. ЯКУБОВИЧ

И. С. ТУРГЕНЕВ

(ПРОКЛАМАЦИЯ НАРОДОВОЛЬЦЕВ)

Над незарытой еще могилой поэта, у его свежего трупа происходит настоящая свалка. Среди этого шума и гама громче всех раздаются голоса нововременских флюгеров, у которых за душой не имеется ни одного истинного, не продажного чувства, а в голове никакой ясной политической программы, кроме программы чуткого прислушивания к веяниям времени. В годину небывалого пригнетения родины эти бульварные руководители общественного мнения ударяются в область красоты, искусства для искусства и какой-то якобы высшей правды, вне условий места и времени, во имя формы глумятся надо всем, в чем просвечивает ненавистная им революционная мысль и чувство. Умер Тургенев — они и его привлекают в свои жирные объятия и его торопятся отделить ревнивой стеной от всякой злобы дня, от русской молодежи, от ее идеалов, надежд и страданий; лицемерно преклоняясь перед ним, лицемерно захлебываясь от восторга, они силятся доказать, что он был художник-поэт и ничего больше, пропагандист отвлеченной от жизни красоты и правды, и что в этом будто бы и заключается его великое общественное значение. Забитые в угол либералы пытаются протестовать против такой узкой постановки вопроса: но, с другой стороны, им ужасно хо-

чется прицепиться к такому удобному случаю, как погребение Тургенева, и отвести свою наболевшую либеральную душу хотя бы в грандиозной демонстрации легального свойства. Они дрожат и трусят, как бы кто не вырвал у них из рук этого предвкушаемого наслаждения, и с пеной у рта ополчаются поэтому на Лаврова, опубликовавшего известное письмо, клянутся всеми существующими клятвами в чистоте своих помыслов и намерений. Они забывают при этом даже то, что Тургенев, видя угнетение русской печати, не мог не сочувствовать свободному слову. Этим и объясняется и слабость их протеста против нововременской характеристики Тургенева, как исключительного художника. Но нам, русским революционерам, нечего страшиться; для наших целей совершенно безразлично, великолепны будут похороны Тургенева или же нет: нам важно не временное самоуслаждение, которым способны удовлетвориться господа либералы, а осязательные, реальные факты, смелые и заметные шаги вперед. Поэтому мы можем громко сказать, кто был Тургенев для нас и для нашего дела. Барин по рождению, аристократ по воспитанию и характеру, „постепеновец“ по убеждениям, Тургенев, быть может, бессознательно для самого себя своим чутким и любящим сердцем сочувствовал и даже служил русской революции. Не за красоту слога, не за поэтические и живые описания картин природы, наконец, не за правдивые и неподражаемо-талантливые изображения характеров вообще — так страстно любит Тургенева лучшая часть на-



П. Ф. Якубович

шей молодежи, а за то, что Тургенев был честным провозвестником идеалов целого ряда молодых поколений, певцом их беспримерного, чисто русского идеализма, изобразителем их внутренних мук и душевной борьбы, — то страшных сомнений, то беззаветной готовности на жертву. Образы Рудина, Инсарова, Елены, Базарова, Нежданова и Маркелова — не только живые и выхваченные из жизни образы, но, как ни странным покажется это с первого взгляда, — это типы, которым подражала молодежь и которые сами создавали жизнь. Борцов за освобождение родного народа еще не было на Руси, когда Тургенев нарисовал своего Инсарова; по базаровскому типу воспиталось целое поколение так называемых нигилистов, бывших в свое время необходимой стадией в развитии русской революции. Без преувеличения можно сказать, что многие герои Тургенева имеют историческое значение. Глубокое чувство сердечной боли, проникающее „Новь“ и замаскированное местами тонкой иронией, не уменьшает нашей любви к Тургеневу. Мы ведь знаем, что эта ирония не ирония нововременского или катковского лагеря, а сердца, любившего и болевшего за молодежь. Да к тому же, не с подобной ли же иронией относимся теперь сами мы к движению семидесятых годов, в котором, несмотря на его несомненную искренность, страстность и героическую самоотверженность, действительно было много наивного?.. Г. г. Стасюлевичами, Я. Полонскими и комп., якобы друзьями покойного, опубликованы как пись-

менные, так и устные мнения И. С. Тургенева о русской революции, в которую он будто бы не верил и которой не служил. Но мы и не утверждаем, что он верил. Нет, он сомневался в ее близости и осуществимости путем геройских схваток с правительством; быть может, он даже не желал ее и был искренним постепеновцем, — это для нас безразлично. Для нас важно, что он служил русской революции сердечным смыслом своих произведений, что он любил революционную молодежь, признавал ее „святой" и самоотверженной... Катков с нами согласен. Согласно и правительство, разославшее 17-го сентября всем петербургским редакциям циркуляры следующего содержания: „Не сообщать решительно ничего о полицейских распоряжениях, предпринимаемых по случаю погребения И. С. Тургенева, ограничиваясь сообщением лишь тех сведений по этому предмету, которые будут опубликованы в официальных изданиях" (№ 3359).

Прокламация, выпущенная нелегальной типографией партии „Народная Воля" и раздававшаяся в Петербурге во время похорон Тургенева 27 сентября 1883 г., вводит нас сразу в ту борьбу разнообразных общественных группировок, которая разыгралась вокруг имени писателя с конца 70-х годов.

Страстный полемический тон этой листовки, написанной П. Ф. Якубовичем, становится понятным, если вспомнить события предшествовавших лет, вспомнить, что дал для установления литературной и общественной репутации Тургенева 1879 год.

Обычный приезд Тургенева в Россию, павший в 1879 г. на более ранние месяцы — февраль и март, был использован либералами для устройства шумной антиправительственной демонстрации. Неожиданно для Тургенева,

вполне справедливо жаловавшегося на холодное отношение к нему критики и читателей 60-х—70-х годов, каждое его публичное выступление в приезд 1879 г. сопровождалось бурными овациями, хотя он не написал за последние годы ничего такого, что могло бы вызвать столь резкое изменение читательских настроений. Причина внезапного взрыва энтузиазма известных групп читателей лежала всецело в перемене общественных настроений.

„Тургеневские празднества“ протекали настолько бурно, носили столь явно выраженный оппозиционный характер, что правительство поспешило предложить Тургеневу отказаться от дальнейших выступлений и ускорить свой отъезд за границу. В чествовании писателя была, однако, еще одна сторона, которая в дальнейшем привела к острой полемике между либералами и радикалами. В приветственных речах и адресах Тургеневу настойчиво предлагалось стать во главе общественного движения: „Вы одни в настоящее время сумеете объединить все направления и партии, сумеете оформить это движение, придать ему силу и прочность“. Голоса эти были так настойчивы, что в одной из ответных речей Тургенев высказал свою положительную решимость „принять на себя роль объединителя партий и руководителя политического движения в России“.

В обстановке 1879 года, после ряда быстро следовавших один за другим террористических актов, накануне организации „Народной Воли“, эти предложения и заявления имели вполне определенный общественный смысл. Авторитет популярного писателя противопоставлялся революционному движению. Устраивая антиправительственную демонстрацию, либералы выступали одновременно и против революционеров и пытались захватить общественную инициативу в свои руки.

Эта тенденция либеральных почитателей Тургенева вполне ясно обнаружилась в следующие годы. Поэтому вполне понятно, что осенью 1883 г., когда похороны Тургенева могли быть использованы, как предлог для проведения шумной либеральной демонстрации, революционные круги резко воспротивились этому.

26 августа 1883 г., через четыре дня после смерти писателя, П. Л. Лавров поместил во французской социалистической газете „Justice“ письмо, заявляя, что Тургенев

по собственной инициативе оказывал материальную поддержку зарубежному революционному изданию „Вперед!". Русская либеральная печать пыталась замолчать письмо Лаврова, мешавшее использованию памяти Тургенева, как орудия борьбы с „крайними течениями русской общественности", но за него ухватился консервативный лагерь. Катков перепечатал это письмо без всяких комментарий в передовице „Московских Ведомостей" (№ 251 от 10 сентября 1883 г.). Либералы были поневоле принуждены прервать молчание. М. М. Стасюлевич поместил обширную статью в „Новостях" (№ 244 от 14 сентября), в которой отрицал факт поддержки Тургеневым журнала „Вперед!" и объявлял утверждение Лаврова злостной клеветой. Я. П. Полонский выступил с заметкой „Два слова о Тургеневе. Письмо в редакцию" („Новое Время", № 2711 от 15 сентября), в которой, не отрицая ежегодных взносов Тургенева в редакцию журнала „Вперед!", объяснял их желанием Тургенева оказать в прикрытой форме материальную помощь бедствующему Лаврову. Сношения Тургенева с эмигрантами Полонский объяснял профессиональным писательским интересом художника к жизненным явлениям: „Он изучал нигилизм и всякие другие измы, как ученый доктор изучает гашиш (даже на себе пробует его действие), для того, чтобы написать о нем ученую диссертацию".

Объяснение Полонского было в большей или меньшей степени усвоено всей либеральной печатью. Консервативная пресса не соглашалась с этими соображениями. Поддержка, оказанная Тургеневым революционерам, доказывала, в глазах катковцев, его политическое безразличие: „Тургенев не милостыню давал Лаврову, который в ней не нуждался. Пятьюстами франков, которые Тургенев ежегодно посылал в редакцию революционного журнала „Вперед!", и другими подобными щедротами он откупался от травли, которая не давала ему покоя в шестидесятых годах и которая сразу прекратилась в семидесятых, когда Тургенев решился платить дань и Печенегам и Половцам". А отсюда следовал вывод: „Тургенев был художником по преимуществу. У всякого свое призвание. Политические интересы мало занимали его, и он не имел твердого гражданского образа мыслей" („Московские Ведомости" 1883, № 261 от 20 сентября, пере-

довица). Сторонником принципа „искусство для искусства" рисовала Тургенева и другая консервативная газета — „Новое Время" — в ряде мелких заметок и в критических очерках В. Буренина „Литературная деятельность Тургенева", печатание которых началось в этой газете с 9 сентября. Таким путем консерваторы пытались воспрепятствовать либералам превратить похороны Тургенева в политическое выступление.

Прокламация партии „Народной Воли" устанавливала точку зрения революционеров на литературное наследие умершего писателя и при сложившихся обстоятельствах не могла не быть страстно полемической.

Хорошим комментарием к прокламации П. Ф. Якубовича является следующий рассказ народовольца И. И. Попова.

„Охлаждение к Тургеневу со стороны молодежи, которое отмечалось в конце 70-х г. г. и особенно с выходом его „Нови", после приезда И. С. в Россию на пушкинские торжества, общения с учащейся молодежью и с молодыми литераторами сменилось теплым чувством. „Стихотворения в прозе", особенно „Порог", окончательно растопили холодок молодежи по отношению к И. С.—Тургенева мы считали либералом и западником, который не может не быть оппозиционно настроен к русскому правительству. Мы знали, что и оно недолюбливало писателя... И вот, когда Тургенев заболел, то молодежь, как и все русское общество, с тревогой следила за его болезнью.

„Болезнь И. С. совпала с каникулярным временем, когда многие уехали из Петербурга, а мы, оставшиеся, были завалены работой и переживали тяжелый момент неожиданных провалов. Несмотря на все это, болезнь И. С. не выходила из поля нашего зрения. При встречах с П. Ф. Якубовичем, который был большим почитателем писателя, мы обменивались впечатлениями от газетных известий о ходе болезни, и он как-то раз сказал:

— Боюсь, что лишимся великого художника слова, которому после Пушкина нет равного в русской литературе. А какой удивительный стилист: язык тургеневский — это музыка. Я вновь перечитываю Тургенева и наслаждаюсь.

„Встречались мы с П. Ф. в это время или у его брата В. Ф., доцента Медико-Хирургической Академии, талантливого детского врача, имевшего обширные научные труды и читавшего лекции, или у Р. Ф. Франк, невесты П. Ф.

П. Ф. читал нам Тургенева, особенно его „Стихотворения в прозе“; в манере чтения у него, как поэта, отсутствовала простота, хотя его чтение многим нравилось.

„В нашей группе мы обсудили и приняли чье-то предложение постараться на собраниях рабочих выяснить значение Тургенева для народа и освободительного движения. Это задание было передано в кружки, которые занимались с рабочими. Когда Тургенев умер, мы устроили у рабочих поминки по Тургеневе, на которых выступали и мы, члены центрального кружка, даже П. Ф., никогда ранее не выступавший перед рабочими. Александр Иванович (псевдоним Якубовича) говорил просто, с большим чувством и производил большое впечатление на рабочих. Он читал и некоторые главы из „Записок охотника“, „Стихотворений в прозе“ и др. Манера чтения П. Ф. нравилась рабочим. По полицейским условиям эти собрания не могли быть многолюдными, а потому происходили часто и затянулись почти до похорон, на которые пришли многие рабочие, чтобы проводить И. С. Одним студенческим кружком, занимавшимся с рабочими, был поднят вопрос о возложении венка на гроб писателя от „рабочей группы“. Кружок проектировал терновый венок, в центре которого из красных цветов должна была быть надпись: „От мертвых — Бессмертному“, а на лентах— „Тургеневу — рабочая группа партии Н. В.“. Но мы отклонили это предложение, потому что оно исходило не от рабочих, а подпись „От мертвых — Бессмертному“ признали претенциозной и совершенно неподходящей для революционно настроенных рабочих. По нашему мнению, Тургенев был настолько велик, что не нуждался в искусственном создании проявления горя по поводу его кончины. Это профанировало бы его память.

„Тургенев умер 22 августа. Разрешение привезти его тело из Парижа и похоронить в Петербурге русскими властями было дано в половине сентября, похороны состоялись только 27 сентября

„Таким образом, между кончиной и днем похорон прошло больше месяца — время, достаточное для того, чтобы на похоронах было возможно устроить внушительную демонстрацию. Об этом мечтала вся либеральная печать; этого боялись правительство и „Московские Ведомости“. Мы,

революционеры, были далеки от мысли устраивать на похоронах Тургенева политическую демонстрацию и даже, как я уже говорил, отвергли предложение о возложении венка от рабочих. Но обойти молчанием кончину великого писателя и мы не считали возможным. Идея выпустить к похоронам „Обращение к обществу“ по поводу кончины Тургенева принадлежит Якубовичу.

„Первая редакция этого обращения, составленного П. Ф., была чужда всякой полемики. Но пока везли тело в Россию, у гроба писателя развернулась ненужная и обидная для памяти его полемика, поднятая „Московскими Ведомостями“. Катков перепечатал из парижской газеты письмо Тургенева к П. Л. Лаврову и из письма сделал вывод, что Тургенев сочувствовал и помогал революционерам. Стасюлевич, Полонский и либеральная печать заподозрили подлинность этого письма и обвиняли Лаврова чуть ли не в подлоге.

„Мы, революционеры, ни на минуту не сомневались в подлинности письма Тургенева к Лаврову и в честности П. Л. Отношение либеральной печати глубоко нас возмутило.

„Группа студентов с А. Н. Шипициным, презрительно говорившим о „либералишках“, послала письмо в „Вестник Европы“ и в „Новости“. Но оно не было напечатано. П. Ф. Якубович был глубоко возмущен и ходил в „Вестник Европы“ объясняться, а потом говорил нам: — „Нет, с ними ничего не сделаешь. Вот выясним и тогда напишем опровержение, если цензура пропустит. Цензура, конечно, не пропустит, и ложь может остаться неопровергнутой. Наше обращение к обществу нужно переделать: нельзя обойти молчанием всю эту „свистопляску“ у гроба Тургенева“.

„Так волновался Якубович. Обращение было переделано; в него было внесено много полемики, и оно, по моему мнению, много проиграло сравнительно с первой редакцией.

„К прокламации „И. С. Тургенев“ было приложено стихотворение в прозе „Порог“. То и другое было напечатано в типографии Шабалина безукоризненно на одном листе хорошей бумаги.

„В связи со всей этой, по выражению Якубовича, „свистопляской“, возложение венка от рабочих явилось бы

большой ошибкой и дало бы повод к новым нападкам и инсинуациям со стороны охранительной печати. В самой партии „Н. В.“ было решено не делать, кроме прокламации, никаких выступлений.

— „Тургенев велик и не нуждается в искусственном создании выражения горя по поводу его кончины. Не будем делить его и решать вопрос — наш он или не наш. Предоставим либералам это, а мы, революционеры, докажем, что мы умеем ценить великих писателей, хотя бы они были не наши“.

„Так резюмировал П. Ф. Якубович наши разговоры о необходимости нашего участия в похоронах. (И. И. Попов. Минувшее и пережитое. Воспоминания за 50 лет. Ч. I. Детство и годы борьбы. Изд. „Колос“. Л., 1924, стр. 109—111).

П. Л. ЛАВРОВ

И. С. ТУРГЕНЕВ И РАЗВИТИЕ РУССКОГО ОБЩЕСТВА

Статья П. Л. Лаврова „И. С. Тургенев и развитие русского общества“, напечатанная в № 2 зарубежного партийного органа „Вестник Народной Воли“ за 1884 г., явилась продолжением полемики с либералами, пытавшимися использовать авторитет популярного писателя для укрепления своей общественной позиции и борьбы с остатками революционного народовольчества. Эта статья обосновывала точку зрения русских революционеров, заявленную первоначально в письме П. Л. Лаврова в редакцию газеты „Justice“ и прокламации П. Ф. Якубовича, о связи И. С. Тургенева с русским освободительным движением, об объективном содействии, оказанном его художественным творчеством прояснению революционной идеологии.

В настоящем издании воспроизводится только вторая часть статьи П. Л. Лаврова, часть, построенная на его личных воспоминаниях.

Начало знакомства Тургенева с Лавровым относится к концу 1859, началу 1860 г. Высказываясь о статье „Гамлет и Дон-Кихот“ и о лекции Тургенева о Пушкине (конца 1859 г.), П. Л. Лавров сообщает:

„К этому же времени относится и первое — весьма, впрочем, не близкое — мое знакомство с Иваном Сергеевичем по поводу чтений в пользу литературного фонда, на первом из которых (10 янв. 1860 г.) он читал „Гамлета и Дон Кихота“, а потом способствовал устройству моих „Бесед о современном значении философии“ в ноябре того же года и в пользу того же фонда“.

Никаких сведений о встречах Тургенева с Лавровым в дальнейшие годы, вплоть до 1872 г., в его воспоминаниях не имеется, но есть любопытная запись о „проекте конституции“, написанном будто бы Тургеневым.

„Осенью 1861 г., около эпохи „колокольного похода“ и появления воззвания „К Молодой России“, шли в петербургском литературном мире горячие толки об осно-

вании литературного клуба (который и был основан под фирмою „шахматного“ клуба), и мне приходилось чаще обыкновенного бывать на собраниях молодых литераторов и нелитературной молодежи, группировавшейся около них. На одном из этих вечеров хозяин, мой близкий тогдашний приятель-литератор (и теперь здравствующий), познакомил меня с молодым человеком поляком, которого звали Бени и который только что приехал из-за границы. Этот же литератор мне говорил, что Бени привез с собою разные бумаги от Тургенева и от Герцена (кажется) и, между прочим, я очень хорошо помню, что говорилось о „проекте конституции“, написанном И. С. Тургеневым. Ни одной из этих бумаг я не видал и не читал. Я был сотрудником „Отечественных Записок“ и редактором „Энциклопедического словаря“. Меня считали очень умеренным. В „Современнике“ и в „Русском Слове“ печатались против меня статьи. Я не считал себя в праве спрашивать, чтобы мне показали эти бумаги, а те, до кого дело относилось, не находили нужным сообщать мне подобные вещи. Тем не менее мне случилось присутствовать чуть ли не при последней минуте существования этих бумаг. Несколько позже, в период гонений на студентов, арестовали сходку их в квартире литератора Альбертини. Узнал я это немедленно на вечере у одного бывшего правоведа (ныне почтенного сенатора, если он не умер, как до меня дошли смутные слухи), где был и Бени и мой приятель-литератор, меня с ним познакомивший. Бени очень испугался полученного известия, опасаясь, повидимому, тоже ареста. Высказана была необходимость сжечь бумаги, которые все находились в кармане у Бени (не знаю, все ли, но, насколько помнится, тут тоже говорилось о проекте конституции Ивана Сергеевича). Мой приятель и Бени удалились в другую комнату обширной квартиры хозяина, который охотно называл себя „чиновником-пролетарием“. Там совершилось, повидимому, ауто-да-фе. Так как весьма возможно, что до сих пор живы люди, которые тогда не только слышали о существовании проекта конституции Ивана Сергеевича, но и читали его, то очень не худо было бы, если бы они сообщили то, что помнят об этом, так как самый текст, повидимому, погиб. Мне не случилось говорить об этом с Иваном Сергеевичем, да я,

признаюсь, никогда и не придавал особой важности тем проектам, которые писались в этот период „именинного" настроения. Но для биографии Ивана Сергеевича это имело бы свое значение".

Известно, что в конце 50-х—начале 60-х годов в связи с общим состоянием страны Тургенев проявлял повышенную общественную активность — хлопотал об основании журнала „Хозяйственный указатель", подписывал протест против письма Б. Н. Чичерина к Герцену, пропагандировал идею создания „Общества для распространения грамотности и первоначального образования", работал над статьей „О призвании и назначении русского дворянства", доставлял Герцену материалы для „Колокола". Однако, в биографической литературе нет никаких указаний, подтверждающих существование составленного Тургеневым проекта конституции. Весь сообщенный Лавровым эпизод можно было бы поставить под сомнение, если бы он не был связан с именем Бени.

„Загадочный человек" Артур Иванович Бени (1840—1867) в 1857 г. выехал в Англию и принял великобританское подданство. За границей познакомился с Герценом и его кружком и, намереваясь заняться революционной пропагандой в Сибири, возвратился в 1861 г. в Россию. Остался, однако, в Петербурге и сотрудничал в газетах и журналах. Приговоренный 10 декабря 1864 г. к 3-месячному тюремному заключению (за недонесение о прибытии в Петербург эмигранта Кельсиева) и высланный вслед затем за границу, поселился в Швейцарии. Принял участие, в качестве корреспондента английской газеты, в походе Гарибальди, был ранен в битве под Ментоной и умер 27 декабря 1867 г. В связи с сообщением Лаврова необходимо отметить, что Бени познакомился с Тургеневым еще в самом начале 1861 года в Париже, а в августе того же года, т. е. незадолго до рассказанного Лавровым эпизода, гостил у Тургенева в Спасском — таким образом, А. Бени имел полную возможность и проверить принадлежность таинственного проекта конституции Тургеневу и привести от него коекакие документы в Петербург.

Более близкие отношения между Тургеневым и Лавровым завязались с появлением последнего в Париже, по-

сле побега из Кадниковской ссылки, и перехода на положение эмигранта. Этот период и охвачен воспоминаниями Лаврова.

В приложении к воспоминаниям приведены все известные письма Тургенева к Лаврову — ценнейший материал для изучения отношений писателя к русским эмигрантам. Не дошли до нас упоминаемые Лавровым на стр. 52 и 75 письма от 9 апр. 1879 и 13 июня 1883 г.

... Первое время моего пребывания в Париже, куда я приехал в начале 1870 года, я не видал Тургенева. Не помню, был ли он в Париже[1], но я не считал себя в праве возобновить наше петербургское знакомство посещением его после моего отзыва о „Дыме“[2], отзыва, который мог быть ему известен. Но мы встретились у общего приятеля, и мне было известно, что Иван Сергеевич знал, что я буду там. Встреча была очень радушная. Он или хотел игнорировать мою экскурсию в область критики его произведений или не знал действительно об этой экскурсии[3]. Он пригласил меня к себе. Через несколько дней я поехал к нему, и с этого времени всегда, когда мы оба были в Париже, мы видались, хотя не очень часто, но и не редко, а в промежутках обменивались письмами. Собственно, лишь за это время я надлежащим образом узнал Ивана Сергеевича.

Это возобновление знакомства нашего имело место в конце 1872 года перед моим пересе-

[1] В 1870 г. Тургенев был в Париже только наездом с 1 по 7 января. Лавров приехал в Париж 1/13 марта 1870 г.

[2] Отзыв Лаврова заключен в его анонимной статье „Цивилизация и дикие племена“, печатавшейся в „Отечественных Записках“ 1869 г., кн. 5, 6, 8 и 9. Вступительная главка „Потугин вместо предисловия“ (кн. 5, стр. 107—109) и заключительная — „Потугинская цивилизация в виде послесловия“ (кн. 9, стр. 127—128) представляют резкий полемический выпад против автора „Дыма“.

[3] См. примечание в конце статьи.



П. Л. Лавров

лением из Парижа в Цюрих для того, чтобы начать там издание „Вперед!“[1], и первые сохранившиеся у меня письма Ивана Сергеевича с определенною датою, писанные весной 1873 года, относятся к его проекту приехать в Цюрих, чтобы ознакомиться с тамошнею русскою молодежью. Но эта поездка не состоялась. От 9 июня 1873 года он писал мне об известной „большой и беспощадной статье, помещенной в „Правительственном Вестнике“ от имени правительства, с угрозами тогдашним цюрихским студенткам“; о „драконовских мерах“, принимаемых русским правительством, и прибавлял: „вот и выходит, что „l'homme propose, а М. Н. Лонгинов dispose“ *.

В феврале 1874 года, проезжая через Париж, при перенесении редакции и типографии „Вперед!“ из Цюриха в Лондон, я прожил несколько дней в Париже и написал Ивану Сергеевичу, находит ли он удобным повидаться со мной. Я понимал, что для легального русского свидание с редактором „Вперед!“ было не-

[1] „Вперед!“ — „непериодическое издание“, основанное в Цюрихе в 1873 г. под ред. П. Л. Лаврова. В 1874 г. редакция его была перенесена в Лондон. Журнал прекратил свое существование в 1877 г. Вышло 5 больших книг.

* Пользуюсь случаем, чтоб сообщить анекдот по поводу этого декрета русского правительства против русских цюрихских студенток. Одна из них, занимавшаяся набором „Вперед!“ в Лондоне, умерла там от скоротечной чахотки, и так как английский врач был позван слишком поздно (в нашей колонии был свой врач), то соronег производил следствие. На этом следствии перед большим jury мне пришлось рассказать о том, каким образом умершая очутилась в Англии в нашей колонии. Когда я сказал, что она должна была оставить Цюрих, так как русское правительство выгнало русских студенток из Цюриха, коронер хотел поправить меня. „Вы, верно, хотите сказать: швейцарское правительство“. Я уверил его, что хочу именно сказать то, что сказал. Англичане очень удивились. Мне пришлось выяснить подробности, но они все-таки едва ли вполне ясно поняли, как могло русское правительство сделать такое дело, и как это его послушались. (Примечание Лаврова.) (См. примечание в конце статьи.)

что совершенно иное, чем знакомство с эмигрантом, виновным лишь в произвольном оставлении своего места ссылки, а мои прежние отношения с Иваном Сергеевичем не были вовсе так близки, чтобы я имел право предполагать, что он захочет рискнуть из-за свидания со мною какими-либо возможными неприятностями. Но я получил самое любезное приглашение позавтракать вместе и „побеседовать de omnibus rebus“[1], с прибавкою, что „увидаться непременно надо“. Это свидание состоялось 20 февраля 1874 года, и Тургенев жадно расспрашивал меня о цюрихской молодежи, о ее содействии предпринимаемому мной делу, хотел знать подробности, обстановку. Само собой разумеется, что я с удовольствием передавал ему все, что мог, и я видел, как он был взволнован рассказом о группе молодых девушек, живших отшельницами и самоотверженно отдававших свое время, свой труд, свои небольшие средства на дело, в котором они участвовали только как наборщицы. Ни он, ни я, мы не знали тогда, что говорили о будущих героинях процесса 50-ти[2], которые впишут навсегда свои имена в историю русского революционного движения и в мартиролог его. Троих из этих милых сотрудниц по делу, тогда таких молодых и полных жизни, теперь уже нет на свете. Остальные все в Сибири.

[1] О всех делах.

[2] Процесс 50-ти или „Московский процесс“ над революционерами-пропагандистами состоялся с 21 февраля по 14 марта 1877 г. Из цюрихских студенток, бывших наборщиц журнала „Вперед!“, по этому делу были привлечены Бардина, Л. Фигнер, сестры Субботины, сестры Любатович, Александрова, Каминская и др.

С своей стороны, Иван Сергеевич рассказывал мне о положении дела в России, об отсутствии всякой надежды на правительство, о бессилии и трусости его либеральных друзей. Он не высказывал надежды на то, чтобы наша попытка расшевелить русское общество удалась; напротив, тогда, как и после, он считал невозможным для нас сблизиться с народом, внести в него пропаганду социалистических идей. Но во всех его словах высказывалась ненависть к правительственному гнету и сочувствие всякой попытке бороться против него. Иван Сергеевич имел, может быть, право писать в 1880 году, что его убеждения „не изменились ни на иоту в последние 40 лет“, что он остался „либералом старого покроя в английском, династическом смысле, человеком, ожидающим реформ только свыше — принципиальным противником революции“ („Новости“ от 14/26 сентября 1883 года)[1]. Я писал еще в 1877 году в „Athenaeum“: „Никто из сколько-нибудь знакомых с автором и его прошедшим не может подумать ни на минуту, чтобы г. Тургенев был демагог, или даже чтобы он симпатизировал людям насильственного и кровавого переворота“. В прошлом номере „Вестника Народной Воли“ было также определенно сказано („Совр. Обозр.“, стр. 209), что Иван Сергеевич „не был никогда ни социалистом, ни революционером“. Он никогда не верил, чтобы революционеры могли поднять народ против правительства,

[1] Цитата из „Ответа „Иногороднему обывателю“ Тургенева, написанного в декабре 1879 г. См. об этом подробнее на стр. 55—58.

как не верил, чтобы народ мог осуществить свои „сны“ о „батющке Степане Тимофевиче“; но история его научила, что никакие „реформы свыше“ не даются без давления, и энергического давления, снизу на власть; он искал силы, которая была бы способна произвести это давление, и в разные периоды его жизни ему представлялось, что эта сила может появиться в разных элементах русского общества. Как только он мог заподозрить, что новый элемент может сделаться подобной силой, он сочувственно относился к этому элементу и готов был даже содействовать ему в той мере, в какой терял надежду, чтобы то же историческое дело могли сделать другие элементы, ему более близкие и симпатичные. Поэтому, когда я ему нарисовал картину одушевления и готовности к самоотвержению в группах молодежи, примкнувших в Цюрихе к „Вперед!“, он без всякого вызова с моей стороны высказал свою готовность помогать этому изданию, первый том которого был уже около полугода в его руках и программа которого, следовательно, была ему хорошо известна. На другой же день (21 февр. 1874 г.) я получил от него письмо, где он более определенно высказал: „я буду давать ежегодно 500 фр. до тех пор, пока продолжится ваше предприятие, которому я желаю всяческого успеха“ *, и прислал взнос за первый год.

* Это письмо, сохранившееся в моих бумагах, я давал прочесть двум лицам, пользующимся общественным уважением, имевшим случай знать почерк Ивана Сергеевича, никогда не принадлежавшим к русской революционной партии и свидетельства которых никто, вероятно, не решится заподозрить. (Примечание Лаврова.)

Следующие два года взнос происходил через посредников, так как я находился все время в Лондоне[1]. У меня сохранилось очень мало писем и записок Ивана Сергеевича из этого периода. В одной из них (от 29 апреля 1875 г.) он писал мне, что думает ехать на partridge shooting и быть проездом в Лондоне[2], прибавляя: „Надеюсь увидать вас там и побеседовать об omnibus rebus. На бумаге это неудобно исполнить; ограничусь тем, что нахожу вашу деятельность полезной, несмотря на неизбежные draw backs“ [3], которые я очень хорошо видал сам. Не помню, помешало ли что Ивану Сергеевичу приехать, или во время его проезда через Лондон оказалось невозможным или неудобным наше свидание, но оно не состоялось. Скорее, он вовсе не приезжал, так как 7 сентября того же года он мне писал из Буживаля о двух произведениях нашей наборни, ему посланных, входя в довольно подробный разбор сказки „Мудрица-Наумовна“, указывал на ее литературные недостатки, но говорил: „автор — человек с талантом, владеет языком, и весь его труд согрет жаром молодости и убеждения“[4]. Далее Иван Сергеевич еще раз говорит, что у автора „есть и талант, и огонь — пусть он продолжает трудиться на этом поприще“. В последние годы одна книга

[1] Посредником в сношениях Тургенева с Лавровым был Г. А. Лопатин.

[2] Поездка Тургенева в Англию весной 1875 г. не состоялась. „Partridge shooting“—охота за куропатками.

[3] Недочеты.

[4] Речь идет о писателе-революционере Сергее Михайловиче Кравчинском (1852—1895). Книга его, о которой говорится дальше — „Подпольная Россия“, переведенная в течение 1882—85 гг. почти на все европейские языки.

этого автора появилась в Англии и Америке; как слышно, готовятся ее французское и немецкое издания.

В следующем месяце он писал мне об одной статье, которую я ему посылал в рукописи на прочтение и которая принадлежала личности, фигурировавшей впоследствии в „Нови“ под именем Кислякова. Иван Сергеевич благодарил меня „за непомещение статьи“ во „Вперед!“ и сообщал некоторые подробности о своих сношениях с этим господином. Мне неизвестно, продолжал ли Иван Сергеевич свое содействие „Вперед!“, когда с концом 1876 года я оставил редакцию этого издания. Так как это было дело не личное, а взнос в кассу издания, то дальнейшие распоряжения до меня не касались.

О личности, только что упомянутой в письме ко мне Ивана Сергеевича, говорит он, очевидно, и в письмах к даме (симпатичную личность которой не трудно угадать), помещенных в октябрьской книжке „Русской Старины“ за 1883 г. (стр. 219 и след.[1]). Эти письма доставляют немаловажный материал для его взгляда на революционную молодежь в 1874—1875 годах. Почтенная энтузиастка хотела познакомить его „с образом мыслей“, вообще с личностями „новых людей“. Иван Сергеевич отвечал ей, что к этим экземплярам можно

[1] Письма Тургенева к А. П. Философовой. Прототипом Кислякова послужил доктор Владимир Гаврилович Дехтерев, секретарь комитета „Общества помощи женщинам, учащимся на Медицинских курсах и на Педагогических курсах“. С некоторыми его бумагами, произведшими на Тургенева неприятное впечатление, познакомила писателя А. П. Философова. Одну строчку из стихотворения В. Г. Дехтерева— „Люби же меня, но — идею!“ — Тургенев процитировал в романе,

отнестись „только с сатирической, юмористической точки зрения“, что „это еще не новые люди“, и упрекал их в „скудости мысли, в отсутствии познаний, а главное, в бедности, в нищенской бедности дарований“. Но он писал: „я знаю таких между молодыми, которым гораздо более приличествует подобное наименование (новых людей)“. „Я мог бы назвать вам молодых людей, с мнениями гораздо более резкими, с формами гораздо более угловатыми, пред которыми я, старик, шапку снимаю, потому что чувствую в них действительное присутствие и таланта, и ума“. Для подготовляемой им в то время „Нови“ не лишены значения некоторые выражения Ивана Сергеевича в письмах от 11 сент. 1874 г. и 22 февр. 1875 года.

„Для предстоящей общественной деятельности не нужно ни особенных талантов, ни даже особенного ума, — ничего крупного, выдающегося, слишком индивидуального; нужно трудолюбие, терпение; нужно уметь жертвовать собою без всякого блеску и треску — нужно уметь смириться и не гнушаться мелкой и темной... работы... Чувство долга... вот все, что нужно...

„Народная жизнь переживает воспитательный период внутреннего, хорового развития, разложения и сложения; ей нужны помощники — не вожаки, и лишь только тогда, когда этот период кончится, снова появятся крупные, оригинальные личности...

„Пора у нас в России бросить мысль о „сдвигании гор с места“ — о крупных, громких и

красивых результатах: более чем когда-либо и где-либо следует у нас удовольствоваться малым, назначить себе тесный круг действия".

Эти слова объясняют до известной степени фигуру Соломина и роль его в „Нови".

В конце 1876 года я приехал на две недели в Париж. Я был очень озабочен отстаиванием газеты „Вперед!" против съезда, имевшего место в Париже. Я потерпел неудачу, отказался от редакции и предвидел гибель начатого дела (хотя такого быстрого его падения и политического самоубийства своих товарищей-пропагандистов, какое имело место, я вовсе не ожидал). Утомленный и раздраженный ежедневными прениями на съезде, я рад был отдохнуть на разговорах о чем-либо другом и раза два в эти две недели был у Ивана Сергеевича. Он мне говорил о „Нови", которая должна была появиться в первых книжках „Вестника Европы" 1877 г., и обещал мне прислать корректуру статьи, как только она получится. По возвращении в Лондон я как-то упомянул об этом в разговоре тогдашнему радикальному члену Палаты Общин (теперь занимающему очень высокое политическое положение), тесно связанному с лондонским „Атенеумом". Он попросил меня дать в „Атенеум" статью о новом романе, и она была напечатана там значительно сокращенная. В последующем я приведу из нее некоторые отрывки, так как мой взгляд на „Новь" с тех пор не изменился*. Иван Сергеевич едва ли знал, что она принадлежит мне.

* Предупреждаю читателя, что у меня нет под руками номера „Атенеума", где помещена статья, а сохранился лишь французский

С появления „Дыма“ до „Нови“ прошло почти 10 лет. Реакция раздавила в России земство, исказила судебную реформу, довела освобожденных крестьян до разорения. Самарский голод сделал очевидным все язвы народных бедствий. Ученики Чернышевского, Добролюбова, Писарева сплотились в растущую, хотя и неорганизованную революционную силу. Трагедия Коммуны не прошла даром и для России. Процесс нечаевцев[1] позволил выступить адвокатуре с политическими речами. Начали за границей снова работать типографские станки для новой литературы анархистов и подготовителей революции. Молодежь пошла „в народ“. Записка, разосланная графом Паленом в 1875 году, говорила о „раскрытии пропаганды в 37 губерниях“, о привлечении к дознанию 770 лиц. Русские Инсаровы, люди, „сознательно и всецело проникнутые великой идеей освобождения родины и готовые принять в ней деятельную роль“, получили возможность „проявить себя в современном русском обществе“ (Соч. Добролюбова, III, 320[2]). Новые Елены не могли уже сказать: „Что делать в России?“ Они наполняли тюрьмы. Они

оригинал ее в рукописи, где недостает нескольких страниц. Следовательно, может случиться, что я приведу кое-какие места, выброшенные редакцией при сокращении статьи для помещения ее в „Атенеуме“, для которого она оказалась слишком длинной. (Примечание Лаврова.)

Анонимная статья П. Лаврова „Nov' by Ivan Tourguénief“ была напечатана в № 2573 влиятельного английского журнала „The Athenaeum“ за 1877 г., от 17 февраля, стр. 217—218.

[1] „Дело о заговоре, составленном с целью ниспровержения существующего порядка управления в России“ (дело нечаевцев), разбиралось в С.-Петербургской судебной палате с 1 июня по 27 августа 1871 г.

[2] Статья „Когда же придет настоящий день? („Накануне“, повесть И. С. Тургенева)“.

шли в каторгу. Они, через месяц с небольшим (10 марта 1877 г.) после появления конца „Нови“, говорили перед судом, что их целью было „внести в сознание народа идеалы лучшего, справедливейшего общественного строя“, признавали „насильственную революцию, при известных обстоятельствах, неизбежным злом“ и предсказывали, что революционное движение „не может быть остановлено никакими репрессивными мерами... Оно может быть, пожалуй, подавлено на некоторое время, но тем с большей силой оно возродится снова... И так будет продолжаться до тех пор, пока наши идеи не восторжествуют“[1]. А в то же время реакционная литература, в особенности же реакционная беллетристика, разливались ливнем грязи на новых русских революционеров.

„Новь“ вызвала очень разнообразные мнения среди передовых групп русской молодежи. Когда я читал ее в корректуре в Лондоне в январе 1877 года П. А. Кропоткину и некоторым членам прежней наборни „Вперед!“ она очень понравилась. Но другие были возмущены. Даже люди, очень расположенные к Ивану Сергеевичу, как тот, кому принадлежат стр. XV и след. в обращении „К читателю“ сборника „Из-за решетки“ (1877)[2], отнеслись достаточно жестко к новому роману. Приведу несколько страниц из „Атенеума“:

„Я сказал выше, говоря о прежних произведениях г-на Тургенева, что его произведе-

[1] Цитата из речи С. И. Бардиной на московском „процессе 50-ти“.

[2] Автором предисловия к изданному в Женеве сборнику „Из-за решетки“ Лавров в другом месте настоящей статьи называет Г. А. Лопатина.

ния представляют всегда неполную картину наблюдаемого им движения; это справедливо и для этого романа. Его личные отношения позволили ему наблюдать и выразить лишь одну сторону революционного движения в России.

„Он опять оставил в стороне многие точки зрения, входящие в рассматриваемый им вопрос. Он снова создал несколько живых типов, которые навлекут на него ругательства одних, симпатии других. Он набросил несколько симпатичных или поразительных сцен, которые останутся в литературе.

„Господствующее впечатление, получаемое при чтении романа, заключается в том, что наблюдатель-художник был живо поражен важностью революционного движения среди русской молодежи. Группа, составляющая центр всего рассказа и привлекающая симпатии читателя, несмотря на свои недостатки, это — группа молодых людей, глубокие убеждения которых сделали их врагами порядка вещей, существующего в России. Они живут своим трудом; они горды своей бедностью; они ищут не выгодной карьеры или личного счастья; они хотят „служить“ народу, подавленному господствующими классами; они хотят для него действительной свободы; они хотят поднять его против существующего строя...

„Личности этой центральной группы представляют весьма различные типы и различаются еще более между собою способностями, умом; но всех их характеризует одна общая черта, резко отделяющая их от людей другой

группы, вызывающая к ним любовь и уважение, несмотря на их недостатки, несмотря на их явные ошибки, несмотря на недостаток ума у одних из них и на комический оттенок, который имеют иногда их приемы деятельности. Эта черта заключается в том, что они суть представители иной, высшей нравственности, не нравственности условной, но той глубокой нравственности, которая убивает всякий эгоизм, всякое личное вожделение, придает людям характер искренности и делает их способными на все жертвы для класса несчастных и обездоленных".

Здесь, при оценке значения того комического элемента, который внес Тургенев в фигуры „опростившихся", следует взять в соображение слова его по поводу подобного же элемента в Дон-Кихоте, сказанные за 17 лет ранее и приведенные выше[1]. Бесспорно, что борцы за лучшее будущее русского народа, выставленные автором в „Нови", были для него сродни Дон-Кихоту, но следует не забывать, что для него Дон-Кихоты были „служителями идеи и обвеяны ее сиянием" (I, 337)[2], что „попирание" их „свиными ногами" есть „последняя дань, которую они должны заплатить грубой случайности, равнодушному и дерзкому непониманию" и что тем самым „они завоевали себе бессмертие" (I, 351). Конечно, Добролюбовы и их законные наследники в деле революционной мысли не хотели признать

[1] В первой, не воспроизведенной в настоящем сборнике, части статьи Лаврова.

[2] Здесь и во всех дальнейших ссылках Лавров цитирует произведения Тургенева по 10-томному изданию 1880 г.

в своих рядах людей типа Дон-Кихота, „отличительная черта“ которого — „непонимание ни того, за что он борется, ни того, что выйдет из его усилий“ (Соч. Добролюбова, III, 307)[1], но партии, совершающие и особенно начинающие великое историческое дело, составляются не по собственным идеалам, а по тому фатальному процессу, которому прошедшее подчинило эволюцию вырабатывающего их общества. „Не с подобною ли же ирониею — говорят передовые деятели 1883 года („И. С. Тургенев“, в типогр. „Народн. Воли“) — относимся сами мы к движению семидесятых годов, в котором, несмотря на его несомненную искренность, страстность и героическую самоотверженность, действительно было много наивного“[2].

Машурины, Остродумовы, Маркеловы были живые лица, типы, которые действительно встречались; даже Неждановы были возможны (хотя мне не случалось наблюдать даже близкого типа в среде нечаевцев или народников, которых мне удалось видеть, а тот О., на которого намекает г. Ковалевский в своих воспоминаниях — „Русск. Ведом.“ от 27 сентября 1883 г.[3] — не представлял даже самого отдаленного сходства с нравственным типом Нежданова), но дело в том, что лишь художник-

[1] Статья „Когда же придет настоящий день“.

[2] Цитата из листовки П. Якубовича, см. выше стр. 7.

[3] М. Ковалевский в своих „Воспоминаниях об И. С. Тургеневе“, напечатанных первоначально в „Русских Ведомостях“ 1883 и воспроизведенных в журнале „Минувшие Годы“ за 1908 г., № 8, называет прототипом Нежданова Отто — А. Ф. Онегина. Это предположение частично подтверждается указанием самого Тургенева в первом наброске замысла романа „Новь“. См. прим. на стр. 162.

индивидуалист мог ограничиться этими личностями; для того же, который сам ставил себе задачею „воплотить в надлежащие типы образ и давление времени“, превосходно отделанный угол картины, развернутый пред глазами читателя, не мог заменить самой картины. Дело в том, что в революционной партии были не одни Машурины, Остродумовы и Неждановы, как в обществе, против которого они вооружались, были не одни Сипягины и Коломейцевы. Дело в том, что если бы революционная партия состояла в это время только из тех личностей, которых нарисовал Тургенев, то история России последних десяти лет была бы невозможна; в том, что даже в своем рассказе художник смешал (как и было ему замечено в обращении „К читателю“ в сборнике „Из-за решетки“, стр. XV, примеч.) „чисто народническое“ движение“ 1873 и следующих годов с „заговорщицким движением времен нечаевщины“, т. е. смешал две ступени развития, резко различавшиеся между собой по своим основным воззрениям на способ достижения новых порядков“ (на это было указано и в статье, приготовленной для „Атенеума“). Процессы 1877-го и следующих годов показали, что люди иного типа были налицо, и между тем даже отдаленного намека на эти весьма характеристические типы для „образа и давления времени“ не дал художник в группе тех живых личностей, которых он создал в „Нови“ пред глазами читателя. „Я тогда мало знал нашу молодежь“, говорил сам Иван Сергеевич о своей „Нови“ в 1879 году в Пе-

тербурге („Общее Дело“ № 56, стр. 4)[1]. И тем не менее, перед целой литературой грязных ругателей этой молодежи он выставил ее, эту революционную молодежь, как единственную представительницу высокого нравственного начала, как „служительницу идеи, обвеянную ее сиянием“, как „тех личностей“, над которыми „масса глумится“, которых она „проклинает и преследует“, но за которыми затем „идет, беззаветно веруя“, потому что они, „не боясь ни ее преследований, ни проклятий, не боясь даже ее смеха, идут непреклонно вперед, вперив духовный взор в им только видимую цель“ (I, 343). В этом еще раз проявилась способность Ивана Сергеевича, о которой сказано выше, способность „угадывать некоторые действительные явления русской жизни далеко вернее и шире, чем его сверстники, соперники его по таланту, но стоявшие далеко ниже его по развитию“.

Весной 1877 г. я переселился в Париж, и личные мои сношения с Иваном Сергеевичем сделались теснее в последние пять лет его жизни, чем в прежнее время.

Общее настроение Ивана Сергеевича в эти годы становилось все мрачнее. С 1878 года он начал свои „Стихотворения в прозе“, серию, проникнутую возвращающимся и усиливающимся чувством нравственного одиночества, мучительною мыслью о старости, о близкой

[1] Цитируются воспоминания „Бывшего студента Горного Института“, включенные в состав статьи „Тургенев и молодая Россия“ („Общее дело“ 1883, № 56). В этих воспоминаниях рассказывается о студенческой делегации к Тургеневу в середине марта 1879 г.

смерти [1]. „Настали темные, тяжелые дни", когда он говорил себе: „уйди в себя, в свои воспоминания . . . Но будь осторожен . . . не гляди вперед, бедный старик!" („Старик", июль 1878). Настоящее вызывало мысль: „Я один, один, как всегда" („Голубь", май 1879). Воспоминания раздражали его воображение представлением о том, „как хороши и свежи были розы" . . . как теперь ему „холодно" и как „все они умерли . . . умерли" („Как хороши" и т. д., сент. 1879). А впереди грозная старуха-судьба гнала его к могиле, которая „плывет, ползет" сама к нему („Старуха", февраль 1878 года).

Росло в его доброй душе, вместе с увеличивающейся болезненностью, и раздражение против критиков, так как он, живя вне России, не мог знать, до его торжественной поездки на родину в 1879 году, насколько он остался любимым беллетристом всех групп читающей русской публики. Он говорил об „ударах, которые больнее бьют по сердцу", чем „суд глупца". Он говорил о человеке, который „сделал все, что мог: работал усиленно, любовно, честно . . . И честные души гадливо отворачиваются от него, честные лица загораются негодованием при его имени" („Услышишь суд глупца", февр. 1878). Он рисовал „довольного" клеветника, который сам поверил своей клевете („Довольный человек", тогда же), говорил о „житейском правиле": упрекайте противника „в том самом пороке или недостатке, который вы за собою чувствуете. Негодуйте

[1] Тургенев так и озаглавил первоначально свои „Стихотворения в прозе"; „Senilia"—„Старческое".

и упрекайте“ („Житейское правило“, тогда же). Он рисовал „дурака, заведующего критическим отделом“, и восклицал: „житье дуракам между трусами“ („Дурак“, апрель 1878). Он противополагал торжествующего Юлия оплеванному Юнию, хотя первый лишь украл у второго его мысль („Два четверостишия“ там же). После марта 1879 года мыслей этого рода мы не встречаем в „Стихотворениях в прозе“, хотя, по частным сведениям („Русская Мысль“, ноябрь 1883 г., стр. 318, 314), они встречались в разговорах Ивана Сергеевича рядом с выражением чувства нравственного одиночества.

О русских общественных вопросах в этой серии произведений, охватывающей 1878—1882 годы, говорится мало, и мнения Ивана Сергеевича, относящиеся к этому времени, приходится более черпать из воспоминаний о частных разговорах. Мои разговоры с ним и наша переписка оставались, большею частью, на почве нейтральной, именно на почве личной помощи, которую он постоянно оказывал через мое посредство нуждающимся русским, принадлежавшим к колонии Латинского квартала (в значительной доле состоявшей не только из эмигрантов, а также из легальных русских, но не имевших сношений с другою русскою колонией, группировавшейся около церкви улицы Дарю и посольства), не считая тех лиц, которые лично обращались к нему помимо моего посредства; а также на почве литературных вопросов, при чем, между прочим, он лично помог мне своим замечательным знанием Шекспира чуть не наизусть, когда мне пришлось,

для одной работы искать, куда относятся многочисленные цитаты из Шекспира одного автора, приведенные весьма часто без точных указаний. Но само собою разумеется, что редкое свидание наше проходило без разговора о России, о русских делах, о правительстве, о либералах и о революционной партии. Он мне часто сообщал в извлечении или даже прочитывал отрывки писем, получаемых им от лиц, которые могли знать действительное положение дел и которые большей частью еще живы, а потому я их не называю. Так как я не записывал наши разговоры, то не могу ни приводить точных слов Ивана Сергеевича, ни указывать точную эпоху в течение последних шести лет, когда происходил тот или другой разговор. Передаю лишь общее его отношение к различным элементам русского общества, при чем всякий, знавший Ивана Сергеевича, поймет, что при его чрезвычайной впечатлительности к внешним влияниям минуты отношение его к тому или другому элементу русского общества, мною характеризованное в общих чертах, становилось ярче или бледнее, смотря по случайностям событий, по впечатлениям, полученным Иваном Сергеевичем от лиц, с которыми он видался, или от его корреспондентов.

Скептицизм относительно чего бы то ни было действительно полезного для России, способного выйти от кого бы то ни было: от правительства, от либералов или революционеров, составлял основную черту его взглядов на русские дела, хотя при этом он готов был

сочувственно отнестись к самомалейшему явлению, которое как будто обещало что-либо, но лишь для того, чтобы, вслед за тем, еще сильнее обрушиться на то, что обмануло его минутные надежды.

Безусловно отрицательно относился он к министрам последних лет, хотя было время, когда как будто ждал чего-то от Меликова [1]. С неподражаемою добродушной иронией говорил он о личностях из царской фамилии, с которыми ему пришлось встречаться в Париже [2], о сожалении, выраженном однажды нынешней императрицей России (тогда уже давно женою наследника русского престола), что он, Тургенев, пишет свои повести по-русски; об ограниченности, невежестве и неловкостях нынешнего императора и его дядюшек, — и между тем это не помешало тому, что под его влиянием (если не им самим, может быть, написанная, в чем он мне прямо не сознавался) появилась в „Revue politique et littéraire" вслед за воцарением Александра III статья, выражавшая надежды, которые едва ли мог иметь серьезно человек, который знал, что за личность восходила на престол Российской Империи [3].

[1] Михаил Тариелович Лорис-Меликов (1825—1888), назначенный Александром II председателем и руководителем образованной в 1880 г. „для прекращения политических смут" „верховной комиссии", а вскоре затем министром внутренних дел, проектировал в своей программе, кроме непосредственного подавления революционного движения, ряд реформ, чем и вызвал радужные надежды в либеральных кругах.

[2] Любопытный рассказ Тургенева о встрече в Париже с Александром III, в бытность его наследником, записал М. И. Семевский со слов И. И. Глазунова и А. В. Топорова, см.: С. М. „Встреча И. С. Тургенева с Александром III", „Красная Панорама" 1928, № 28.

[3] Статья Тургенева об Александре III была напечатана без подписи в № 13 журнала „La Revue politique et littéraire" 1881 г. При-

Много раз у нас заходил разговор о его ближайших друзьях или единомышленниках, о русских либералах. Много раз я к нему приставал с вопросом, почему они не делают того или другого, очевидно полезного для их политических взглядов? Почему они, при своей численности, при значительных денежных средствах, при бесспорном присутствии в их рядах людей со способностями, с талантом, с авторитетным именем, не выступают как политическая партия, пытаясь захватить себе то значение представителей передовых требований, которое они предоставляют ненавидимым ими социалистам-революционерам? Каждый раз он начинал иронически или раздражительно перебирать имена и личности (иные весьма близкие ему) и доказывать для каждого, что он не способен ни к смелому делу, ни к риску, ни к жертве и что поэтому невозможна организация их в политическую партию с определенною программою и с готовностью пожертвовать многими личными удобствами до тех пор, пока для них сделается возможною надежда достичь своих политических целей *. По сло-

надлежность ее Тургеневу установлена С. П. Петрашкевич на основании письма Тургенева Лаврову, в котором Тургенев прямо указывает: „Статья об Александре III, действительно, принадлежит мне“. Эта статья воспроизведена в „Тургеневском сборнике“ под ред. Н. К. Пиксанова, П., 1915 г. и в III томе „Русских Пропилеев“.

* Пользуюсь случаем, чтобы выразить свое сомнение, имели ли вовсе в последние годы русские либералы определенную политическую программу действий. В 1882 году собралось у меня в Париже несколько личностей из русской либеральной интеллигенции, достаточно смелых, чтобы посещать меня, и каждый из которых завоевал себе право называться одним из лучших представителей русского либерализма. Все они нападали, конечно, на русскую революционную партию и на ее способ деятельности. Но все согласны были в полном расстройстве положения дел в России: „так продолжаться не может“, повторял почти каждый. Я им сказал: „Положим на минуту, господа,

вам автора статьи „Черты из парижской жизни И. С. Тургенева“ („Русская Мысль“, ноябрь 1883 г.) — нисколько не утверждая, насколько можно верить его свидетельству — Иван Сергеевич выражался о своих единомышленниках в последние годы так (стр. 324) [1]:

„Мы, т. е. я и мои единомышленники, — честные и искренние либералы и от всей души желаем воцарения в России благоденствия, правды и свободы; мы готовы много работать для достижения этих целей, но все мы, сколько нас ни есть, все хорошие и нескупые люди, не решимся рискнуть для этого самой ничтожной долей своего спокойствия, потому что нет у нас ни темперамента, ни гражданского мужества... Что делать, надо сознаться, что малодушие присуще нашей натуре“.

Следовательно, для меня совершенно бесспорно, что ни в какой момент последних шести лет жизни Иван Сергеевич не питал надежды, что его единомышленники, русские либералы, в состоянии, как политическая партия, оказать то давление на правительство, без которого немыслимы реформы в либеральном направлении. И между тем, когда весною 1879 года русские либералы сделали из его приезда в Москву и Петербург повод к демонстрации

что программа деятельности революционной партии неверна. Дайте другую программу, чтобы выйти из теперешнего положения, и обсудим ее“. Эти люди, принадлежавшие, как я уже сказал, к самому цвету русской либеральной интеллигенции, не могли дать никакой программы. Один из них, очень остроумный, сказал, правда, что порядочным людям надо бежать из России, но он сам отлично понимал, что ведь это не политическая программа. (Примечание Лаврова).

[1] Цитируется статья М. Н. „Черты из парижской жизни И. С. Тургенева“.

в пользу своих идей [1], Иван Сергеевич — отлично понимавший (он это не раз говорил и мне, и моим приятелям), что овации, делаемые ему, гораздо менее относятся к его личности, чем составляют прием агитации для либералов, — охотно отдавал себя в распоряжение этим господам, в способность которых к жертвам за убеждения или к политической деятельности он нисколько не верил.

Насколько Иван Сергеевич „интересовался" и „следил с особенным вниманием в последние годы" за „русскою молодежью" („Русская Мысль", ноябрь 1883 года, стр. 312), можно видеть из многих воспоминаний о нем, уже обнародованных. Нечего говорить, что он относился скептически и к деятельности революционеров, отрицал у них и возможность пропаганды в народе и достаточную силу, чтобы произвести надлежащее давление на правительство; после какого-либо неудавшегося покушения или факта, вызвавшего много жертв, но оставшегося без видных результатов, он раздражался на неумелость революционеров и говорил, что они лишены надлежащей энергии. Весною 1878 года он писал, проникнутый глубоким скептицизмом, разговор „Чернорабочего с белоручкой", где представитель „народа" не только гонит от себя того, кто „хотел освободить серых, темных людей, восставал против притеснителей их", но в то самое время, когда вешают этого „белоручку", думает лишь о том, „нельзя ли нам той самой веревочки раздобыть, на которой его вешать будут; го-

[1] См. примечание в конце статьи.

ворят, ба-альшое счастье от этого в дому бывает!“ В конце того же года он говорил о русском мужике — о том самом мужике, „сны“ которого так грозно брызгали теплою кровью на мечтателя 1863 года [1] — „Да, и ты тоже сфинкс. Только где твой Эдип?“ („Сфинкс“, декабрь 1878). Но в то же время старался расширить свое знакомство в кругу „нигилистов“, вел долгие разговоры с П. А. Кропоткиным о его планах и взглядах на русские общественные дела и всячески помогал людям этого лагеря.

В феврале 1879 года Иван Сергеевич приехал в Москву и тут только он увидел, как сильно влечение к нему в русских интеллигентных кружках. Когда блестящий представитель русской интеллигенции провозгласил на скромном дружеском обеде из 20 человек тост за него, „как за любимого и снисходительного наставника молодежи“, Иван Сергеевич „не дослушал этого приветствия и разрыдался“. В записке, писанной на другой день к учредителю маленького празднества, он говорил об этом, как о чем-то „еще небывалом“ в его „литературной жизни“ („Русск. Вед.“ 1883, № 265, фельет.).

Но он застал Россию действительно в несколько небывалом настроении. Выстрел Веры Засулич в Трепова в январе 1878 года разбудил сонное общество Обломовых до слоев, которые казались вовсе неспособными к пробуждению. Когда присяжные в столице империи вы-

[1] Называя Тургенева „мечтателем 1863 г.,“ Лавров имел в виду эпизод из фантазии „Призраки“, гл. XVI.

несли 31 марта оправдательный приговор [1] и этот приговор был встречен аплодисментами даже генерал-адъютантов и высших сановников в зале суда и всеобщим ликованием по всем углам России, общество русское само было удивлено своим либерализмом и удобством высказаться в процессе, где, в сущности, истцом был произвол неограниченной власти, представляемой Треповым, а ответчиком — личная инициатива подданного, протестующего против этого произвола револьвером. Оказалось, что система произвола неограниченной власти была торжественно осуждена петербургскими присяжными, а протест против нее *всеми* средствами был признан правильным представителями общественной совести. Вслед затем началась открытая война между революционерами и правительством. Вооруженное сопротивление в Одессе (30 января), попытка убить Котляревского (23 февраля), убийство Гейкинга (25 мая), юридическое убийство Ковальского (2 августа), убийство Мезенцова (4 августа) и кн. Кропоткина (6 февраля 1879 г.) последовали быстро одно за другим в промежуток времени немногим более года. Заволновалось студенчество. Московская полиция с Катковым пустили в ход кулаки приказчиков Охотного ряда (3 апр. 1878 г.) как ответ „настоящего русского народа" на приговор петербургских присяжных 31 марта. Эти

[1] 31 марта 1878 г. закончился известный процесс Засулич в Петербургском окружном суде при участии присяжных заседателей. Засулич была оправдана и, согласно закону, немедленно освобождена. Однако, во избежание административных кар, она принуждена была эмигрировать.

господа не могли понять, что, приучая народ выходить на улицу и расправляться собственными силами, правительство делало как раз то, что имели в виду самые крайние революционеры: оно воспитывало в народе революционную практику, и легко было заключить, против кого была бы направлена подобная практика, если бы она вошла в привычки массы, и дело пошло бы не о случайной демонстрации, не об уличной потехе, а о каком-либо серьезном экономическом требовании. Правительство переорганизовывало полицию, два раза в течение одного года изменило подсудность преступлений „против порядка управления". Оно почувствовало себя даже настолько в опасности, что решилось (20 августа) призвать на помощь то самое русское общество, которому с незапамятных времен вменялось в главную гражданскую обязанность „молчать на всех языках", по выражению Шевченко. „Правительство, — говорило официальное сообщение, — должно найти себе опору в самом обществе и потому считает ныне необходимым призвать к себе на помощь силы всех сословий русского народа для единодушного содействия ему в усилиях вырвать с корнем зло". В конце года и сам император лично обратился (20 ноября) к представителям всех сословий в Москве с выражением „надежды на содействие". Трусливый русский либерализм поднял голову. В ответ на призыв правительства тверское земство указывало в „постоянно повторяющихся политических преступлениях... только внешний признак общих

глубоких недугов, кроющихся в нашем общественном организме“, говорило о том, что вредные „лжеучения“, влиянию которых впервые подпадает молодежь в учебных заведениях мин. нар. просвещения, „находят себе благоприятную почву в ненормальном строе самих заведений“; указывало на необходимость для России „самоуправления, самостоятельности личности, строго огражденной в ее правах, независимости суда и свободной печати“; наконец, выводило заключение, что „русское общество пришло к убеждению в совершенной невозможности борьбы с внутренним злом в том случае, если... все условия, порождающие зло, не будут устранены“. Черниговское земство находило, что „положение русского общества представляет в настоящую минуту все условия для процветания идей, противных государственному строю“, и что этому три причины: организация высших и средних учебных заведений; отсутствие свободы слова и печати; отсутствие среди русского общества чувства законности“. Доказав, что все эти причины созданы самим правительством, земство кончало словами, что оно „с невыразимым огорчением констатирует свое полное бессилие принять какие-либо практические меры к борьбе со злом“. Об этом происходили совещания и в некоторых других земствах, и были приняты подобные же решения, хотя в иных случаях председатели не допускали обсуждению итти очень далеко.

Понятно, что при подобном настроении приезд Ивана Сергеевича в Россию сделался

удобным поводом к либеральным демонстрациям, но эти демонстрации — значение которых он сам очень хорошо понимал, как мы это видели — устроились тем скорее и успех их был тем значительнее, что дело шло о писателе, действительно любимом всеми группами русской интеллигенции. Не только либералы более взрослого поколения видели в нем наиболее честное и чистое воплощение своих стремлений, но и радикальная молодежь разглядела в Иване Сергеевиче подготовителя ее борьбы, воспитателя русского общества в тех гуманных идеях, которые, надлежащим образом понятые, должны были фатально привести к революционной оппозиции русскому императорскому самодурству.

В этом случае с его стороны какого-либо заискивания и „кувырканья“ (как выражались катковские „мошенники пера“) перед радикальной молодежью действительно не было. Он мог искренно сказать, что он не „шел“ сознательно „к молодому поколению“, но „оно пришло к нему“; как оказалось, он бессознательно сблизился с этим поколением, а оно сознало эту близость.

Ряд оваций начался встречею Ивана Сергеевича на публичном заседании Общества любителей российской словесности. „Прием, сделанный ему, превзошел все ожидания. При его появлении в зале... поднялся, буквально, гром рукоплесканий и не смолкал несколько минут“ („Русск. Вед.“ 1883, № 256, фельет. [1])

[1] Заседание Общества любителей российской словесности состоялось 18 февраля 1879 г. Лавров рассказывает этот эпизод по воспоминаниям М. Ковалевского, которого и цитирует.

Его приветствовала вслед за тем речь студента, представителя этого молодого поколения (того самого, который через несколько лет должен был заплатить ссылкой за мечту, что возражения докторанту могут высказываться свободно в русских университетах) [1]. Овации сопровождали после этого Ивана Сергеевича на каждом шагу и продолжались в Петербурге. В речах и в адресах профессора, представители литературы, искусства, адвокатуры, делегаты и группы учащейся молодежи обоих полов высказывались весьма смело о том, о чем в России обыкновенно лишь шепчутся, и вызывали самого героя торжества на смелое слово. Литературу сравнивали для России с „преторским эдиктом“, впервые внесшим начало гуманности в суровую римскую среду. Проводили сравнение России конца 70-х годов с закрепощенною Россиею 40-х годов и говорили: „Состояние общества сходно: и тогда была под ногами закованная почва, только иначе закованная; и ждет общество, что рухнут наши неправды“. В адресах писали: „Вас так же, как и нас, возмущают до глубины души печальные и странные явления нашей общественной жизни, вытекающие, как строго логические последствия, из нашего общественного строя“, и призывали

[1] С приветственной речью Тургеневу выступил студент медик, впоследствии психиатр, П. П. Викторов (1853 — 1929), не примыкавший ни к одному кружку, но пользовавшийся большой популярностью среди молодежи. Большой шум вызвала его речь на диспуте по поводу диссертации И. Н. Иванюкова „Основные положения экономической политики“ в 1881 г. В своем выступлении П. П. Викторов защищал революционный способ действий и привел обширные выдержки из произведений Маркса и Энгельса. Это была первая открытая проповедь в Московском университете революционного марксизма. Викторов поплатился за нее увольнением и административной высылкой.

его „в ряды той интеллигенции нашего общества, которая так или иначе стремится к ниспровержению настоящего порядка". Даже высказывали: „Вы один в настоящее время сумеете объединить все направления и партии, сумеете оформить это движение, придать ему силу и прочность. Подымайте высоко ваше светлое знамя; на ваш могучий и чистый голос откликнется вся Россия: вас поймут и отцы, и дети". („Общее Дело" № 56, стр. 6). И несмотря на свой скептицизм относительно всех действующих в России людей и групп, Иван Сергеевич радовался сближению около него старого и молодого поколения, старался указать, что „есть слова, есть мысли, которые им одинаково дороги; есть стремления, есть надежды, которые им общи; есть, наконец, идеал не отдаленный и туманный, а определенный и осуществимый и, может быть, близкий, в который они одинаково верят". Он говорил: „все указывает, что мы стоим накануне хотя близкого и законно-правильного, но значительного перестроя нашей жизни". Он отвечал восторженной молодежи, призывавшей его „объединить все направления и партии" в России: „После всего, что мне пришлось здесь видеть и слышать, я прихожу к заключению, что я должен переселиться в Россию... Я знаю, что это дело, за которое мне приходится взяться — очень нелегкое дело; лучше было бы взяться за него молодому человеку, а не мне... старику... Но что же делать? Я положительно не вижу и не знаю человека, который обладал бы более серьезным образованием, лучшим

положением в обществе и большим политическим тактом, чем я... вот и приходится мне... трудно это, конечно, для меня: приходится от многого отказаться... Ну, что же делать! ведь пришлось же не малым пожертвовать, когда начал писать охотничьи рассказы, — значит и теперь можно"... („Общее Дело" там же). Само собою разумеется, что русскому правительству это было не по сердцу. В Петербурге седого путешественника окружили шпионами. Ему запрещено было там являться среди молодежи и принимать ее овации. Ему советовали под рукою уезжать. Император говорил о любимом русском романисте: „C'est ma bête noire". Но тронуть писателя, знаменитого во всей Европе, не решились. Он мог только ответить на приветствия молодежи письмом, которое было напечатано в „Петербургском Листке" и где было сказано, между прочим [1]:

„Вижу я, что молодое поколение стоит на том пути, который один может вывести нас к свету, освежить нас и дать нам свободно и мирно развиваться".

Он уехал из России в конце русского марта [2], недели за две до покушения Соловьева, и писал мне 9 апреля (28 марта):

„Не зайдете ли завтра около 12 часов ко мне покалякать? А есть о чем! Я бы сам к Вам наведался, да подагра опять меня кусает и, вероятно, я просижу дома несколько дней. Из России я вернулся в субботу (5 апреля—24 марта)".

[1] См. примечание в конце статьи.
[2] Тургенев выехал из Петербурга 21 марта.

Он, действительно, рассказывал с одушевлением о том, что пережил, хотя беспрестанно возвращался к мысли, что овации ему были лишь поводом для либералов высказаться, а на мои вопросы: можно ли надеяться, что либералы сгруппируются, организуются, решатся кое чем рискнуть и выступить как политическая партия с определенной программой? — опять таки перечислял лиц, показывал их несостоятельность. Однако, он часто возвращался к общему возбуждению в молодежи, повидимому, полагая, что терроризм ей надоел, что она от него отворачивается и ищет других более мирных путей. О мысли, высказанной в его речи, которую недавно сообщило „Общее Дело", именно о его решимости принять на себя роль объединителя партий и руководителя политического движения в России, он ни слова мне не говорил. Но много раз после того в следующем году высказывал свою решимость вернуться в Россию и там поселиться, разорвав с долголетними привычками обстановки. Верил ли он сколько нибудь в то, что он может принять на себя подобную роль? Что при заострившейся борьбе вообще возможно, что „отцы и дети" 1879 года „поймут" его и пойдут за ним?.. Ответить решительно на это я не могу, но... сомневаюсь... Допускаю лишь, что, совершенно согласно с общими чертами его характера, он, при самомалейшей надежде на развитие общественной силы в России, где бы то ни было и в каком бы то ни было направлении — тем более в направлении ему симпатичном — готов был не только сочув-

ствовать, но и содействовать всякому такому движению, хотя не верил ни в прочность его, ни в состоятельность людей, к которым примыкал, и готов был, при первом проявлении этой несостоятельности, погрузиться снова в свой скептицизм. Иван Сергеевич тогда передал мне для прочтения некоторые адресы, поднесенные ему в России молодежью, и я воспользовался ими частью для очерка, который поместил тогда о русском движении в цюрихском „Jahrbuch für Socialwissenschaft“, откуда перенес и в эту статью некоторые частности, не встречающиеся в известиях, публикованных в газетах *.

Покушение 2 апреля сильно разуверило Ивана Сергеевича в том, что пора терроризма в России прошла. Мы в это время едва ли видались, по крайней мере, у меня не осталось личных воспоминаний о впечатлении, на него произведенном этим событием. Знаю, что ходили слухи, будто по его инициативе посылается от парижского общества русских художников адрес императору, и я нашел между своими бумагами неотосланное мое письмо по этому поводу к Ивану Сергеевичу; неотосланное именно потому, что слухи оказались, веро-

* Я возвратил тогда же Ивану Сергеевичу эти адреса, а полной копии с них не снимал, поэтому теперь проверить новых печатных сведений не могу. Помнится, один из этих адресов, именно тот, из которого я выписал одну из приведенных выше фраз, был от студентов Горного Института. Следовательно, это должен быть тот самый, который, по памяти, восстановлен в № 56 „Общ. Дела“. Разницу в таком случае пришлось бы приписать тому, что я делал из оригинала, переданного мне И. С., выписку того, что для меня было важно, участник же адреса, восстанавливая его по памяти, восстановляет особенно то, что для него было интересно. Но может случиться, что мои выписки относились и к другому адресу. (Примечание Лаврова.)

ятно, сомнительными или вовсе неверными. Люди, видевшие его часто в это время, сообщали мне о резком переходе, замеченном в его мнениях о Соловьеве. Сначала Иван Сергеевич был сильно вооружен против него [1], но потом, выслушав рассказ какого-то высокопоставленного приятеля, передавшего ему, как держал себя Соловьев на суде, его оценка, говорят, совершенно изменилась, и он признавал в Соловьеве замечательный героизм. Около июня месяца он самым усердным образом хлопотал о г-же Кулешовой [2], арестованной в Париже по поводу устройства там секции Интернационала, и которую, как ходили слухи, имелось в виду по окончании следствия выдать русскому правительству. Он обратился прямо к Орлову и доставил мне немедленно телеграмму, полученную от последнего, о том, что русское посольство и не думало хлопотать о выдаче Кулешовой России. Несколько позже он хлопотал о помещении в „Temps“ очерка, изображавшего в автобиографической форме картину одиночного заключения в России политических преступников, очерка, писанного эмигрантом, и которому Иван Сергеевич предпо-

[1] О покушении А. К. Соловьева Тургенев писал Полонскому: „Последнее безобразное известие меня сильно смутило: предвижу, что будут иные люди эксплоатировать это безумное покушение во вред той партии, которая именно, вследствие своих либеральных убеждений, больше всего дорожит жизнью государя, так как только от него и ждет спасительных реформ: всякая реформа у нас, в России, не сходящая свыше немыслима.— Все это прекрасно... но в результате выйдет то, что именно эта партия и пострадает. Одна надежда на спокойный дух и благоразумие самого государя. Очень я этим взволнован и огорчен“. (Письмо Я. П. Полонскому из Парижа, 5 апреля 1879 г.)

[2] Кулешова — Анна Розенштейн (род. в 1854) — революционерка-анархистка. В начале 70-х годов училась в Цюрихе. В 1877 г. эмигрировала за границу.

сылал сочувственное предисловие [1]. Там говорилось, между прочим („Le Temps“ от 12 ноября 1879 г.):

„Автор принадлежит к тем молодым русским, слишком многочисленным в настоящее время, мнения которых правительство моей страны нашло опасными и заслуживающими наказания. Нисколько не поддерживая его мнений, я думал, что наивный и откровенный рассказ о тех страданиях, которые он испытал, не только вызывает сочувствие к его личности, но докажет и то, насколько предварительное одиночное заключение не может быть оправдано с точки зрения здравого законодательства... Вы увидите, что эти нигилисты, о которых говорят в последнее время, не так черны и не так зачерствелы, как их представляют“.

Само собой разумеется, что Катков не упустил случая воспользоваться словами Ивана Сергеевича, и один из его спспоспешников, весьма известная и в достаточной степени грязненькая личность, напечатал в „Московских Ведомостях“ от 9 декабря 1879 г. под псевдонимом „Иногородного Обывателя“ корреспонденцию, где обвинял Ивана Сергеевича „в низкопоклонничестве и в заискивании и в „кувырканьи“ пред известною частью нашей молодежи“ [2]. Тогда-то Иван Сергеевич в конце декабря

[1] С 12 по 25 ноября нов. ст. в парижской газете „Le Temps“ печатался очерк И. Я. Павловского. „En cellule. Impression d'un nihiliste“. (В одиночном заключении. Впечатления нигилиста). Предисловие Тургенева к этому очерку навлекло на романиста нападки русской реакционной прессы.

[2] Корреспонденция „С берегов Невы“ в № 318 „Моск. Вед.“ от декабря 1879 г. была написана Б. М. Маркевичем.

1879 г. прислал в редакцию „Вестника Европы“ письмо, которое г. Стасюлевич поместил в „Молве“ 30 декабря 1879 г., в „Вестнике Европы“ за февраль 1880 г. и паки в „Новостях“ от 14 сентября 1883 г. В этом письме находилось то исповедание политической веры, из которого я привел отрывочно уже некоторые места и которое теперь привожу в связи.

„Не хвастаясь и не обинуясь, а просто констатируя факт, я имею право утверждать, что убеждения, высказанные мною и печатно, и изустно, не изменились ни на иоту в последние сорок лет; я не скрывал их никогда и ни пред кем. В глазах нашей молодежи — так как о ней идет речь — в ее глазах, к какой бы партии она ни принадлежала, я всегда был и до сих пор остался „постепеновцем“, либералом старого покроя в английском, династическом смысле, человеком, ожидающим реформ только свыше — принципиальным противником революции, не говоря уже о безобразиях последнего времени. Молодежь была права в своей оценке — и я почел бы недостойным и ее, и самого себя представляться ей в другом свете. Те овации, о которых упоминает „Иногородный Обыватель“, мне были приятны и дороги именно потому, что не я шел к молодому поколению... но потому, что оно шло ко мне; они были мне дороги, эти овации, как доказательство проявившегося сочувствия к тем убеждениям, которым я всегда был верен и которые громко высказывал в самых речах моих, обращенных к людям, которым угодно было меня чествовать“.

Слова „о безобразиях последнего времени", не совсем гармонировавшие с теми отзывами о героизме Соловьева, которые — как мне передавали вполне заслуживающие доверия свидетели — были высказываемы Иваном Сергеевичем после казни Соловьева, не могли не произвести в русской молодежи некоторого охлаждения недавних восторгов, хотя никогда нельзя было считать его сочувствующим террору, и его письмо не содержало в целом ровно ничего, что не совпадало бы и с общим характером деятельности Ивана Сергеевича, и с теми побуждениями, которые вызвали овации в молодежи в феврале и марте 1879 г. Это охлаждение выказалось на пушкинском празднике в июне 1880 г. В фельетоне „Русских Ведомостей" от 27 сентября 1883 г. автор сообщает, что речь Ивана Сергеевича „была встречена холодно, и эту холодность еще более оттеняли те овации, предметом которых вслед за ним сделался Достоевский" [1]. Сообщает и следующий анекдот: „Выходя из залы, Тургенев встретился с группой лиц, несших венок Достоевскому; в числе их были и дамы. Одна из них, сделавшаяся потом эмиграткой, оттолкнула Ивана Сергеевича со словами: „не вам, не вам!" Это было очень несправедливо, но вполне объяснимо.

Это было вопиющей несправедливостью именно по отношению к Достоевскому и его речи, с ее трескотней фраз о „всечеловеке", о необходимости принять „вкусы и предрассудки народа", при высказанном лишь в объяс-

[1] Цитата из воспоминаний М. М. Ковалевского.

нении речи утверждении, что наш народ просветился уже давно, приняв в свою суть Христа и учение его („Дневн. Писат.“, авг. 1880, стр. 21), что „идеал“ русского народа — „Христос“ (там же, стр. 23); с лицемерно любовною болтовнею Достоевского о „русской душе“, указывающей „исход европейской тоске“ во имя „братского окончательного согласия всех племен по Христову евангельскому закону“ (речь в „Дневн. Писат.“, авг. 1880, стр. 19). Конечно, молодежь, делавшая овации Достоевскому, брала из его речи не то, что он действительно говорил, а то, что в этой речи соответствовало ее стремлениям. Не христианское прощение зла, наносимого братьям, читала она в туманных словах нервного оратора: „стать настоящим русским, стать вполне русским, может быть, и значит только... стать братом всех людей, всечеловеком...“ (там же, стр. 18), а солидарность в борьбе за право на лучшую будущность для всех обездоленных братьев против их эксплоататоров всех наций. Она готова была смириться пред народом в том смысле, который употреблял Иван Сергеевич в своем письме от 11 сентября 1874 г. („Русск. Стар.“, окт. 1883, стр. 225) [1], смириться для „мелкой и темной работы“, смириться пред народом, жертвуя ему своими интересами, своим благополучием, своею жизнью, но пред народом, в пробуждающемся сознании которого она читала ненависть к его вековым притеснителям, пред народом, который, в стремлении к правде умственной и нравственной, „принял бы в свою

[1] Цитируются письма Тургенева к А. П. Философовой.

суть" уже не Христа, смиренно переносящего заушения, а Христа, воскресшего из могилы невежества и бессознательности, Христа, являющегося справедливым и грозным судьею. Эта молодежь при словах Достоевского о русском „несчастном скитальце в родной земле... в оторванном от народа обществе нашем" видела вовсе не образ Алеко и Онегина, но образы более дорогие и близкие. Она сама, эта страстная и самоотверженная молодежь, только что горько испытала, насколько она оторвана от народа; за эту оторванность она заплатила шестью годами бесплодной пропаганды, тысячами жертв братьев, томившихся на каторге, умиравших в одиночном заключении и на виселице. Она только что начала новый, более ожесточённый бой с врагами этого народа, со своими врагами, и все более проникалась сознанием, что ей приходится выполнить делом „Аннибалову клятву", которую в молодости давал Тургенев; задачу, за которую сидел в „Мертвом Доме" прежний сторонник Петрашевского, говоривший теперь о христианском смирении и подразумевавший под словами: „Государство, которое приняло и вновь вознесло Христа" („Дневн. Пис." от 1880, стр. 38), ту самую царскую Русь Иванов Грозных и споров о двуперстном кресте, ту самую императорскую Россию Шаховских, Магницких, Дуббельтов, Мезенцевых, против которой поднималась русская молодежь. Свою боль скитальчества по русской земле, свое жаркое желание слиться с народом, свою страстную готовность жить и умереть за братьев

она вносила в слова оратора, и ее овации, которые он гордо принимал за „событие“, относились к ее собственной трагической истории, которую она подкладывала под его туманные фразы.

В это самое время седой поклонник искусства, как нарочно, не касался ни одного больного, жгучего места взволнованной Руси. Он говорил о том минувшем времени борьбы 40-х годов, когда стало „не до поэзии, не до искусства“ („Вестн. Евр.“, июль 1880, прилож., стр. X [1]), когда „миросозерцание Пушкина показалось узким“. Но что значила для слушателей та старинная борьба, когда теперь кипела новая, когда стоны слышались с Кары, из централок и из казематов крепостей, когда жертвы падали одна за другой с обеих сторон и взрывы заставляли колебаться и окрестности Москвы и Зимний дворец! Он кончал приглашением слушателей признать „учителем“ (стр. XIII) великого поэта, для которого поэзия была примирением со всеми бедствиями жизни, когда в ушах молодежи звучали слова других, безымянных, затерянных в ее массе учителей, требующих „крови за кровь“, призывающих народ к восстанию. Он, верный своим прежним задачам, говорил (стр. XV):

„В эпохи народной жизни, носящие название переходных, дело мыслящего человека, истинного гражданина своей родины, — итти вперед, несмотря на трудность и часто на грязь пути, но итти, не теряя ни на миг из виду тех основ-

[1] Лавров цитирует здесь и в дальнейшем речь Тургенева на пушкинских празднествах, произнесенную им 7 июня 1880 г.

ных идеалов, на которых построен весь быт общества, которого он состоит живым членом".

Под этими словами мог подписаться любой русский революционер, и они несравненно ближе подходили к задаче русской революционной партии, чем действительный смысл широковещательных слов Достоевского о „всечеловеке", но они потерялись для слушателей в общем сдержанном тоне речи, не гармонировавшей с раздраженными нервами русского общества. Они еще более потеряли для слушателей значения, когда седой оратор только что перед тем отожествил „народного" поэта с „национальным" (стр. VI), тогда как самая суть социального вопроса последнего периода заключалась в противуположении понятия о „народе" понятию о „нации"; понятия о народе, как экономическом классе, обреченном самою историею на классовое противуположение, на классовую борьбу с экономически господствующими группами, понятию о „нации", как такому, которое соединяло, с точки зрения этнографической, культурной или политической, в одно целое все экономические классы и потому замазывало самый существенный вопрос истории, вопрос борьбы классов. Для Ивана Сергеевича этот вопрос в его грозном значении никогда не был ясен, хотя художнику не раз приходилось невольно подходить к нему довольно близко. Но именно тот политический либерализм, верностью которому в продолжение всей своей жизни Иван Сергеевич так гордился, мешал ему ясно видеть за единством „нации"

противуположение „народа“ экономически господствующим над ним классам[1]. Но для русской молодежи противуположение „народа“ и „нации“ было не только вопросом теории, а вопросом жизни, вопросом, определяющим решимость на борьбу и на самоотвержение.

Все это вызвало печальное недоразумение, вследствие которого нервный проповедник примиряющего христианства, поклонник русского государства с его жандармским строем, мистический ренегат убеждений своей молодости стал на минуту предметом овации молодежи, увлеченной своим призраком, а тот, который недавно был предметом восторгов, которой только что публично оттолкнул грязную руку Каткова, должен был почувствовать, что не ему можно в 1880 году явиться объединяющим центром отцов и детей взволнованной России. К сожалению, мы имеем очень мало „стихотворений в прозе“, относящихся ко времени после июня 1880 года, и ни одного, которое давало бы истолкование того, как смотрел на отношение русского общества к нему Иван Сергеевич. Может быть, это найдется в рукописях. Из трех произведений этого времени, мне известных, мне придется еще упомянуть о двух.

К эпохе, следовавшей за возвращением Ивана Сергеевича из Буживаля в Париж в 1882 году, относятся два факта из моих воспоминаний*, точной даты которых я не

[1] См. примечание в конце статьи.

* По крайней мере, наверно второй. Первый мог иметь место и ранее его последней поездки в Россию. (Примечание Лаврова.)

помню и важности которым я особенной не придаю, но которые мне были потому неприятны, что в этом случае мои вполне невинные сношения с Иваном Сергеевичем как бы послужили поводом неприятностей для него.

В русское посольство явился доносчик, который сообщил о подслушанном им будто бы в одной парижской кофейне разговоре между двумя русскими о планах цареубийства. Доносчик сообщил, что слышал, как называли по имени и отчеству одного из разговаривавших, и что захватил обрывок письма, которым один из них зажигал сигару. На обрывке стояли порусски слова „Буживаль“ и дата. Эти слова были писаны рукой Ивана Сергеевича. Он признал свой почерк. Он уверял меня, что в это время мог по-русски писать только двум лицам: мне и еще другому, но, по некоторым соображениям, думал, что скорее мне. Как мы ни ломали с ним головы, каким образом этот обрывок письма — вероятно самого невинного — мог попасть в руки какого-нибудь шпиона, но мы не догадались. Рассказ же о „цареубийцах“ носил на себе следы явной и неловкой фантазии. По описанию фигур разговаривавших, мне переданному, я не мог применить этого описания ни к кому из лиц, мне знакомых, хотя имя и отчество одного из говоривших могло бы служить руководителем, если бы рассказ был верен. Так как имя это носил один общий наш с Иваном Сергеевичем приятель (совершенно чуждый всяких „революций“), то надо думать, что в письме — вероятно не имевшем никакого серьезного содержания и потому бро-

шенном мною — Иван Сергеевич случайно упомянул о нем, а доносчик, доставший как-либо этот листок, воспользовался действительным именем для округления своего рассказа. Князь Орлов [1] имел, как мне передавал Иван Сергеевич, разговор с ним по этому поводу, писал в Петербург и окончательно объявил ему, что ему верят и дело предают забвению.

Другой случай имел более широкую огласку и перешел в газеты. Общество русских художников в Париже вздумало дать литературно-музыкальный вечер. Быв раз у Ивана Сергеевича, я спросил как-то: „А что, как он думает, можно мне быть на этом вечере?“ Он ответил мне, что, конечно, можно, и что он даст мне два билета для меня и для кого-либо из моих приятелей. Я тогда серьезно спросил его, не может ли быть какого-либо скандала? Ведь если запоют „Боже, царя храни!“, так мне придется выйти среди пения, а это может доставить ему неприятности (о других неприятностях, меньших, но возможных, вследствие самого моего присутствия, мы едва ли упомя-

[1] Николай Алексеевич Орлов (1827—1885) — русский посланник в Париже. Тургенев был знаком с ним давно. Еще в 1853 г. Орлов известил Тургенева о конце его деревенской ссылки и позволении въезжать в столицы.

Рассказанный Лавровым эпизод относится к декабрю 1879 г., когда к Орлову явился некто И. Домбровский с предложением услуг по раскрытию заговора и в доказательство достоверности сообщения о подслушанном им якобы разговоре о готовящемся покушении принес клочки разорванного письма, в правом углу которого стоял вензель „I. T.“, в левом—адрес „50, Rue de Douai Paris“, а рукою Тургенева было написано: „Понедельник 8 дек.“. Судя по характеру сообщения Орлова в III отделение, рассказу Домбровского он не придал веры, и наведение справки у Тургенева было лишь неизбежной формальностью. Получив небольшое вознаграждение, Домбровский исчез. Инцидент был этим исчерпан. (См. Л. Ильинский. Тургенев и эмигранты. — „Литературно-библиологический сборник“. П. 1918, стр. 38—39.)

нули). Он с улыбкою сказал, что „Боже, царя храни!“ петь не будут. Концерт состоялся. Иван Сергеевич лежал больной в подагре и прислал мне билеты с любезною запискою (впрочем, не сохранившейся). При входе я спросил, смеясь, секретаря общества, не выгонят ли меня? Но все были чрезвычайно любезны. Мои знакомые художники и лица, довольно известные, очень смело подходили ко мне. Со мною знакомились при случае даже лица, мне до тех пор неизвестные. Программа вечера была прекрасно составлена; я усердно аплодировал всем исполнителям и ушел вполне уверенный, что все прошло благополучно. Но оно оказалось не так. По чьему-то доносу — не то священника русской церкви, не то военного агента г. Фредерикса — началось разыскание, кто доставил мне билет. Общество составило даже проект протеста против Ивана Сергеевича (который, для вящшей иронии, по безграмотности составителей, дали конфиденциально ему же поправить, как он мне сам говорил). Он имел в виду выйти из общества после того. Но дело перешло в высшую инстанцию. Князь Орлов поехал к Ивану Сергеевичу опросить его, снесся с Петербургом и, окончательно оставив в стороне протест, изменил существенно устав общества, устранив впредь возможность появления на его вечерах столь неприятных личностей и, кроме того, попутно, стеснив право членов вводить женщин (почему? — осталось для меня неясным, так как ни одной из известных революционерок в Париже не было, а все русские Латинского квартала, там

бывшие — большею частью легальные студентки — и были одеты и держали себя вполне прилично).

Грянул удар 1 марта 1881 г. Долго после того я не видался с Иваном Сергеевичем. Но еще весною, до обыкновенного переезда своего в Буживаль, он мне назначил тайные свидания в одном ресторане Avenue Clichy, так чтобы ни у него дома, ни на улице нас не видали вместе. Не могу сказать поэтому, по личным воспоминаниям, какое впечатление произвело на него событие непосредственно. Относительно статьи в „Revue politique et littéraire“ (которой у меня нет теперь под руками) он не отказывался, что она была внушена им, хотя не признавал ее при мне своим произведением [1]. Из нее видно было, что он ожидал от нового царствования лучшего. Когда мы стали видаться, реакция была уже в полном разгаре, и он с раздражением сообщал мне о подвигах нового царствования, о падении духа его приятелей и т. п. Летом я его вовсе не видал, так как в Буживаль не ездил. Но я имею основание думать, что суд, приговор и казнь 3 апреля [2] произвели на него сильное впечатление и что под этим впечатлением написано им стихотворение в прозе „Порог“ [3], которое

[1] В недатированном письме Лаврову 1881 г. Тургенев прямо называет себя автором этой статьи об Александре III. См. прим. на стр. 41.

[2] 3 апреля 1881 г. состоялась казнь участников террористического акта 1 марта 1881 г.—А. И. Желябова, С. Л. Перовской, Н. И. Кибальчича, Т. М. Михайлова и Н. И. Рысакова.

[3] Посылая М. М. Стасюлевичу для напечатания в „Вестнике Европы“ „Стихотворения в прозе“, Тургенев предупредил его, что „Порог“ может оказаться неудобным в цензурном отношении. Согласившись с этим, Стасюлевич исключил пьесу из состава „Стихотворений в прозе“, напечатанных в декабрьской книжке „Вестника Европы“

не вошло и не могло войти в состав того, что было напечатано в следующем году в „Вестнике Европы“, но было мне прочитано им летом 1882 г. вместе с тремя другими там напечатанными. Новым Еленам, рисовавшимся в воображении художника, приходилось отвечать теперь: „знаю, я готова!“, на более грозные вопросы, чем те, которые им ставили дорогие им личности в 1859 г., и если из канур катковцев раздавалось около них озлобленное „дура!“, то они слышали над собой и голос истории, в которую они смело вступали, и которая говорила потомству: „святая!“ В бумагах Ивана Сергеевича должен оказаться листок, бывший в 1882 году в ящике его письменного стола, листок, на котором карандашом нарисованы изящные портреты Перовской, Желябова и Кибальчича. О сходстве я судить не могу.

Я отношу „Порог“ к первой половине 1881 года, так как это произведение, очевидно, было навеяно образом Перовской (как и заметил критик в „Justice“ 8 янв. 1884), но к концу года Иван Сергеевич относился крайне скептически к русским революционерам, которых он считал — как и многие — окончательно разбитыми и неспособными к дальнейшей энергической борьбе. Это особенно проявилось в его „Отчаянном“ („Вестн. Евр.“, янв. 1882), писанном в ноябре 1881 г. Здесь, как аналогия со-

за 1882 г. „Порог“ был напечатан в 1883 г. в приложении к листку „И. С. Тургенев“ и повторен в № 2 „Вестника Народной Воли“ за 1884 г. В подцензурной русской печати „Порог“ появился только в 1905 г. в „Русском Богатстве“ (кн. 12) и отдельной брошюрой с предисловием С. А. Венгерова в издании „Светоча“ в 1906 г. Воспроизведен в III томе „Русских Пропилеев“.

временным революционерам, выставляется человек прежнего времени с „беспредметною отчаянностью“ („В. Евр.“ 37), сходный с новыми своими потомками будто бы тем, что „и там и тут — жажда самоистребления, тоска, неудовлетворенность“ („В. Евр.“ 56). В частных разговорах Иван Сергеевич еще резче настаивал, как мне рассказывали, на этой параллели, но отрицал в новых революционерах ту физическую энергию, которая для них, как он полагал, была необходима, и тип которой он хотел нарисовать в своем Мише с „зубами его, крупными, белыми и по звериному заостренными“ („В. Евр.“ 39). Он так горячо стоял за подобный взгляд, что даже поссорился с одним своим молодым приятелем, резко отстаивавшим отсутствие всякого рационального сходства между типом жалкого Миши и новыми революционерами*. Это был явно продукт периода, когда Иван Сергеевич видел только недостатки в представителях нового движения и раздражался ими как новым разочарованием. Вероятно, к той же эпохе относится и разговор, сообщенный в фельетоне „Русск. Вед.“ от 27 сент. 1883 г., в котором Иван Сергеевич раздражался „слабостью и отсутствием всякой почвы“ под разными „новыми течениями“ русского общества, отказывался воплотить их в романе, придать „бесформенности форму“ или предлагал назвать этот новый роман „Трясиною“. Так как в про-

* См. об этом „Русскую Мысль“, ноябрь 1883 г., стр. 329, хотя по некоторым частным сведениям, разговор там передан не совсем точно. (Примечание Лаврова.)

межуток до лета 1882 г., когда он мне читал „Порог“, не случилось ничего, что могло бы оживить веру Ивана Сергеевича в силу борющейся партии, то я не считаю возможным, чтобы „Порог“ был написан после „Отчаянного“.

Впрочем, в январе 1882 г., когда я был у него с одним приятелем, он так мрачно смотрел на события в России, что говорил между прочим: „Прежде я верил в реформы сверху, но теперь в этом решительно разочаровался; я сам с радостью присоединился бы к движенью молодежи, если бы не был так стар и верил в возможность движения снизу“ *. Между тем, в России были группы, сильно верившие в то, что Тургенев стоит за партию движения. Как одно из проявлений этого, приведу довольно забавное истолкование, которое давали иные его совершенно объективному рассказу „Песнь торжествующей любви“, появившемуся в ноябрьской книжке „Вестника Европы“ [1], когда Иван Сергеевич писал уже „Отчаянного“. Валерия — это Россия, которою легально обладает Фабий — правительство, но силою чар немого — именно русского народа — и силою чар собственной любви, готовой даже на преступление и „торжествующей“ над всеми препятствиями, Муций — символическое воплощение русских революционеров — привлекает к себе неудержимо Россию, делается ее обладателем на зло ей самой и лишь он способен

* Свидетель и участник разговора выразил мне готовность засвидетельствовать в случае нужды его действительность. (Примечание Лаврова.)

[1] 1881 года.

оплодотворить ее для лучшего будущего, причем она, даже после гибели своего оплодотворителя, соединяется с ним духовно и поет „песнь торжествующей любви“ — песнь революции. Мы с Иваном Сергеевичем не мало смеялись, когда я ему передавал это истолкование, более фантастическое, чем сам этот фантастический рассказ.

Вслед за тем я был выслан из Франции. В 3 дня, предоставленные мне для устройства дел, я съездил проститься к Ивану Сергеевичу, которого не застал, но получил от него вслед за тем (от субботы 11 февраля) самое сочувственное письмо, где он мне пишет, что говорил обо мне с префектом полиции Камескассом, что тот готов мне дать отсрочку, если я только попрошу ее, и предлагал свои услуги, „если только он может быть мне полезным“. Я не имел в виду просить об отсрочке и уехал. Но в тот самый день, когда Иван Сергеевич писал мне предшествующую записку, в „Gaulois“ — редактируемом тогда слишком известным Ционом [1], появилась статья, где, должно быть (я не имею ее под руками и цитирую по „Temps“), упоминалось о введении меня Иваном Сергеевичем в парижское общество русских художников и говорилось, что я мог так долго оставаться на почве Франции лишь потому в особенности, что „пользовался покровительством Тургенева“, который „при помощи

[1] Илья Фаддеевич Цион (1835—1912) — физиолог, реакционный публицист. В 1874 г. вследствие студенческих беспорядков вынужден был прекратить чтение лекции, а вскоре был уволен от должности профессора Медико-хирургической Академии. Переехал в Париж и занялся публицистикой.

своих связей спасал" меня „несколько раз". На другой день появилось в „Gaulois" и вечером в „Temps" (от 13 февр. 1882) письмо Ивана Сергеевича, где было сказано:

„Я знал г. Лаврова в Петербурге, как литератора, когда он... преподавал военное искусство и печатал работы по философии. Как литератора, я ввел его однажды на музыкальный вечер кружка русских художников в Париже.

„Что касается спасения г. Лаврова, я никогда не имел для этого ни возможности, ни случая, а наши политические взгляды расходятся настолько, что он в одном из своих напечатанных произведений формально упрекал меня в том, что я, как либерал и оппортюнист, всегда противодействовал тому, что он называл развитием революционной мысли в России[1]".

Мне совершенно неизвестно, на какое мое напечатанное произведение намекал при этом Иван Сергеевич, так как единственный раз, когда я серьезно напал на него, я не мог обвинять его в „оппортюнизме", термине, еще не родившемся в 1869 году, и полагаю, что память его обманула (как и в приписывании мне преподавания „военного искусства", которого я никогда не преподавал), тем более, что русских либералов „оппортюнистами" я не мог никак называть, когда именно они страдали тем, что упускали из рук всякое „оппортюнное" обстоятельство для действия... Едва ли

[1] Письмо Тургенева в „Gaulois", перепечатанное в „Le Temps" полностью воспроизводится в III томе „Русских Пропилеев".

также я когда-либо писал, что он „противодействовал“ развитию революционной мысли в России, так как „противодействовать“ ей едва ли он когда-нибудь мог, оставаясь в стороне от нее, косвенно же и бессознательно содействуя ей. Во всяком случае, если я где-нибудь высказал, что-либо, подходящее к этому, это могла быть лишь заметка, которую Иван Сергеевич растолковал себе не совсем точно. Он был совершенно прав в том, что он „не имел случая спасать“ меня. Но все это в сущности совсем не важно, так как разница наших взглядов, упомянутая Иваном Сергеевичем, была совершенно верна, и я, действительно, видел в нем всегда только либерала, хотя либерала, настолько имеющего более чутья, чем его товарищи, что он готов был сочувствовать и даже содействовать всякой нарождающейся силе, оппозиционной по отношению абсолютизма, как только он мог на минуту предполагать, что она может проявиться как сила.

По возвращении моем в Париж через три месяца я застал Ивана Сергеевича уже сильно больным, и мы ни разу даже не упоминали в разговорах о его письме. Тогда его занимал план романа, в котором он хотел противоположить тип русского социалиста-революционера типу французского его единомышленника. Эта мысль противоположения русской и западно-европейской передовой натуры составляла часто предмет его разговоров и со мною и с другими лицами (как свидетельствуют воспоминания, напечатанные в „Русской Мысли“ за ноябрь 1883 г., стр. 319 и след., в „Рус-

ском Курьере“ [1] за 14 декабря 1883 г., в „Нов. Времени“ 7 сент. 1883 г. [2] из лондонского „Атенеума“ и в других изданиях). По некоторым свидетельствам (Русский Курьер“ 14 дек. и „Русск. Мысль“ за ноябрь 1883 г.), рукопись, заключающая первый набросок этого задуманного романа, была уже довольно значительного объема в 1882 г., по другим („Русские Ведом.“ от 27 сент. 1883 г., фельетон) ее вовсе не существовало, и план романа был только в голове Ивана Сергеевича. Позднейшее обнародование оставшихся после него рукописей покажет, кто прав. Но если и найдется набросок этого романа, можно заранее предсказать, что и здесь мы встретим превосходно созданные, живые типы, найдем великолепный угол картины русского общества конца 70-х и начала 80-х годов, но полной картины, полного „воплощения в надлежащие типы образа и давления времени“ не найдется и здесь.

В продолжение последней тяжкой болезни Ивана Сергеевича 1882—1883 г. я несколько раз посетил его в Буживале и в Париже. Именно тогда, на балконе в Буживале, поздним летом 1882 г. он мне прочел из своих „Стихотворений в прозе“ „Разговор“, „Чернорабочий и белоручка“, „Порог“ и что-то еще. Он чувствовал себя временно лучше, говорил о поездке в Россию и был более оживлен, чем в другие разы. Тогда он мне показал и пор-

[1] В корреспонденции И. П[авловского] из Парижа от 7 (19) декабря.

[2] В воспоминаниях В. Рольстона, перепечатанных из лондонского „Athenaeum'a“.

треты, о которых я говорил выше. Тем не менее, скептицизм относительно всех русских деятелей ясно высказывался в его словах, высказался и в последнем напечатанном его стихотворении в прозе („Русский язык“, июнь 1882 г.):

„Во дни сомнения, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины — ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! — Не будь тебя — как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома?..“

Эти „Стихотворения в прозе“, указывавшие несколько полнее субъективную жизнь Ивана Сергеевича, появились в декабре 1882 г.

В 1883 г. сначала многочисленные занятия не позволили мне часто бывать у Ивана Сергеевича, потом до меня стали доходить известия, что к нему не допускают посетителей, боясь волновать его разговорами. Летом 1883 г. я видел его не более трех раз. В последний раз я нашел его очень слабым, упадок сил и приближение фатальной развязки были совершенно очевидны; разговор явно утомлял его. Я остался у него в Буживале всего четверть часа. Последнюю записку, писанную карандашом в минуту, когда он чувствовал себя несколько лучше, я получил от него от 13 июня 1883 года: она заключала приглашение побывать у него, обращенное к одному общему нашему приятелю, которого Иван Сергеевич очень любил, но адреса которого не знал. Когда тот поехал в Буживаль, Ивану Сергеевичу уже трудно было говорить с ним.

Великий художник русского слова умер 23 августа (4 сент.) [1]. Каков был ответ стихийных, бессмысленных сил на вопрос, который он сам поставил ровно за три года до своей смерти: „Что я буду думать тогда, когда мне придется умирать, — если я только буду в состоянии тогда думать?". Что именно тогда „в глубине его потухающих глаз билось и трепетало — как перешибленное крыло на смерть раненой птицы?" („Что я буду думать?"... авг. 1879 г.). Это остается тайной бессмысленных стихийных сил, а в последние минуты около него не было никого, способного хотя приблизительно истолковать последнюю мысль умирающего. Лицо, которому я имею основание верить, передавало мне сведение, будто в предсмертном бреду Иван Сергеевич признавал „террористов великими людьми", но тот, кто мне говорил это, указывая на свои источники, называл лиц, к свидетельству которых я не могу уже иметь такого доверия, и потому я не придаю этому сведению никакого особенно серьезного значения.

Нам важен не бред умирающего. Нам важна жизнь одного из самых крупных художников слова XIX столетия. Если около его гроба встретились, как говорит Рольстон („Новое Время" 7 сент. 1883 г., из английского „Атенеума"), представители русского правительства и русской революции, для этого было достаточно основания, даже помимо того общего уважения, которым справедливо пользовался

[1] Дата не точна. Тургенев умер в Буживале 22 августа (3 сент.) 1883 г.

Иван Сергеевич и как человек, и как писатель. Князь Орлов достаточно европейский человек, чтобы понимать, что пред лицом Европы ему невозможно было не отдать чести единственному, может быть, современному русскому писателю, которого признает великим писателем западная цивилизация, хотя бы члены царской семьи, управляющей Россией, и способны были высказывать сожаление о том, что Тургенев „писал по-русски". Русским революционерам следовало выказать свое уважение к человеку, который, в проповеди гуманных идей и либеральных начал, принадлежал к великой плеяде литературных борцов сороковых годов против царства пошлости; к плеяде подготовителей более определенных программ борьбы последующей четверти века за лучшую лудущность России; человеку, который умел лучше, чем большинство его сверстников, сочувствовать, а частью и содействовать новым силам, выступавшим на почву этой борьбы, хотя не был в состоянии настолько отказаться от старых преданий либерализма, чтобы вполне понять значение новых событий и тем менее стать в ряды новых „отчаянных" борцов. Бессознательный подготовитель и участник в развитии русского революционного движения, он тем не менее подготовлял его и участвовал в нем. В типе болгаринл Инсарова он поставил задачу для „русских Инсаровых". Он признал нравственное величие „русской нови". Он признал „святыми" мучениц руссской революции. Он отметил ярко „канун" великой борьбы и более смутно разглядел рассвет „настоя-

щего дня“ этой борьбы, хотя другой „настоящий день“, день торжества свободы русского народа, остался для него, как остается для нас, „открытым вопросом“ (речь в „Московском Юридическом Обществе“ в „Русск. Ведом.“ 27 сент. 1883). Имеем ли мы право требовать большего от человека, сверстники и единомышленники которого, за крайне немногими исключениями, оказались или ренегатами или трусами? Наши товарищи в Петербурге высказали уже мнение передовых русских революционеров об Иване Сергеевиче („И. С. Тургенев“, в лет[учей] типографии „Нар. Воли“, 25 сентября 1883).

Всем известные обстоятельства делают для меня, по моему мнению, неприличным говорить о той сцене, которая разыгралась в русской прессе после его смерти [1]. Но Иван Сергеевич оказал услугу русским либералам и мертвый. Русское правительство выказало еще раз свою неспособность ни явно препятствовать чествованию неприятной для него личности, ни взять на себя преобладающую роль в торжестве европейски-знаменитого русского художника, ни даже скрыть свою бессильную и нерешительную оппозицию церемонии, в которой участвовали все оппозиционные силы России, группируя около себя — следовательно против него, правительства — множество сил в сущности вовсе не оппози-

[1] Через несколько дней после смерти И. С. Тургенева П. Лавров опубликовал в газете „Justice“ письмо с сообщением о денежной поддержке, которую оказывал Тургенев журналу „Вперед!“. Катков перепечатал перевод этого письма в „Моск. Ведом.“, красноречиво оставив его без комментария М. М. Стасюлевич счел своим долгом „защитить“ Тургенева, объявив в письме в редакцию газеты „Новости“ сообщение Лаврова „лживой провокацией“.

ционных. У русских либералов хватило духу, опираясь на поддержку общественного мнения, придать этому торжеству, явно оппозиционному, размеры, до тех пор неслыханные на Руси для похорон частного лица, и, следовательно, нанести еще удар призраку непоколебимости русского абсолютизма. Мертвый Тургенев, окруженный пением православных попов, которых он ненавидел, и многочисленными делегациями групп, в политическую состоятельность которых он не верил, продолжал бессознательно дело своей жизни, выполнение „аннибаловой клятвы“. Как его чисто художественные типы, так и его покрытый бесчисленными венками гроб были ступенями, по которым неудержимо и неотразимо шла к своей цели русская революция.

ПРИМЕЧАНИЯ

К стр. 21. Несколько подробнее рассказывает Лавров об обстоятельствах этого свидания в первой части своей статьи, не вошедшей в настоящий сборник: „При первой нашей встрече за границей в салоне весьма известного русского парижанина [вероятно, Г. Н. Вырубова], при чем присутствовали В. Ф. Корш и г. Ханыков, Иван Сергеевич воспользовался первым удобным оборотом разговора, чтобы повести речь об „Отцах и детях" и горячо защищаться против неверного понимания этого произведения читателями и критикою. Так как я никогда не смотрел на Базарова, как на тенденциозную карикатуру, то мне было очень легко согласиться в этом с Иваном Сергеевичем, но я тогда же высказал ему, что я ставлю ему в вину его изображение в „Дыме" кружка Губарева и его поклонников, особенно в эпоху, когда группы, к которым можно было применять направление этого кружка, подверглись весьма ясно характеризованному гонению. Тургенев не защищался".

К стр. 22. В „Правительственном сообщении", опубликованном в № 120 „Правительственного Вестника" от 21 мая 1873 г., отмечался рост политической активности русской студенческой колонии и делалось предупреждение „всем русским женщинам, посещающим Цюрихский университет и политехникум", „что те из них, которые после 1 января будущего 1874 года будут продолжать слушание лекций в этих заведениях, по возвращении в Россию не будут допускаемы ни к каким занятиям, разрешение или дозволение которых зависит от правительства, а также к каким бы то ни было экзаменам или в какое либо русское учебное заведение".

К стр. 45. Торжественные встречи и овации Тургеневу начались с его приезда в Москву в середине февраля 1879 г. В первые же дни по приезде его прибетствовала

на интимном обеде группа профессоров Московского университета, затем, 18 февраля, его чествовали на заседании Общества любителей российской словесности, а 4 марта—на литературно-музыкальном вечере в пользу недостаточных студентов Московского университета. По случаю его отъезда 6 марта был устроен торжественный обед в Эрмитаже. Торжества продолжались и в Петербурге, куда Тургенев приехал 8 марта: 9 марта на чтении Литературного фонда, 13 марта на обеде у Бореля при участии большого числа петербургских литераторов (на обеде отсутствовали, однако, демонстративно сотрудники „Отечественных Записок" и „С.-Петербургских Ведомостей"), 15 марта на исполнении пьесы Тургенева „Месяц в деревне" в Александринском театре, в тот же день на литературном вечере Женских педагогических курсов, 16 марта на вечере в пользу Литературного фонда. Торжества эти сопровождались речами и адресами, возбудившими неудовольствие правительственных сфер. Тургеневу было предложено отказаться от участия на ряде дальнейших намечавшихся празднеств. Вследствие этого не состоялся, между прочим, и предполагавшийся вечер студентов Петербургского университета и Горного института.

Чествования имели целый ряд отголосков. Одним из них было избрание писателя почетным членом Киевского университета — эпизод, забытый биографами Тургенева.

23 марта 1879 г. на заседании Совета Киевского университета профессор Н. Н. Шиллер выступил с предложением следующего содержания: „Несколько дней тому назад представители мысли обеих метрополий нашего отечества с сердечным радушием приветствовали своего гостя И. С. Тургенева. Старшие и младшие поколения, люди различных воззрений и убеждений дружественно соединились в стремлении дать долг почета писателю, в произведениях которого русская жизнь получила такое правдивое и художественное выражение. Чествовался в лице писателя и гражданин, идеи которого воспитали несколько поколений в понятиях истины и правды, в чувствах добра и изящества. Чествовался и художник-писатель образованного мира, столь достойно представляющий духовные силы русской земли среди первоклассных талантов прочей Европы.

Не сомневаюсь, поэтому, что я выражу мысль и симпатии, общие для всех членов Совета, когда позволю себе предложить им принять участие в этом празднике русского таланта избранием его в почетные члены нашего ученого учреждения".

К этому предложению присоединились профессора А. А. Котляревский, И. И. Рахманов, Н. В. Бобрецкий, В. А. Субботин. В. Б. Томса, П. В. Павлов, К. А. Митюков и П. П. Алексеев.

По выслушании предложения Совет университета „единогласно избрал И. С. Тургенева в почетные члены университета" и определил ходатайствовать перед попечителем Киевского учебного округа об утверждении постановления.

Утверждение состоялось 29 марта и было оглашено на заседании Совета 20 апреля. И. С. Тургеневу были высланы „копия с определения Совета и почетный диплом". Писатель ответил на избрание письмом на имя ректора университета из Парижа от 5 мая. Письмо это было тогда же напечатано в „извлечениях из протоколов заседаний Совета" в киевских „Университетских Известиях" (1879 г., кн. 9, ч. I — официальная, стр. 4—5), но до сих пор оставалось неизвестным биографам И. С. Тургенева.

„Я только на-днях получил копию с определения Совета Киевского Университета об избрании меня почетным его членом, а вслед за тем и самый диплом.

Позвольте, многоуважаемый г. ректор, обратиться к вам с просьбою передать Совету выражение моей глубочайшей благодарности. В ряду тех изъявлений одобрения и сочувствия, которыми я был осчастливлен в течение моей последней поездки в Россию, ваше занимает одно из первых мест — и полученный мною диплом будет мною навсегда храниться, как драгоценный памятник духовной связи, существующей между лучшими моими согражданами и мною. Я не ожидал такого венца моей литературной карьере: тем более я им обрадован и тем сильнее моя благодарность. Мои труды не были напрасны: они оценены и признаны людьми, подобными вам, честными служителями просвещения и науки, и я могу воскликнуть вместе с Шиллером:

Wer für die Besten seiner Zeit gelebt,
Der hat gelebt für alle Zeiten!"

(кто жил для лучших людей своего времени — жил для всех времен).

Избрание И. С. Тургенева в почетные члены Киевского университета вносит характерный штрих в картину „тургеневских празднеств". Оно было неприятно окружному начальству — этим объясняется задержка в утверждении постановления и высылке диплома, о чем говорится в письме — но было проведено группой профессоров, связанных с влиятельными буржуазными кругами крупного промышленного и торгового центра.

К стр. 53. Студенты Горного института, предполагая устроить вечер, отправили депутацию к И. С. Тургеневу, прося его прочитать что-нибудь из своих произведений. Тургенев, однако, отказался, прямо заявив, что ему „положительно запрещено являться среди молодежи и принимать ее овации". Воспоминания об этом эпизоде „Бывшего студента Горного института" включены в состав статьи „Тургенев и молодая Россия" в нелегальном журнале „Общее дело" 1883 г., № 56. Письмо Тургенева было напечатано в № 60 „Петербургского Листка" за 1879 г. от 27 марта и до сих пор не перепечатывалось. Приводим его полный текст:

Милостивые государи!

Я получил ваше любезное приглашение присутствовать на музыкально-литературном вечере. К сожалению, состояние моего здоровья не позволяет мне исполнить столь лестное для меня желание ваших товарищей студентов. Я почел бы за особенное удовольствие изъявить им, как я это сделал г.г. московским студентам, всю мою благодарность за столь искреннее выражение их сочувствия к моей литературной деятельности и к тем принципам, которые постоянно руководили ею. Это сочувствие украсило мой нынешний приезд в Россию и оставило во мне неизгладимые следы. Я душевно радуюсь и за самого себя и за все то хорошее, честное, новое, которое в живых чертах представляется мне всякий раз, когда я размышляю обо всем, что я видел и слышал здесь, в среде того юного поколения, правильное развитие которого так важно и в настоящем и в будущем. Это поколение, сколько я могу судить, на хорошей дороге,

на дороге, которая одна может привести к желаемой всеми нами цели: к преуспеянию и упрочению нашего дорогого отечества, русской мысли и русской жизни.

Передайте вашим товарищам мой усердный поклон и примите уверение в моей сердечной преданности.

Ив. Тургенев.

С.-Петербург,
19 марта 1879 г.

Необычное место публикации объясняется тем обстоятельством, что все другие газеты не решились печатать письмо — после запрещения Тургеневу выступать перед молодежью публикация его обращения к студентам могла повлечь за собою цензурные неприятности.

В „Петербургском Листке" письму было предпослано несколько слов редакционного пояснения:

„Нам сообщают, что за три дня до отъезда И. С. Тургенева за границу студенты университета и Горного института задумали устроить литературно-музыкальный вечер с благотворительною целью. По этому случаю они обратились к Ивану Сергеевичу Тургеневу, прося его принять участие в нем, подобно тому, как он составил праздник для студентов Московского университета и высших курсов в Петербурге.

Нездоровье помешало нашему маститому беллетристу исполнить просьбу студентов Петербурга.

Вследствие этого он прислал им следующее письмо".

К стр. 64. О „малом знакомстве" Ивана Сергеевича с современной постановкой социально-экономического вопроса в Европе см. „Русск. Мысль", ноябрь 1883, [М. Н. Черты из парижской жизни И. С. Тургенева.] стр. 323. Но здесь, говоря о „народе", позволю себе попутно заметку, вызванную недавно сообщенным мне сведением. — Иван Сергеевич, один из лучших и наиболее развитых представителей русских экономически господствующих классов, искренно любил русский народ, и его теплые симпатии к последнему слишком ясны для внимательного читателя его произведений, чтобы стоило на этом останавливаться; но он иногда, в разговорах, высказывался о нем так же резко, как нежно любящий человек высказывается иногда с крайним раздражением

о любимой женщине, недостатки которой его тем более раздражают, чем нежнее он ее любит, и всем очень хорошо известно, что подобные взрывы негодования не только не показывают ненависти или презрения, но скорее суть именно свидетельство о неискоренимости привязанности. Мне рассказывали достоверные люди со слов Ивана Сергеевича, что Достоевский передал в „Русскую Старину“ для напечатания в 1890 г. воспоминание о бывшем будто у него разговоре с Тургеневым, где последний отзывался самым оскорбительным образом о русском народе. Иван Сергеевич отрицал, что он имел когда-либо подобный разговор с Достоевским. Читатели 1890 года может быть будут иметь (если все это верно) в самом произведении какие-либо доказательства за или против „воспоминаний“ Достоевского. Повидимому, отзывы Достоевского об Иване Сергеевиче, напечатанные в первой книжке „Вестника Европы“ за нынешний год (которой мне еще видеть не удалось) [1], не позволяют беспристрастной передачи первым фактов, относящихся ко второму. Но если бы и случилось как-нибудь Ивану Сергеевичу говорить подобным образом при Достоевском — а, по некоторым рассказам, это ему случалось при других — и потом забыть об этом, мне кажется, что всякий беспристрастный читатель должен бы, согласно только что сказанному, приравнять это брани влюбленного.

Не лишены значения, если они переданы верно, слова Ивана Сергеевича, упомянутые в „Русск. Мысли“ (ноябрь 1883, стр. 326): „Нам нужно не вносить новые общественные и нравственные идеалы в народную среду, а только предоставить ей свободу возделывать и растить те общественные идеалы и нравственные принципы, зародыши которых кроются в ней самой“. (Примечание Лаврова.)

Редактору журнала „Русский Архив“ П. Бартеневу был доставлен осенью 1867 г. неизвестно кем (всего вероятнее, А. Н. Майковым) отрывок письма Ф. М. Достоевского А. Н. Майкову с описанием встречи с Тургеневым

[1] В рецензии К. Арсеньева на книгу „Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. Спб., 1883“, приведены резкие отзывы Достоевского о Тургеневе и двух его произведениях „Казнь Тропмана“ и „Степной король Лир“.

28 июня 1867 г. — встречи, поведшей к открытому разрыву между обоими писателями. Письмо это в настоящее время опубликовано полностью, все документы, относящиеся к этому эпизоду, собраны в статье И. С. Зильберштейна „Встреча Достоевского с Тургеневым в Бадене в 1867 г." („Ф. М. Достоевский и И. С. Тургенев". Переписка. Изд. Academia. Л. 1928).

В дополнение к рассказу П. Л. Лаврова о „тургеневских торжествах" 1879 г. приводим целиком воспоминания „Бывшего студента Горного Института", включенные в состав статьи „Тургенев и молодая Россия" в № 56 нелегального издания „Общее Дело" за 1883 год:

Во время приезда Ивана Сергеевича, раннею весною 1878 года [1], приезда, сопровождавшегося и в Москве и в Петербурге рядом самых искренних и задушевных оваций, мы, студенты Горного Института, намереваясь устроить музыкально-танцовальный вечер, порешили просить Тургенева принять участие в нем и прочитать что-нибудь из своих произведений. Тотчас же была отправлена к нему депутация с просьбой и приглашением. Но Иван Сергеевич отказался, прямо заявив, что ему положительно запрещено являться среди молодежи и принимать ее овации. При этом он высказал ряд таких мыслей и своих ближайших намерений, которые произвели потрясающее впечатление на этих депутатов. Они пришли к одному из своих товарищей и потребовали, чтобы он написал адрес Тургеневу. Долго пришлось ему допытываться в чем дело, по какому поводу нужно писать и что писать: каждый из нас начинал говорить, но от волнения путался и кончал рядом ничего не объясняющих возгласов, быстрыми движениями и экзальтированными выходками... Но, наконец, выяснились для него факты. Он схватился за перо и, с трудом справляясь с нервною дрожью во всем теле и с судорожным сжатием пальцев, написал адрес, одобренный студентами. Я не могу уже в точности привести его, он, вероятно, будет найден среди бумаг, оставшихся после покойного Ивана Сергеевича. Но вот его только приблизительное, выражающее одну главную мысль адреса, содержание:

[1] Явная ошибка — следует: весною 1879 года.

Иван Сергеевич!

Мы, студенты Горного Института, узнали, что Вы намереваетесь возвратиться в Россию и принять в делах ее личное, непосредственное участие. Не можем не отнестись к такому решению с глубочайшим сочувствием и живейшею радостью. В настоящее время движение, которое существует среди интеллигенции России, не представляет собою ничего целого, общего — нет определенно выраженных, определенно достигаемых целей, — и много пропадает даром труда, и много молодых и свежих сил гибнет напрасно. И мы говорим Вам, Иван Сергеевич, что только Вы одни, в настоящее время, сумеете объединить все направления и партии, сумеете оформить это движение, придать ему силу и прочность: подымайте смело и высоко ваше светлое знамя: на ваш могучий и чистый голос откликнется вся Россия: Вас поймут и отцы и дети.

Студенты Горного Института.

Иван Сергеевич выслушал этот адрес стоя, с опущенной, по обыкновению в таких случаях, головою, вздохнул при окончании, взял адрес, пожал нам руки, сел и нас пригласил последовать его примеру.

„Конечно, этот адрес“, — начал он, вертя его в руках, и, видимо, думая о чем-то, — „я сохраню до конца моих дней, как лучшее воспоминание в моей жизни“, — проговорил он просто и замолчал. — „Да, я думал“, — продолжал он через несколько мгновений, — „что в России я, лично, прямо, не нужен, что я могу спокойно оставаться в Париже... Но после всего того, что мне пришлось здесь видеть и слышать, я прихожу к заключению, что я должен переселиться в Россию“...

„Я знаю, что это дело, за которое приходится мне взяться“, — снова начал он, смотря в окно и говоря таким образом, будто он рассуждал вслух, сам с собою, — „что это дело — очень нелегкое дело, — лучше было бы взяться за него молодому, энергичному человеку, а не мне... старику... Но что же делать? Я положительно не вижу и не знаю человека, который обладал бы более серьезным образованием, лучшим положением в русском обществе и большим политическим тактом, чем я... Вот и приходится мне... Трудно это, конечно, для меня:

приходится от многого отказаться . . . оторваться от семьи, с которой я давно живу . . . она за мной не поедет . . .“ — тихо говорил он, потирая пальцами свой слегка красноватый лоб. — „Ну, что же делать! — живо и громче обыкновенного произнес он и взглянул на нас: — „ведь пришлось же не малым пожертвовать, когда начал писать охотничьи рассказы, — значит, и теперь можно . . .“.

И он тряхнул головой и улыбнулся.

В это время доложили о приезде одного из известных русских литераторов [1].

Иван Сергеевич чуть заметно поморщился, задумался на мгновение и затем решительно обратился к нам.

„Вот что, господа! Не говорите лучше при нем,“ — как бы извиняясь перед нами и гадливо морщась при последнем слове, проговорил он: — „это ведь большой болтун, он бывает там . . .“.

Мы поняли и встали.

„Да, так лучше!“ — дружески пожимая нам руки и снова благодаря, провожал он нас.

Дверь отворилась, и выступила высокая фигура литератора, с пробритым подбородком, в черном фраке и черных перчатках. Иван Сергеевич протянул ему руку и, не оставляя его руки, ввел его в комнату, а сам вышел в корридор за нами.

„Так я не говорю вам, господа, прощайте, а до свидания“, — сказал он.

Бывший студент Горного Института.

[1] „Известный русский литератор“ — конечно, Д. В. Григорович.

ПИСЬМА И. С. ТУРГЕНЕВА К П. Л. ЛАВРОВУ

I

Париж. Rue de Douai. 1 июня 1873 г.

Любезнейший Петр Лаврович, спешу известить Вас, что в середу я выезжаю отсюда в Баден, — а в субботу — или в воскресенье — объявлюсь в Цюрихе, где конечно буду иметь удовольствие видеться с Вами. Вырубов, с которым я вчера обедал — (он тоже, кажется, собирается к Вам) — сообщил мне, правда, что, по Вашим словам, страсти сильно разгорелись в Цюрихе, так что даже Ваш секретарь потерпел физические неприятности[1]; зная расположение ко мне моих молодых соотчичей, я должен бы был поставить себе вопрос: могу ли подвергаться подобному риску? Но была не была — и я еду в Цюрих, полагаясь на российское авось.

И так, до скорого свидания. Черкните мне словечко в Баден-Баден, по следующему адресу:

H-r. I. T. Baden-Baden per adresse Frau Mina Anastett, Schillerstrasse, 7. И примите уверение в совершенном моем уважении и преданности Ив. Тургенев.

[1] Эмигрант Н. В. Соколов, бывший полковник генерального штаба, осужденный в 1867 году за издание романа „Отщепенцы", был подослан „бакунистами", враждовавшими с „лавристами", к секретарю журнала „Вперед!" В. Н. Смирнову под предлогом получения хранившихся у него экземпляров переизданных русской колонией „Отщепенцев" и избил его.

II

Баден-Баден. Понедельник, 9 июня 1873 г.

Любезнейший Петр Лаврович, я третьего дня приехал сюда и нашел Ваше письмо. Очень благодарен Вам за память, но в Цюрих я не поеду. Из собственных выражений Вашего письма я должен заключить, что мне ничего бы не удалось увидеть — особенно в течение тех двух, трех дней, которые я бы там провел [1]. В „Правительственном Вестнике“ появилась большая и беспощадная статья от имени Правительства на счет наших цюрихских студенток; их обвиняют во всевозможных ужасах, упоминают (не называя впрочем Вас) о Ваших лекциях — и кончают объяснением, — что все те из наших соотечественниц, которые останутся в Цюрихе после 1 января 1874 года — будут лишены всяких прав и не допущены ни на какие коронные места и ни в какие заведения [2]. Вследствие этих драконовских мер наша русская колония в Цюрихе вероятно

[1] П. Лавров отговаривал Тургенева от посещения Цюриха, опасаясь недружелюбного приема со стороны русских студентов. В. Фигнер вспоминает: „Петр Лаврович неожиданно сообщил, что И. С. Тургенев намерен поехать в Цюрих, чтобы познакомиться с заграничными студентками, с целью запастись материалом для замышляемого романа. Лавров сказал, что думает представить знаменитому писателю нас, присутствующих. Тут все мы, сколько нас было, закричали и замахали руками, объявляя, что не желаем подобных „смотрин“ и ни за что не пойдем к Тургеневу. Отпор был такой энергичный и единодушный, что, по тому или другому, проект рухнул. Тургенев из Парижа так и не приехал, и мы в роман не попали“ (В. Фигнер. Студенческие годы. М. 1924, стр. 47). В подстрочном примечании к этому отрывку отмечается „верность типов, выведенных в „Нови“: „Машурина — вылитый портрет Веры Любатович, которую мы прозвали „Волченком“ за ее резкость, а Марианна очень напоминает мою сестру Лидию“.

[2] См. примечание на стр. 81.

резлетится прахом, а с нею и библиотека, куда мне теперь уже не за чем посылать экземпляры моих сочинений. Вот и выходит, что L'homme propose... a M. H. Лонгинов dispose [1].

Я еду в Карлсбад, а через 6 недель назад во Францию через Баден. Может быть тогда я сделаю маленький abstecher [2] в Швейцарию, но не наверное.

Не знаю, когда придется увидеться, но прошу Вас (и это не фраза) верить в искреннее уважение и участие, с которым остаюсь

преданный Вам

Ив. Тургенев.

III

Карлсбад. Österreichischer Hof. Суббота, 28 июня 1873 г.

Любезнейший Петр Лаврович, я только сегодня и здесь получил присланный на мое имя лист, озаглавленный „Русским Цюрихским Студенткам". Хоть Вы не подписали своего имени, но нет сомнения, что этот благородный и исполненный достоинства протест вышел из-под Вашего пера [3]. Не знаю, на сколько он принесет пользы — но знаю, что общественная нравственность требовала подобного отпора возму-

[1] Человек предполагает... а М. Н. Лонгинов располагает. М. Н. Лонгинов (1823—1875)—библиограф, с 1870 г. начальник Главного Управления по делам печати. Имел репутацию ярого реакционера.

[2] Короткое путешествие.

[3] Воззвание „К русским цюрихским студенткам" принадлежит действительно перу Лаврова—это было первое его произведение, вышедшее из цюрихской наборной.

тительному манифесту, в котором я не мог не узнать стиль и манеру нашего экс-друга, Михаила Лонгинова, этого первоклассного м......а. Спасибо Вам, что Вы написали этот ответ, спасибо также и за то, что вспомнили обо мне.

Что Вы теперь намерены делать? Остаетесь ли Вы в Цюрихе или переносите пенаты в другое место? И вообще, что намерена предпринять Русская Цюрихская Колония после постигшего ее погрома?

Напишите слова два. Я остаюсь здесь еще до 20-го июля. Пью воды против подагры. В конце июля я снова возвращаюсь в Париж, а в ноябре думаю ехать в Россию.

Дружески жму Вашу руку и остаюсь
преданный Вам

Ив. Тургенев.

P. S. Имеете Вы какие либо сведения о Вырубове?

IV

Карлсбад. Воскресенье, 13 июля 1873 г.

Уважаемый и любезный Петр Лаврович, прошу извинить в том, что не тотчас ответил на Ваше письмо, сопроводившее присылку программы будущего журнала. Жизнь на водах тем и глупа, что ничего не делаешь целый день — а всегда некогда. Начну с того, что весьма желаю быть подписчиком, — серьезным, платящим подписчиком Вашего журнала и прошу Вас высылать его по моему постоянному адресу — Rue de Douai 48, Paris —

а также уведомить, как, где и сколько мне следует заплатить. Программу Вашу я прочел два раза со всем подобающим вниманием: со всеми главными положениями я согласен — я имею только одно возражение и одну appréhension[1]. Мне кажется, что Вы напрасно так жестоко нападаете на конституционалистов, либералови даже называете их врагами, мне кажется, что переход от государственной формы, служащей им идеалом, к Вашей форме — ближе и легче, чем переход от существующего абсолютизма — тем более, что Вы сами плохо верите в насильственные перевороты и отрицаете их пользу. А подобное заявление с Вашей стороны на счет либералов и парламентарных людей — многих из них отгонит прочь, испугает. Моя же „appréhension" состоит в следующем: как бы Вы не придали Вашему журналу слишком ученого, философского характера, что тоже может повредить его распространению и уменьшить его влияние. Впрочем все это выскажется и определится ipso facto[2]. А я жду с нетерпением появления 1-го № Вашего „Вперед".

Что касается до бывших наших цюрихских студенток — то во-первых наши университетские связи слишком слабы, чтобы послужить им в пользу; — а во-вторых им не надо скрывать от самих себя, что они ни в одном германском, несколько значительном университете не найдут приюта — стоит прочитать небольшую статью, появившуюся во вчерашнем

[1] Опасение.
[2] На самом деле.

№ „Кельнской Газеты“: в ней выразилось не только воззрение правительства — но и общества — на допущение студенток на курсы. Надежды тут нет пока — никакой.

Через 10 дней я отсюда уезжаю и хотя буду жить на первое время в окрестностях Парижа, но адрес мой — Rue de Douai, 48.

Желаю Вам всего хорошего и дружески жму Вашу руку преданный Вам

Ив. Тургенев.

V

48, rue de Douai

Суббота, 21-го февраля, 74.

Любезнейший Петр Лаврович, я вчера с горяча обещал немножко более чем позволяют мои средства: 1000 франков я дать не могу — но с удовольствием буду давать ежегодно 500 фр. до тех пор, пока продержится Ваше предприятие, которому желаю всяческого успеха. — 500 фр. за 1874-й год при сем прилагаю.

Буду ждать 2-го тома. — Желаю Вам счастливого пути в Англию — а главное — да поможет Вам судьба свить себе там прочное гнездышко. Поклонитесь от меня ...[1], да Лопатина не забудьте прислать.

Дружески жму Вашу руку и остаюсь
преданный Вам

Ив. Тургенев.

P. S. Я выезжаю отсюда 15-го апреля.

[1] Слово не прочитано.

VI

Париж
50, Rue de Douai
Суббота, 5 декабря, 74.

Любезнейший Петр Лаврович, виноват, что не тот час отвечал Вам и не поблагодарил за присылку брошюр, которые я прочел со вниманием и удовольствием. — В Вашей полемике против Ткачева Вы совершенно правы[1]; но молодые головы вообще будут всегда с трудом понимать, чтоб можно было медленно и терпеливо приготовлять нечто сильное и внезапное... Им кажется, что медленно приготовляют только медленное — в роде постепенных реформ и т. д. — Но самое впечатление выносят молодые люди из чтения Вашего журнала, который в большом количестве проник в Россию и получил там авторитет и значение. Жду с нетерпением третьего тома. Надеюсь, что он в дельности не уступит второму.

Меня в России в начале июня схватила подагра — и только теперь начинает ослабевать. — Это многому и много помешало. — Впечатления, вынесенные мною с родины, не могут быть вкратце высказаны: в общей сложности они не дурны — хотя во всех оффициальных сферах и в литературе утешительного мало. — Особенно литература находится в со-

[1] П. Н. Ткачев (1844—1885) — критик и публицист, сотрудник радикального „Дела". В 1873 г. уехал за границу и издавал с 1875 по 1881 г. журнал „Набат". Ткачев выступил за границей с собственной, более решительной программой, враждебной обоим течениям современного ему русского революционного народничества — и лавризму и бакунизму. В 1874 г. он издал брошюру „Задачи революционной пропаганды в России", на которую П. Лавров ответил брошюрой же „К русской социально-революционной молодежи".

вершенном упадке — всякие живые воды в ней иссякли — это чувствуется всеми.

Я видел здесь нашего несокрушимого юношу Л[опати]на; он умница и молодец по прежнему — и сообщил мне много интересных фактов — светлая голова!

Я остаюсь в Париже до весны; может быть приеду в Лондон на несколько дней в начале будущего года, но это не наверно.

Желаю Вам всего хорошего и дружески жму

Вам руку

Ив. Тургенев.

VII

Париж.

50, rue de Douai

Понедельник, 29 марта 1875.

Любезнейший Петр Лаврович, Вы уже вероятно знаете от Лопатина, что я исполнил свое обещание на нынешний год и вручил ему известную сумму.

В Лондон я попаду, — если подагра не помешает, как в прошлом году в конце Августа, проездом на partridge shooting [1] и надеюсь увидать Вас там и побеседовать об omnibus rebus [2]. — На бумаге это неудобно исполнить: ограничусь тем, что нахожу Вашу деятельность полезной, не смотря на неизбежные „drawbacks“ [3] — чему Вы имеете доказательство.

С великим удовольствием подношу Вам новое издание моих сочинений. Здесь у меня —

[1] Охоту на куропаток.
[2] О всех делах.
[3] Недочеты.

пока — нет ни одного экземпляра — но я уже выписал целых три из Москвы — и как только получу их — один из них будет немедленно препровожден к Вам.

Что касается до последней Вашей просьбы — то не обинуясь, скажу, что исполнение ее весьма затруднительно: подобных просьб (о доставлении переводной и другой в таком же роде работы) — я получаю многое множество, неоднократно принимался хлопотать и до сих пор постоянно претерпевал фиаско. — Дело в том, что переводы с русского здесь почти никому не нужны — охотников множество, а вознаграждение самое ничтожное. Переводы на русский язык тоже недоступны: на эту работу в самом Петербурге тоже слишком много предлагается конкурирующих рук. Но все-таки попытаться можно — и я попытаюсь: но успех весьма сомнителен.

В конце мая еду в Карлсбад на 6 недель — а потом опять вернусь сюда.

Желаю Вам всего хорошего, начиная с здоровья, и крепко жму Вашу руку.

Преданный Вам

Ив. Тургенев.

VIII

Буживаль
Bougival (près Paris)
Les Frênes

Четверг, 9 апреля, 75.

Я виноват пред Вами, любезный Петр Лаврович — не торопился ответом на Ваше

письмо, сопровождавшее посылку двух книг — я откладывал ответ, потому что мне хотелось в то же время сказать Вам мое мнение — если не о Вашем сочинении, которое требует внимательного изучения — то по крайней мере о „сказке“ Вашего молодого приятеля. Но и эту сказку мне удалось прочесть только на днях[1]. — И вот что я имею сказать Вам.— Автор человек с талантом, владеет языком — и весь его труд согрет жаром молодости и убеждения. Но тон не выдержан. — Автор не дал себе ясного отчета — для кого он пишет — для какого именно слоя читающей публики? — Последствием этого сбивчивость и неровность изложения. — То для народа писано, то для более — если не образованного, — так более литературного слоя. — Не избежал также автор того — что я готов бы назвать певучей, риторической или московской манерой — напр.: самое начало;—мне кажется, чем меньше таких уснащиваний — тем лучше. — Но повторяю — у Вашего знакомого есть и талант, и огонь — пусть он продолжает трудиться на этом поприще!

Вы спрашиваете меня о здоровьи и работе.— Здоровье — недурно; работа — отсутствует. — Кажется я окончательно подал в отставку. — Я остаюсь здесь до половины ноября — а там в Париж.

Дружески жму Вашу руку.

Преданный Вам

Ив. Тургенев.

[1] Речь идет о сказке „Мудрица Наумовна“ С. М. Кравчинского.

IX

Париж.
50, Rue de Douai
Воскресенье, 7 января, 77.

Любезнейший Петр Лаврович!

На этот раз виноват не я — а Стасюлевич, который до сих пор мне не выслал чистых экземпляров первой части моего романа [1]; — о второй, — которая должна явиться в феврале — и говорить нечего. — Полагаю, однако, что они должны прибыть сегодня или завтра; — как только я получу — то, как говаривал М. А. Языков, — стремплешь пошлю один к Лопатину, с тем, чтобы он также скоропостижно доставил его Вам. — В этом прошу Вас не сомневаться.

Поздравляю Вас с новым Российским годом — и желаю Вам всего хорошего, хоть предвижу оного мало.

Искренне преданный Вам
Ив. Тургенев.

X

50, Rue de Douai
Paris
Суббота, 12 апреля, 79.

Любезнейший Петр Лаврович!

Несчастье, обрушившееся на Лопатина — было неизбежно: он сам как бы напросился на него. — В самый день моего приезда — я

[1] Речь идет о романе „Новь", появившемся в первых двух книжках журнала М. М. Стасюлевича „Вестник Европы" за 1877 г.

умолял его уехать на юг — ибо об его присутствии в П[етербурге] полиция знала. — Что теперь сделать — сказать трудно: через Абазу и т. д. действовать немыслимо... У меня в голове вертится нечто другое — конечно, неверное... но попытаться следует. — Л[опатин] оскорбил лично А. Н.; — это не прощается... Очень мне его жаль [1].

До свидания; жму Вашу руку

Ив. Тургенев.

XI

Суббота утром [2/14 июня 1879].

Любезнейший Лавров, я еду завтра в Англию в Оксфорд — меня тамошний университет, сверх всякого чаяния, произвел в доктора! [2]. Вернувшись через неделю — увижу Вас и все Вам расскажу. О Лопатине не слыхал ничего — писем из России получаю мало — и все деловые безо всяких подробностей. В улучшение его участи, к сожалению, не могу верить. Дружески жму Вашу руку и остаюсь преданный Вам

Ив. Тургенев.

[1] Г. А. Лопатин, живший с 1873 по 1879 год постоянно за границей, почти ежегодно наезжал нелегальным образом в Россию. Поездка весной 1879 г. оказалась роковой — он был выслежен, арестован и сослан в Ташкент.

А. Н. — царь Александр Николаевич II. Весной 1874 г., во время пребывания Александра II в Лондоне по случаю свадьбы его дочери с принцем Эдинбургским, Лопатин поместил в газете „Daily News" письмо с разъяснением смысла амнистии, объявленной 9 января, и препроводил эту статью при едком письме to his Majesty the imperor of the Russia — русскому императору.

[2] Чествование Тургенева в России весной 1879 г. имело своим отголоском провозглашение его Оксфордским университетом honoris causa доктором обычного права — „doctor of common law".

XII

Seine et Oise. Понедельник, 7 июля 1879 г.

Любезнейший Петр Лаврович, вчера я послал Вам желаемую Вами ауторизацию на счет телеграммы, а нынче возвращаю Вам письмо Кулешовой [1].—Надеюсь, что это ей поможет выбраться из тюрьмы... но сомневаюсь.

Я вернулся из Оксфорда, где надо мной проделали весь церемониал пожалования в докторский чин—и сижу теперь здесь, переправляю мое старое издание и проклинаю и эту несносную работу и еще более несносную погоду.

Жму Вашу руку и желаю всего хорошего.

Преданный Вам

Ив. Тургенев.

XIII

Seine et Oise. Пятница, 10 окт. 1879 г.

Любезный Петр Лаврович, известие, сообщенное Вами, меня сильно взволновало — хотя я почти убежден в его неверности... Со вчерашнего дня я все размышляю о том, что бы сделать — и только могу убедиться в собственном бессилии.—На всякий случай поеду к Орлову — и постараюсь воздействовать через него на В. К. Константина — но и тут надо поступать с величайшей осторожностью, как бы не испортить дело, дав понять В-у К-ю, что мне известны некоторые сношения его с революционерами. — В Петербург я не попаду

[1] См. примечание на стр. 56.

раньше 6 недель... Если до правительства дошло, что Лопатин писал известное Вам письмо... то беда грозит ему неминучая, так как тут слышна личная месть. Сделаю все, что могу... но могу то я очень, слишком мало.

Слова, приводимые Вами из Шекспира, произносятся во 2-м акте, во 2-й сцене, в разговоре между им Гильденштерном и Розенкранцем. Вот уже 6 дней как я сижу дома по милости слабого, впрочем, припадка подагры в колене. — Надеюсь, однако, выехать завтра.

Жму Вам дружески руку

Ив. Тургенев.

XIV

Les Frênes, четверг, 27 ноября 1879 г.

Любезнейший Лавров, я еще здесь, но в скорости переезжаю в Париж — и тогда непременно дам Вам знать. Теперь же пишу Вам по несколько неприятному делу. — Тот Русский [1], которого я даже фамилии не знаю и которого по Вашей рекомендации я поместил в типографию Шамеро (Rue de Saints Pères 19), вздумал пойти в собрание избирателей Гёмбера (Humbert) и там своими криками и пр. обратил на себя внимание полиции, которая тотчас признала в нем Русского — проследила его до типографии — и собрала о нем справки, при чем узнала, что рекомендовал его я. (Меня то поли-

[1] По указанию комментатора писем, опубликованных в № 8 журнала „Минувшие Годы“ за 1908 г., речь идет здесь „об одном совершенно незначительном русском полуэмигранте, проживавшем в Париже под именем Бронского и отличавшемся невропатическими выходками“

ция знает „comme le loup blanc“ — и наблюдает за мной постоянно — так как я, в ее глазах, самая матка нигилистов). Не будучи французом, тот Русский никакого права не имел присутствовать на собрании избирателей и, вследствие этого, при малейшем рецидиве подвергнется неминуемой высылке, тем более, что и в типографии им недовольны, так как он стал часто манкировать. Не можете ли вы повидаться с ним и указать ему на необдуманность его поступков? Он и себе повредит да и другим его собратьям по изгнанью, которые терпимы здесь только потому, что не мешаются в здешнюю политику. Сделайте это секретно, так как и мне сообщено по секрету.

До скорого свидания; жму Вам дружески руку

Ив. Тургенев.

XV

Seine et Oise. Понедельник, 20 сент. 1880 г.

Любезный Петр Лаврович, в ответ на Ваш запрос мне приходится выразить удивление, что Вам такой громогласный факт остался неизвестным. — Сент-Бев сделал великого В. Гюго рогоносцем — что было тем обиднее поэту, что С.-Бев был его другом и отличался безобразием. — Маленькая дочь была однако не продуктом г-жи Гюго и присочинена С.-Бевом для красоты слога: он был замечательнейший болтун и детей никогда не имел.

Я был бы очень рад повидаться с Вами — но придется дождаться моего возвращения из

Англии, куда я отправлюсь в конце недели — и где я пробуду дней 5.

Жму Вам дружески руку и остаюсь

преданный Вам

Ив. Тургенев.

XVI

Вторник вечером [март-апрель 1881 г.].

Любезнейший Петр Лаврович, г-жа [неразборчиво] была у меня и попросила моего совета, который состоял в том, чтобы как можно скорее покинуть Париж. — Совет этот несомненно хорош, но исполнить его трудненько, за неимением средств. — Помог ей, бедняжке, — а дальше что будет — господь ведает!

Мне самому очень бы хотелось повидаться и побеседовать с Вами перед отъездом — но так как это дело в теперешнее время не без неудобств, то придется назначить свидание sur un terrain neutre [1], словно Вы Джульета, а я Ромео. Подобной нейтральной почвой лучше всего избрать какой-либо скромный кабачек. Хотите Вы придти в пятницу — ровно в 1/2 12-го в restaurant Latuile на Avenue Clichy, где мы уже не раз с Вами завтракали? Там верно никого не бывает.

Статья об Александре III-м, действительно, принадлежит мне, — не ожидал, что она наде-

[1] На нейтральной почве.

лает столько шуму. — И об этом не худо бы перекинуться двумя, тремя словами.

До свидания, надеюсь. Жму Вашу руку и желаю всего хорошего

Ив. Тургенев.

XVII

[Начало 1882 г.]

Любезный Петр Лаврович, это письмецо вам передаст Александра Александровна, приехавшая из России для пребывания в Париже. Она написала повесть в „Отечественных Записках“ „Перед рассветом“, вещь весьма замечательную и обещающую многое в будущем [1]. Примите ее с обычным вашим радушием.

Преданный Вам

Ив. Тургенев.

XVIII

Париж 50, R. de Douai. Среда, 27 дек. 1882 г.

Любезный Петр Лаврович, наш известный путешественник Миклуха-Маклай [2], который проездом здесь, обратился ко мне с просьбой доставить ему брошюру или брошюры, „написанные бывшими сосланными в Новую Каледо-

[1] Тургенев рекомендовал Лаврову писательницу А. А. Виницкую. Записка приведена в ее статье „Из приключений в Париже“ („Исторический Вестник“ 1912, янв.). По рассказу Виницкой, Лавров, отдавая ей записку Тургенева, оторвал от нее узкую полоску с припиской, не подлежавшей огласке.

[2] Н. Н. Миклуха-Маклай (1847—1887) — исследователь Новой Гвинеи.

нию коммунарами, о жизни их там и претерпевших ими там страданиях". — А я обращаюсь к Вам, как к вернейшему источнику и прошу Вас достать эти брошюры (разумеется с платой, которую М. М. внесет охотно) — и прислать их мне, если возможно не позже пятницы — так как М. М. уезжает отсюда в субботу утром и будет у меня в пятницу в 2 часа. — (N. B. одна из этих брошюр написана Olivier Pain'ом).

Прошу извинить за доставление Вам этих хлопот и крепко жму Вашу руку

Преданный Вам

Ив. Тургенев.

XIX

50, Rue de Douai
Paris.

Любезный П. Л.

Радуюсь благополучному возвращению Л[опатина] и надеюсь скоро с ним свидеться [1], но мне еще так плохо, что ранее 5 или 6 дней это невозможно. Тогда я дам Вам немедленно знать.

Жму Вашу руку

Иван Тургенев [2].

24/III — 83.

[1] В феврале 1883 г. Г. А. Лопатин, как он пишет в автобиографическом письме, „собственной властью перевелся в Париж" — бежал из вологодской ссылки.

[2] Только подпись этого письма собственноручна, весь текст написан под диктовку дочерью Тургенева — Полиной Брюэр.

ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ С Г. А. ЛОПАТИНЫМ ОТ 3 НОЯБРЯ 1913 Г.

Известный революционер народоволец Герман Александрович Лопатин (1845 — 1918) часто встречался с Тургеневым в Париже во второй половине семидесятых годов и вел с ним неоднократно продолжительные политические разговоры. П. Л. Лавров в биографии Г. А. Лопатина, рассказав о его бегстве из Сибири в 1873 году, писал: Лопатин „жил постоянно в Париже, где сблизился с Иваном Сергеевичем Тургеневым, который очень полюбил его: в последней записке, полученной мною от Ивана Сергеевича и писанной карандашом за несколько дней до его смерти, Иван Сергеевич выражал желание видеть Лопатина, только что вернувшегося в Париж после бегства из Вологды. Он содействовал основанию Парижской библиотеки, был посредником между Тургеневым и ею, а также между ним и мною в период моего пребывания в Лондоне через его руки большею частью проходили вклады, вносимые Иваном Сергеевичем на продолжение „Вперед!"

Г. А. Лопатин мог бы, без сомнения, рассказать многое интересное о Тургеневе и об его отношениях к эмигрантам. В уже цитированной биографии Лавров писал о нем: „Его жизнь была полна событий и приключений, которые вызывали интерес в людях, его вовсе не знавших. Среди знавших его в Петербурге, в Ставрополе, в Иркутске, в Вологде, в Ташкенте, в Париже, в Лондоне, в Швейцарии он имел всюду друзей и приятелей. Он вел обширную переписку. Его рассказы, полные блеска и юмора, чаровали слушателей. Поэтому и материал для его биографии мог бы быть очень богат и разнообразен. Но именно разнообразие мест и личностей, среди которых имели место разные эпизоды его жизни, здесь представляет затруднение... Лишь сам Лопатин был бы способен сгруппировать и распределить все эти эпизоды в надлежащей перспективе и гармонии. Его уговаривали не раз сделать это. Уговаривал его и Иван Сергеевич Тургенев,

угадывавший в нем блестящий литературный талант. Уговаривали его и друзья. Ему было все некогда".

Отсутствие мемуаров, написанных самим Лопатиным, восполняется в отношении Тургенева записью беседы с ним С. П. Петрашкевич-Струмилиной Беседа происходила 3 ноября 1913 года, и запись ее, просмотренная и снабженная собственноручными поправками Г. А. Лопатина, предназначалась для несостоявшегося второго выпуска „Тургеневского сборника", издававшегося Тургеневским кружком слушательниц Петроградских Высших женских курсов под редакцией Н. К. Пиксанова. Запись воспроизводится в настоящем сборнике в том же виде, как она была впервые опубликована в № 8 „Красной Нови" 1927 г. — без литературной обработки, в диалогической форме, как она была положена на бумагу немедленно после беседы.

Я передала Герману Александровичу нашу просьбу: не может ли он написать свои воспоминания для нашего тургеневского сборника.

— Нет. Ни в каком случае. Я не испытываю ни малейшего „литературного зуда" — одно из любимых выражений Ивана Сергеевича. — Мне уже не раз делали подобные предложения, но, повторяю, у меня нет „литературного зуда"... Впрочем... если вы уже пришли, я расскажу вам, что помню.

Начну словами самого Тургенева. Они свежи в моей памяти, так как еще недавно мне пришлось привести их по поводу одного современного романа — „То, чего не было" Ропшина [1]. Слова эти были сказаны Тургеневым в одну из наших бесед с ним по поводу произведений Достоевского. Объясняя свое отрицательное отношение к роману „Бесы", Тургенев говорил:

[1] Роман В. Н. Савинкова „То, чего не было", первоначально печатался в журнале „Заветы" за 1912 г., кн. 1—8 и 1913 г., кн. 1, 2 и 4.

— Выводить в романе всем известных лиц, окутывая и, может быть, искажая их вымыслами своей собственной фантазии, это значит выдавать свое субъективное творчество за историю, лишая в то же время выведенных лиц возможности защищаться от нападок. Благодаря, главным образом, последнему обстоятельству я и считаю такие попытки недопустимыми для художника.

— В самом деле, — пояснил Герман Александрович, — публика может думать, что автор, выводя на сцену целое общественное направление и его представителей, добросовестно изучил все материалы, всесторонне ознакомился с этим течением и затем уже вынес перед лицом публики окончательный результат своих занятий. А ведь в действительности это сплошь и рядом только простое, далекое от исторической правды измышление автора.

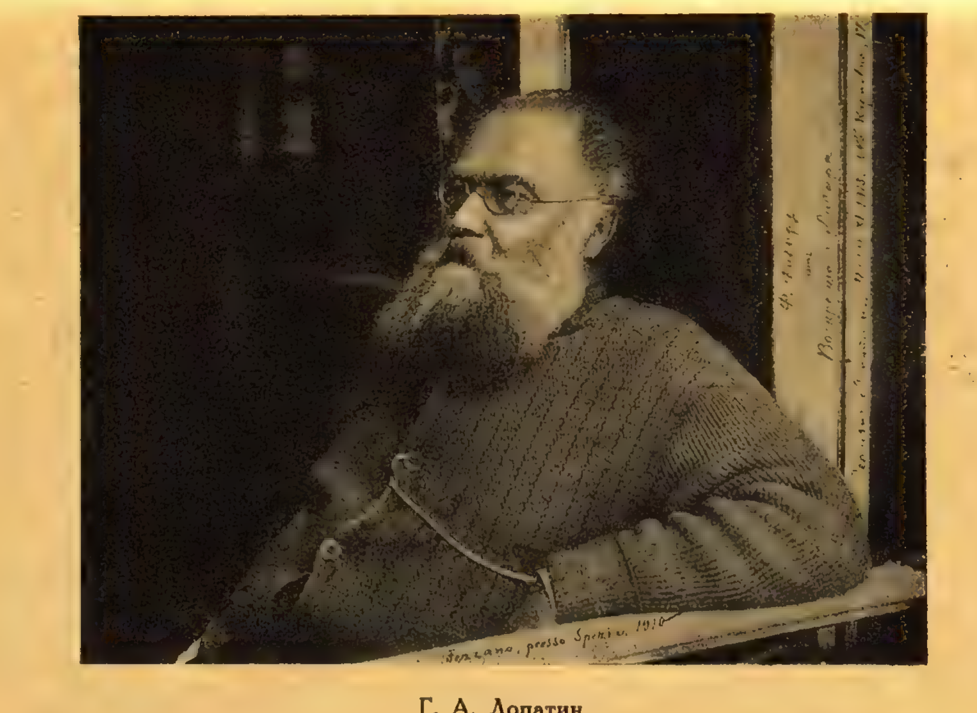
Возьмите „Бесов". Внешняя сторона совершенно совпадает с известными событиями. Это убийство Иванова в Петровско-Разумовском, пруд, грот и т. д. [1]. Ну, а внутренняя, психологическая, — совпадает ли с действительной психологией действующих лиц? Я знал лично Нечаева, знал многих из его кружка и могу сказать: никакого, ни малейшего сходства. Так же и герои Ропшина, ведь пальцами на них указывают: это Каляев, это покушение на Дубасова, или еще там кого. Всех по фамилиям называют. А правда? Где она? Все лица

[1] В романе „Бесы" Достоевский широко использовал материалы, доставленные „делом о заговоре, составленном с целью ниспровержения существующего порядка управления в России" — так назывался процесс Нечаева.

наделены той психологией, какую вздумалось дать им автору. Настоящим Каляевым там, быть может, и не пахнет. А публика понимает все просто. Написано — значит правда.

И что за лукавое название — „То, чего не было". Кого хотел автор обмануть? Цензуру? Но, право, она не так глупа. Публику? Наивность какая! Ведь этот роман именно так и понимают, как то, что было, как подлинный человеческий документ. Какое это пустое выражение „человеческий документ". Все ведь „человеческий документ", все, к чему прикасалась рука человека.

И еще вспоминается мне одно, столь же нелепое, как „человеческий документ", выражение, введенное в литературу Зола, это — „экспериментальный роман". Художник теоретически ставит известное лицо в разные затруднительные в моральном смысле положения и фантазирует, что из этого выйдет. Занимается экспериментом над человеческой душой. Я понимаю эксперимент в науке. Там он проверяется и контролируется самой природой, ограничен строго определенными данными. А здесь? Никакого контроля, никакого ограничения. Мели, что хочешь. Мне возражали, что Ропшин задался в своем романе разрешением определенной моральной проблемы. Боже мой, да разве это задача художника? Разве может художник так просто, здорово живешь, посидеть, посидеть, да и сказать себе: а сем-ка я изображу того-то так-то? или а сем-ка я поставлю того-то в такое-то положение и посмотрю, что будет? — Нет. Образ должен владеть художни-



Г. А. Лопатин.

ком, а не какие-либо другие соображения. Когда же от образов художник удаляется в область теоретических рассуждений, такие страницы обыкновенно бывают самыми слабыми местами романа. Возьмите вы рассуждения в „Войне и мире“ Толстого. Разве ими хорош роман? Да нет. Хорош он бытовой и психологической разработкой образов.

Прав Овсянико-Куликовский, деля художников на субъективистов и объективистов. Одни носятся с собою, себя поедают своим анализом, себя и выводят, а другие подмечают и вырисовывают чужую личность. Возьмем Тургенева и Толстого. Тургенев рисует нам не себя, не свою, а чужую личность. Толстой же, наряду с другими, в высшей степени художественными лицами, выводит всегда и себя. Причем может двоиться, троиться и т. д. Посмотрите: Левин и Вронский в „Анне Карениной“. Ведь это сам Толстой с его переживаниями, моральными требованиями и т. д. Да, да.... И Вронский — он. Ведь в Толстом было много барских черточек. Ведь этот аристократизм Вронского присущ был и самому ему — несомненно. Да и аскетизм Вронского в последней главе — ведь это толстовский дух.

И не правда ли, всегда, когда Толстой начинает теоретизировать, это наименее интересные, даже скучные страницы. Но раз только он рисует внутренние переживания живой личности — сколько правды, сколько прелести в его образах! Анна Каренина! Я не могу ее увидеть без того, чтобы не усесться сейчас же и не

начать читать и наслаждаться отдельными любимыми местами и сценами.

И Герман Александрович оглядел свою почти пустую комнату, свой стол. — Хорошо, что ее у меня нет, — весело смеясь, сказал он.

И как это можно решать моральные проблемы, не принимая на себя ответственности за их решение? Этого нельзя. Если Толстой пишет „Крейцерову сонату", то устами Позднышева он высказывает свой собственный взгляд на брак. Он готов отвечать и защищать этот свой взгляд. А теперь не так. Нам говорят, что Ропшин не ответственнен за Жоржа, героя „Коня бледного". Что это, мол, так, просто теоретическое разрешение отвлеченного морального положения. Нет-с, извините, если я вижу, что этого авантюриста чистейшей воды, Жоржа, убившего мужа любимой женщины и готового совершить и еще целый ряд преступлений, автор любит, сочувствует ему — это уже выходит не простое теоретическое разрешение проблемы. И писать все это тогда, когда у автора, казалось бы, должны были быть другие взгляды, когда он работал в партии... Примечательно и то, что „Заветы" напечатали этот роман на своих страницах. Скоро у нас будут помещать в партийных журналах все, что только литературно написано или, говоря языком последних лет, „читабельно".

Я не возражаю против напечатания вообще какого угодно романа, но партийный журнал должен выдерживать направление во всех своих отделах и предоставлять все, не подходящее к этому направлению, печатать в других журналах...

Однако, возвратимся к моим встречам с Тургеневым в Париже.

Ходил я к Тургеневу по утрам. Принимал он меня у себя наверху в своих маленьких комнатках на улице Дуэ. Приходя к нему, я не раз заставал у него madame Виардо, с которой Тургенев читал по утрам по-русски. Меня всегда поражали ее черные испанские глаза — вот такие два колеса (Герман Александрович изобразил их широким жестом). Да и вся-то она была „сажа да кости“, как говорил Глеб Успенский про одну грузинскую девушку.

Надо сознаться, смотрела на эмигрантскую публику madame Виардо косо. Может быть, боясь, что они обирают Тургенева, а может быть, из боязни, что они могут набросить тень неблагонадежности на Ивана Сергеевича. С обычным появлением таких гостей у Ивана Сергеевича, она сейчас же спускалась к себе вниз. Там внизу у нее был свой салон, куда допускались русские баре, артисты, художники и в особенности музыканты. Я там не бывал отчасти благодаря плохому знанию разговорного французского языка...

Так вот, прихожу я однажды утром к Ивану Сергеевичу и застаю у него Салтыкова-Щедрина [1]. Михаил Евграфович сердито хрипел:

— Ну, что ваши Зола и Флобер? Что они дали?

— Они дали форму, — отвечал Тургенев.

— Форму, форму... а дальше что? — допытывался Щедрин. — Помогли они людям

[1] М. Е. Салтыков часто посещал Тургенева во время своего пребывания в Париже в апреле — мае 1876 г.

разобраться в каком-нибудь трудном вопросе? Выяснили ли они нам что-нибудь? Осветили тьму, нас окружающую? Нет, нет и нет[1]...

Тогда Тургенев, беспомощно разводя руками, спросил Щедрина:

— Но куда же нам-то, Михаил Евграфович, беллетристам, после этого деваться?

— Помилуйте, Иван Сергеевич, я не о вас говорю, — возразил Щедрин, — вы в своих произведениях создали тип лишнего человека. А в нем ведь сама русская жизнь отразилась. Лишний человек — это наше больное место. Ведь он нас думать заставляет.

Надо вам заметить, что Тургенев до старости не потерял способности краснеть, как юноша. И тут он вспыхнул весь...

Встает в моей памяти еще одна сценка по поводу „Бесов", а именно — по поводу карикатуры на Тургенева, помните... Кармазинов? „Merci" Достоевского — злая пародия на тургеневское „Довольно".

В разговоре со мной о „Бесах" Иван Сергеевич заметил:

— Там и мне досталось.

А я, представьте, совершенно забыл о Кармазинове. Во время чтения я почему-то не обратил на него внимания.

— Где же, Иван Сергеевич? Я что-то не помню. Это Верховенский-отец, что ли?

[1] Резкие отзывы о французских натуралистических романах, подобные приведенному Лопатиным, повторяются в письмах Салтыкова П. В. Анненкову, Н. А. Некрасову и Н. К. Михайловскому (см. М. Е. Салтыков-Щедрин. Письма 1845 — 1889, под ред. Н. В. Яковлева, при участии Б. Л. Модзалевского. Гиз. 1924, стр. 112, 114—115 и 141).

— Ай, нет! — поморщился Иван Сергеевич. — Чудной вы человек... Ну, как его? Ну, да этот.... — и что-то брезгливое пробежало по губам Тургенева, — Кармазинов.

Вдруг я вспомнил. И, сознавая, что это неприлично, неудобно, нехорошо, я, как ни крепился, как ни старался, не мог удержаться от душившего меня громкого, неудержимого смеха... Закрыв лицо руками вот так, я буквально катался по креслу от смеха... Так нелепа была фигура Кармазинова рядом с красивой фигурой стоявшего передо мной Тургенева...

А какая умница был Тургенев! Вы почитайте его переписку с Герценом. Какой проницательный ум! Какое всестороннее, широкое образование! Как знал он литературу не одного своего, но и других народов! Ведь он владел многими языками.

Теперь мне вспоминается все отрывками, отдельными сценами... Знаете, человек всегда забывает одну истину — все люди смертны. Кай — человек, следовательно, Кай смертен. Мы, живые, никогда не помним этого.

А о чем, о чем бы ни поговорил я с теми, с которыми уже не поговоришь... Да... Был я близок тоже, и даже ближе, с Марксом[1]. Я испытывал на себе чисто отеческую любовь его ко мне. Часто видались мы с ним, горячились, спорили, случалось, говорили подолгу о пустяках... а многое, многое, очень важное, осталось невыясненным. Обо многом надо было узнать, попросить совета...

[1] См. А. Финн-Енотаевский. Г. А. Лопатин и К. Маркс. „Былое“ 1920, № 15.

И по отношению к Тургеневу у меня осталось тяжелое чувство невыполненного обещания. В свое время я не сделал того, что собирался, а потом уже не пришлось. Я расскажу вам это.

Попав последний раз за границу, я в Париже получил письмо от Тургенева с просьбой приехать к нему в Буживаль. А Буживаль ведь не близко от Парижа — пять франков. Я привык в это время считать расстояние на франки. Я поехал. Встретила меня там madame Виардо далеко не любезно и не хотела пустить к Тургеневу, ссылаясь на его тяжелое состояние. Как пропуск я показал ей письмо Ивана Сергеевича и прошел.

Время было неудачное. Тургенев корчился от боли. У него были ужасные боли где-то около позвоночника. Ему только что впрыснули морфий, и он должен был заснуть.

Увидев меня, Тургенев обрадовался.

— Я не могу говорить сейчас, — сказал он, — но мне необходимо увидеть вас еще раз и переговорить с вами.

Я хотел что-то сказать, но Иван Сергеевич остановил меня.

— Молчите, молчите, — сказал он, — дайте мне договорить, а то я сейчас засну. Вы приедете еще раз ко мне непременно.

Я ушел и все собирался съездить. Но... пять франков! Вы понимаете?.. и вдруг я узнаю, что он умер... а несказанное так и осталось несказанным.

Я долго потом ломал голову: о чем хотел переговорить со мной Тургенев, что он хотел сообщить мне, да так ничего и не придумал...

— Вы спрашиваете, были ли у меня письма Тургенева? Да, были. Но весь свой архив перед отъездом в Россию я оставил за границей, а потом он был уничтожен.

— В „Былом" мне попалась переписка Тургенева с Лавровым по поводу вашего ареста и побега. Это было, кажется, в...

— Эх, ну, стоит ли разбираться, когда это было, и устанавливать даты. Сидел я чуть ли не двадцать семь раз в 18 разных тюрьмах — всего сразу и не вспомнишь [1].

Во время своих поездок за границу я каждый раз бывал у Тургенева. Познакомился я с ним по поводу дел журнала „Вперед". Вам известно, что Тургенев субсидировал этот журнал. Сначала он давал тысячу франков в год, а потом пятьсот [2]. Так вот по поводу этих денег у меня и было поручение к Тургеневу от Лаврова.

Тургенев далеко не разделял, конечно, программу „Вперед". Но он говорил:

— Это бьет по правительству, и я готов помочь всем, чем могу.

Тогдашний строй России давил Тургенева, и свобода нужна была ему не только как теоретический принцип, как программное пожелание. Он нутром страдал от отсутствия этой свободы у себя на родине и всем нутром жаждал наступления ее в России.

[1] Речь идет о побеге Г. А. Лопатина из вологодской ссылки в феврале 1883.

[2] Как видно из письма Тургенева П. Л. Лаврову от 21-го февраля 1874 г., он выдавал на издание журнала „Вперед" с первого же года по 500 фр.

Он был в лучшем смысле этого слова либерал. Ну, радикал. Он приветствовал каждую попытку выступления против старого строя.

Тургенев допускал, что социализм, может быть, и будет венцом социального развития человечества. Но социализм рисовался ему в такой дали, что еле верилось в него. Ему казалось, что ни технические, ни экономические, ни моральные предпосылки не созрели еще для проведения его в жизнь... А кроме того, его смущали сомнения, сможет ли социализм удовлетворить индивидуальным запросам и индивидуальным вкусам будущего общества.

— Ведь не будем же мы в самом деле, — говорил Тургенев, — ходить, по Сен-Симону[1], все в одинаковых желтеньких курточках с пуговкой назади?

Сомневался Иван Сергеевич и в людской способности пока жить сообща, общинно: наша психика не подготовлена к этому. И все попытки жить коммунистически, даже людей хороших и интеллигентных, всегда кончались неудачей...

В нас Тургенев ценил людей, ради идеи ставящих на карту жизнь свою.

Было что-то неподдельно отеческое в отношении Тургенева вообще к молодежи. И, пожалуй, он больше любил „буйных“ сынов своих. Ибо, по его понятиям, как было молодому человеку и не побуйствовать! „Буйные“ были ближе и приятнее душе его.

[1] Анри Клод Сен-Симон (1760 — 1825) — французский философ, родоначальник утопического социализма.

— Но в то же время у Тургенева, — сказала я, — было ясное сознание трагической тщеты усилий русских социалистов того времени.

— Да, конечно, он знал, что мы потерпим крах, и все же сочувствовал нам.

Вообще говоря, мы должны были погибнуть, но иногда случается ведь и невозможное.

Помню в Шлюшине. Вы не слыхали? Так местные крестьяне называют Шлиссельбург. Так вот, помню, там наступил Новый год. Снизу мне постучал Конашевич[1]. Он сидел подо мной. Он поздравил меня с Новым годом. Я не ответил сразу. А потом простучал:

Пусть славит год грядущий тот,
Кто чает в нем себе отрады
И от судьбы бездушной ждет
За подвиг доблестный награды.
Кто вновь надеется пожить,
По всем умершим справить тризны
И жертвы новые сложить
На алтаре святой отчизны.
А я свой дар уже принес,
Мне новой не видать денницы
И не восстать из-под колес
Джагернаутской колесницы[2].

...Я думал не случится, а вот случилось...

Тургенев любил молодежь и искренно интересовался ею. Когда я бывал в Париже, всегда

[1] В. П. Конашевич — народоволец. Осужден одновременно с Г. А. Лопатиным в 1887 г. по делу „о руководящем кружке партии „Народная Воля" (процесс 21-го).

[2] Стихотворение датировано 1 янв. 1900 г. в сборнике „Г. А. Лопатин. Автобиография. Показания. Статьи. Стихотворения. Библиография литературы о нем. Ред. А. А. Шилова. П. 1921."

заходил к нему. Он интересовался моими рассказами о России, в особенности после моих странствий.

Бывал я у него и в Петербурге. В год так называемого „примирения" Тургенева с молодежью я был в Петербурге и о московских чествованиях только слыхал. Потом я узнал, что Иван Сергеевич приехал в Петербург.

Почему бы и не навестить мне его? — подумал я и отправился в Европейскую гостиницу.

Прежде чем войти, я отправил ему свою визитную карточку, чтобы он узнал мою тогдашнюю фамилию. Кажется, Афанасием Григорьевичем Севастьяновым я был тогда.

Вхожу. Увидал меня Тургенев и воскликнул: — Безумный вы человек! Можно ли так рисковать собой?.. — Потом он рассказал мне о своем пребывании в Москве, о речах, о молодежи и чествовании.

— Ведь я понимаю, что не меня чествуют, а что мною, как бревном, бьют в правительство.

Тургенев красноречивым жестом показал, как это делается.

— Ну, и пусть, и пусть, я очень рад, — закончил Иван Сергеевич.

Умный и скромный был человек Тургенев.

Заходил я к нему и еще раз или два. Однажды прихожу я к Ивану Сергеевичу, а он встречает меня словами:

— Как я рад, что вы пришли! Вы нужны мне были.

И, взяв меня за плечи, заговорил взволнованно:

— Безумный, отчаянный вы человек! Уезжайте, бегите отсюда! Скорее! Я знаю, я слышал, не сегодня, завтра вы будете арестованы.

И сколько было тревоги за меня и боязни, что я его не послушаю, в голосе И. С. Я упорствовал [1]. Мне захотелось проверить источник слухов.

И. С. назвал мне фамилию.

Я знал названного господина за труса. Этот господин встретился с одной важной особой. — А, знаете, ваш-то Лопатин... — огорошила его особа. При словах „ваш Лопатин“ на лице моего знакомого появилось, конечно, выражение горячего протеста. — Да нечего, нечего, — продолжала особа, — я ведь знаю, что вы там, за границей, с ним якшаетесь, ну, так не долго ему гулять, скоро его на веревочку посадят.

Взвесив достоверность названного источника, я заявил:

— Нет, Иван Сергеевич, я не поеду.

И. С. сокрушенно качал головой. Ему больно было сознавать, что он не сможет убедить меня.

Я остался. А через два дня меня арестовали...

Я не мог тогда уехать. У меня были дела, вещи...

Ко мне должны были прийти.

Но до ареста я успел еще раз повидаться с Тургеневым. На другой день после нашего разговора я опять зашел к нему. Смотрю, вещи собирает.

[1] Ср. этот рассказ с замечаниями Тургенева в письме к Лаврову от 12 апреля 1879 г., стр. 101—102.

— Иван Сергеевич, да куда же вы? Вы же хотели пожить здесь? А вечер в Дворянском собрании, на котором вас собираются еще чествовать?

— Нет, батюшка мой, оставаться больше не могу. Приезжал флигель-адъютант его величества с деликатнейшим вопросом: его величество интересуется знать, когда вы думаете, Иван Сергеевич, отбыть за границу?

— А на такой вопрос, — сказал Иван Сергеевич, — может быть только один ответ: „сегодня или завтра“, а затем собрать свои вещи и отправиться [1].

Тургенев уехал, а я пошел на концерт в Дворянское собрание. Увезла меня на него жена Станюковича. Сидели мы по обыкновению на хорах. На эстраде много пели, декламировали. Но особенно памятна мне песня, спетая Тартаковым. Это известное стихотворение Ал. Толстого:

Спускается солнце за степи,
Вдали золотится ковыль,
Колодников звонкие цепи...
Взметают дорожную пыль...

Я люблю это стихотворение. Кто знает этапы, тот поймет, как верна эта картина. Музыка же этой песни Лишина полна для меня очарования. В аккомпанементе песни, там, где поют про дикую волю, врывается напев „Вниз по матушке по Волге“. — Как это хорошо!

[1] Чествование Тургенева молодежью весной 1879 г. было неприятно правительственным сферам. Ему было предложено отказаться выступить на предполагавшемся вечере студентов Горного института и С.-Петербургского университета.

На том же вечере мельком видел я одного из знакомых Тургенева, художника Репина. Мы встречались с ним у Ивана Сергеевича в Париже. Любопытно, недавно, вот в эти уже годы, на каком-то вечере подходит ко мне старичок. Здоровается со мной.

— Здравствуйте, Герман Александрович. Вспомните? Ведь мы встречались...

— Где? Не помню.

— В Париже художников помните?

— Конечно, Поленов, Репин.

— Да ведь вот он Репин перед вами...

— Да разве вы Репин?..

Передо мною сухенький, улыбающийся старичок. Я знал Репина, да не таким. Юношей кудрявым знал я его.

Как не помнить мне Репина? Его картина „Не ждали“ была моим последним впечатлением перед переселением моим туда. Помню, мне попалось объявление о выставке картин Репина. Я зашел. Остановился перед „Не ждали“ и залюбовался...

Блудный сын этот, вернувшийся к семье, я думаю, не политик. Он не за идею страдал, иначе не было бы у него такого виноватого лица. Просто, думается мне, проиграл он казенные деньги, побывал в Сибири. А, может быть, у него „черносотенная“, говоря современным языком, семья, и он не знает, как его примут. Как бы то ни было, но лица на этой картине удивительные. Мальчик этот, болтающий ногой под стулом... Все на этой картине, все до мельчайших подробностей живет. Но я был поражен не только верностью лиц, поз

и выражений, а главным образом выполнением внешней стороны картины. Вы заметили, как передана там перспектива, — ведь воздух чувствуется! Вот одна комната, другая, а на пороге кухарка застыла, во второй комнате окно открыто, и там на дворе, за окном, на веревке белье сушится. И кажется, что его чуть-чуть ветерок покачивает. Это удивительно!

Стоял я, любовался этой картиной, а рядом со мною любовались ею же два жандармских офицера. Это была случайность, конечно. На другой день, тоже по случайности, один из них допрашивал меня. И другой был тут же в этой комнате. Странное совпадение. Фамилия допрашивающего меня была страшная — Лютов.

Я сейчас же узнал их обоих и говорю им:

— А ведь мы встречались с вами, господа!

У них вытянулись лица.

— Где?

— Припомните, вы вчера были на выставке? — начал я их допрашивать.

— ?! Были.

— Вспомните, вы стояли перед картиной Репина?

— Да.

— Так я тоже вместе с вами любовался на эту картину...

Вспоминается мне и еще один из русских художников в Париже — Поленов.

Помню, мы, русские, решили создать библиотеку в Париже, где бы мы могли соби-

раться, читать [1]. Попросили Тургенева устроить в пользу этой библиотеки утро.

По делам этой библиотеки у нас было заседание. На этот раз председателем был я. Я записывал ораторов кое-как, для себя, начальными буквами на клочке бумаги. Вдруг, слышу, из угла кричит мне кто-то:

— Поленов. Запишите.

Записываю.

— Через ять, через ять, — добавляет тот же голос из угла.

Я засмеялся.

Литературное утро состоялось. Оно происходило в доме Виардо. Madame Виардо вышла петь.

Пела она романс Чайковского:

Нет, только тот, кто знал
    Свиданья жажду,
Поймет, как я страдал
    И как я стражду...
Гляжу я вдаль, нет сил, темнеет око...
Ах! кто меня любил и знал, — далеко.

Она была старухой. Но когда она произносила: „Я стражду“, меня мороз подирал по коже, мурашки бегали по спине. Столько она вкладывала экспрессии. Ее глаза. Эти бледные впалые щеки... Надо было видеть публику!

[1] Русская библиотека в Париже была основана в феврале 1875 г. Литературно-музыкальное утро, устроенное Тургеневым для доставления библиотеке средств, состоялось 15/27 февраля.

И еще стихотворение Фета спела она.

Облаком волнистым
Пыль встает вдали.
. . . .
Друг мой, друг далекий,
Вспомни обо мне.

Последние слова были полны такой еле сдерживаемой страстью, такой глубокой тоской, так звали к себе.

Было спето: „Шопот. Робкое дыханье. Трели соловья". Но это уже не то. Ей удавались вещи с сильным, страстным чувством.

На этом вечере, помню, захотелось мне курить. Но в доме Виардо это не разрешалось. Я знал расположение дома и вышел во двор. Стою, курю, смотрю: около меня тоже кто-то попыхивает папиросой.

— Здравствуйте, Герман Александрович!

— Здравствуйте!

А сам не знаю, кто это.

— Да кто же вы? — спрашиваю.

— Поленов.

— Через ять, через ять, — обрадовался я.

Мы засмеялись.

— Да вы поймите, Герман Александрович, — ведь всегда все пишут мою фамилию через е. Как же мне было не крикнуть вам?..

Многие эмигранты обращались к Тургеневу за помощью, и он помогал.

Однажды И. С. письменно предложил мне заведывать раздачей некоторой ежемесячной суммы этого фонда просителям.

— Вы знаете их,—писал он,—возьмите на себя труд помогать им. Если кто-нибудь обратится ко мне, я направлю к вам. Вы будете расходовать эту сумму по своему усмотрению.

— Нет, Иван Сергеевич. Сам лично я никогда не пользовался чужой помощью. Здесь необходима строгая отчетность. А кому я буду давать отчет? Ведь я лишен возможности отчитываться перед всеми публично. Сделаем мы так. Деньги останутся у вас, но просителей вы будете направлять ко мне за отзывом.

Так и сделали.

Однажды Тургенев познакомил меня с „Неждановым". Это некто Отто, Онегин. Он и сейчас жив [1].

— Это Жуковский? — спросила я.

— Да, говорят, что он сын Жуковского. Настоящая его фамилия Отто. Это уже впоследствии он сделал из себя Онегина [2].

— Что же он за человек, расскажите, очень интересно, — попросила я.

— Сопляк, простите за выражение, — коротко ответил Герман Александрович.

Пришел я к Тургеневу. Он говорит:

— Идите, я познакомлю вас с „Неждановым".

Увидал я Нежданова. Мы поздоровались.

— Вы не вспоминаете меня? — обратился он ко мне.

— Нет.

— А ведь мы с вами вместе в университете учились.

[1] Умер в 1924 г. в Париже.

[2] См. примечание на стр. 162.

— Да кто же вы?

— Отто.

Так это Отто! Я вспомнил его. Это был розовый херувимчик. Такой незначительный. В Нежданове Тургенев, конечно, сильно опоэтизировал его.

Я свиделся с Тургеневым, когда „Новь“ уже печаталась. Тургенев дал мне прочесть ее еще ранее выхода книг „Вестника Европы“. Разумеется, мое мнение уже не могло ничего изменить в тексте, сданном в печать. Вообще говоря, Тургенев чутко прислушивался к мнению других.

Типы молодежи нашей трудно поддаются изображению. В Базарове не укладывается, конечно, вся молодежь 60-х годов. Но, несомненно, такие бывали, в особенности с таким отношением к искусству. Мне было 16 — 17 лет, когда появились „Отцы и дети“. В романе чувствовалось любовное отношение Тургенева к Базарову. Меня волновал только один вопрос: почему для Базарова не существовало искусства? Разве материализм несоединим с любовью ко всему прекрасному?

И я, и Герман Александрович устали. Разговор иссякал. Надо было уходить. Я чувствовала, что Г. А. рассказал ничтожную долю того, что знал. И то, что он рассказал, мне жаль было испортить своей передачей.

— Герман Александрович! А может быть, вы все-таки собрались бы сами написать свои воспоминания, — начала снова просить я.

— Нет. Я не могу себя заставить взяться за перо по тысяче причин, которые было бы

долго и скучно излагать. Чтобы писать, надо много знать. Вполне изучить, освоиться с этим предметом. А так, наброски. Нет. Я не охотник до этого.

— Последний вопрос. Скажите ваше мнение о Виардо. Она была злым или добрым гением Тургенева?

— Виардо? Добрый гений Тургенева? Она экспроприировала Тургенева у России... И что такое Виардо? Я знаю французское женское воспитание... Собрали вокруг нее своих знаменитых друзей и сделали ее такой, какой она была, ее муж и любовник, если таковым был Тургенев. Муж ее был очень умным господином. Это для нас, русских, monsieur Виардо только муж Полины Виардо, а для французов madame Виардо только жена Луи Виардо [1]. Это был очень образованный и очень сведущий в литературе и искусстве человек. Интересовался он и политикой и смыслил в ней много. Французы знали его.

Для русских очень заметна разница в произведениях Тургенева до встречи его с ней и после нее. До — у него был народ, а после — уже нет. Изображение молодежи не вполне соответствовало действительности. Да и чем жил Тургенев? Как поглощала она его и влекла из России туда, где была она? Почитайте его письма к Виардо. Это одна тоска, один

[1] Луи Виардо (1800 — 1883) — историк и критик искусства. В 1840 г. совместно с П. Леру и Жорж Занд основал журнал „Revue Indépendente". Его работы по испанской литературе имели большое значение, а французский перевод „Дон-Кихота" считается классическим. Л. Виардо, при участии И. С. Тургенева, перевел на французский язык „Капитанскую дочку" и драматические сочинения Пушкина, „Тараса Бульбу" и некоторые повести Гоголя.

порыв к ней и к ней. Она отняла его у России. Любопытно было бы почитать его дневник. Он должен быть в семье Виардо, если только они не продали его из жадности. У них же должны быть тургеневские наброски пером — карикатуры.

— Герман Александрович, скажите, вам не приходилось слышать о вызове Тургенева на допрос в Петропавловскую крепость? Я впервые встретилась с такой версией в воспоминаниях Павловского [1] и не очень доверяю ему.

— Право, не знаю. Следственная комиссия могла, конечно, заседать и в Петропавловской крепости (как, напр., Верховный суд над каракозовцами), или в III отделении, но мне он рассказывал лишь о своем вызове в сенат, кажется, в связи с делом Серно-Соловьевича. Тургеневу дали возможность заранее ознакомиться с теми вопросами, которые ему будут предложены, и с показаниями о нем. — И я, — рассказывал Тургенев, — читая эти показания и объяснения, так часто слышал в них тот „заячий крик", который так хорошо знаком нам, охотникам.

[1] Воспоминания И. Я. Павловского, появившиеся первоначально в газете „Русский Курьер" за 1884 г. и вышедшие затем в отдельном французском издании в Париже, произвели в свое время большой шум, но они крайне недостоверны. Сообщение о вызове Тургенева на допрос в Петропавловскую крепость принадлежит к числу вымыслов Павловского.

П. К. КРОПОТКИН

ИЗ «ЗАПИСОК РЕВОЛЮЦИОНЕРА»

Теоретик анархизма, географ и историк Петр Алексеевич Кропоткин (1842—1921) высоко ценил художественные произведения И. С. Тургенева. В своей книге „Идеалы и действительность в русской литературе“ он дал блестящую общую оценку литературного наследия романиста:

„Тургенев, по художественной конструкции, законченности и красоте его повестей, является едва ли не величайшим романистом девятнадцатого столетия. Но главная характеристика его поэтического гения заключается не в одном чувстве прекрасного, которым он обладал в такой высокой степени, а также и в высоко-интеллектуальной содержательности его творений. Его повести — не случайные изображения того или другого типа людей, или какого-нибудь исключительного течения или эпизода, почему-нибудь обратившего на себя внимание автора. Они тесно связаны между собой и дают последовательные изображения руководящих интеллектуальных типов России, которые так или иначе наложили свой отпечаток на сменившие одно другого поколения“.

П. А. Кропоткин, наряду с П. Л. Лавровым, был одним из первых читателей „Нови“, получив возможность ознакомиться с романом еще в корректуре. В связи с этим особый интерес приобретает его отзыв именно об этом романе. Говоря о нарождении в России движения „в народ“, наметившегося среди молодежи в начале семидесятых годов, Кропоткин писал:

„Это движение он [т. е. Тургенев] изобразил в последней повести... „Новь“ (1876). Несомненно, что он ему вполне сочувствовал; но на вопрос: дает ли его повесть правильное понятие о движении? — придется ответить до известной степени отрицательно, несмотря на то, что Тургенев, с обычным удивительным чутьем, подметил наиболее выдающиеся черты движения. Повесть была закончена в 1876 году (мы читали ее в корректуре, в доме П. Л. Лаврова, в Лондоне, осенью того же года), т. е. за

два года до большого процесса, в котором судились сто девяносто три участника и участницы этого движения. А в 1876 году никто не мог хорошо знать молодежь наших кружков, не будучи сам членом этих кружков. Вследствие этого, изображенное в „Нови“ может относиться лишь к ранним фазам движения. Многое в повести подмечено верно, но ее общее впечатление далеко не точно передает характер движения, и, вероятно, сам Тургенев, если бы он был лучше знаком с русским юношеством той эпохи, дал бы повести другую окраску.

„Несмотря на весь свой громадный талант, Тургенев не мог заменить догадкою фактического знакомства с описываемым. Но он понял две характерные черты самой ранней фазы этого движения, а именно: непонимание агитатором крестьянства, вернее — характерную неспособность большинства ранних деятелей движения понять русского мужика, вследствие особенностей их фальшиво литературного, исторического и социального воспитания—и, с другой стороны,—их гамлетизм, отсутствие решительности, или, вернее, „волю блекнущую и болеющую, покрываясь бледностью мысли“, которая действительно характеризовала начало движения семидесятых годов. Если бы Тургенев писал эту повесть несколькими годами позже, он, наверное, отметил бы появление нового типа людей *действия*, т. е. новое видоизменение базаровского или инсаровского типа, возраставшего по мере того, как движение росло в ширину и глубину. Он уже успел угадать этот тип даже сквозь сухие официальные отчеты о процессе ста девяносто трех, и в 1878 году он просил меня рассказать ему все, что я знал о Мышкине, который был одной из наиболее могучих личностей этого процесса“.

Воспоминания П. А. Кропоткина о Тургеневе вошли в состав его книги „Записки революционера“ (часть шестая, глава VI), откуда и перепечатываются (с русского перевода; издания 1906 г.). В декабре 1920 г. Кропоткин приступил к пересмотру „Записок“—все существенные изменения и дополнения оговорены в примечаниях.

Во время этого [1] пребывания в Париже я познакомился с И. С. Тургеневым. Он выразил желание нашему общему приятелю,

[1] Зимой 1877—1878 года.

П. Л. Лаврову, повидаться со мной и, как настоящий русский, отпраздновать мой побег небольшим дружеским обедом [1]. Я переступил порог великого романиста почти с благоговением. Своими „Записками Охотника“ он оказал громадную услугу России, вселив отвращение к крепостному праву (я тогда не знал еще, что Тургенев принимал участие в „Колоколе“) [2], а последующими своими повестями он принес молодой интеллигентной России не меньшую пользу. Он вселил высшие идеалы и показал, что такое русская женщина, какие сокровища таятся в ее сердце и уме, и чем она может быть, как вдохновительница мужчины. Он нас научил, как лучшие люди относятся к женщинам и как они любят. На меня и на тысячи моих современников эта часть учения Тургенева произвела неизгладимое впечатление,—гораздо более сильное, чем лучшие статьи в защиту женских прав [3].

Внешность Тургенева хорошо известна. Он был очень красив: высокого роста, крепко

[1] Побег П. А. Кропоткина из Николаевского госпиталя, куда он был переведен по болезни из Дома предварительного заключения, был организован О. Э. Веймаром и состоялся 30 июня 1876 г. Побег оказался удачным не только в том отношении, что П. А. Кропоткин получил свободу, но и в смысле исчезновения всяких следов участников этого дела.

[2] Участие Тургенева в издававшейся А. И. Герценом в Лондоне с 1857 года русской газете „Колокол“ устанавливается письмами Тургенева к Герцену, опубликованными М. Драгомановым (Письма К. Д. Кавелина и И. С. Тургенева к А. И. Герцену, Genève, 1892). Участие это выражалось как в сообщении материалов, так и в посылке статей, но до настоящего времени в достаточной мере не обследовано.

[3] При пересмотре текста „Записок“ в 1920 г. Кропоткин внес после этих строк дополнение автобиографического характера: „Повесть Тургенева „Накануне“ определила с ранних лет мое отношение к женщине, и если мне выпало редкое счастье найти жену по сердцу и прожить с ней вместе счастливо больше двадцати лет, этим я обязан Тургеневу“.

сложенный, с мягкими седыми кудрями. Глаза его светились умом и не лишены были юмористического огонька, а манеры отличались той простотой и отсутствием аффектации, которые свойственны лучшим русским писателям. Голова его сразу говорила об очень большом развитии умственных способностей; а когда после смерти И. С. Тургенева, Поль Бер и Поль Реклю (хирург) взвесили его мозг, то они нашли, что он до такой степени превосходит весом наиболее тяжелый из известных мозгов, именно Кювье, что не поверили своим весам и достали новые, чтобы проверить себя [1].

В особенности была замечательна беседа Тургенева. Он говорил, как и писал, образами. Желая развить мысль, он прибегал не к аргументам, хотя был мастер вести философский спор: он пояснял ее какой-нибудь сценой, переданной в такой художественной форме, как будто бы она была взята из его повести.

— Вы имели случай много наблюдать французов, немцев и других европейцев, — как-то сказал он мне.—Не заметили ли вы, что существует неизмеримая пропасть между многими воззрениями иностранцев и нас, русских:—есть пункты, на которых мы никогда не сможем согласиться.

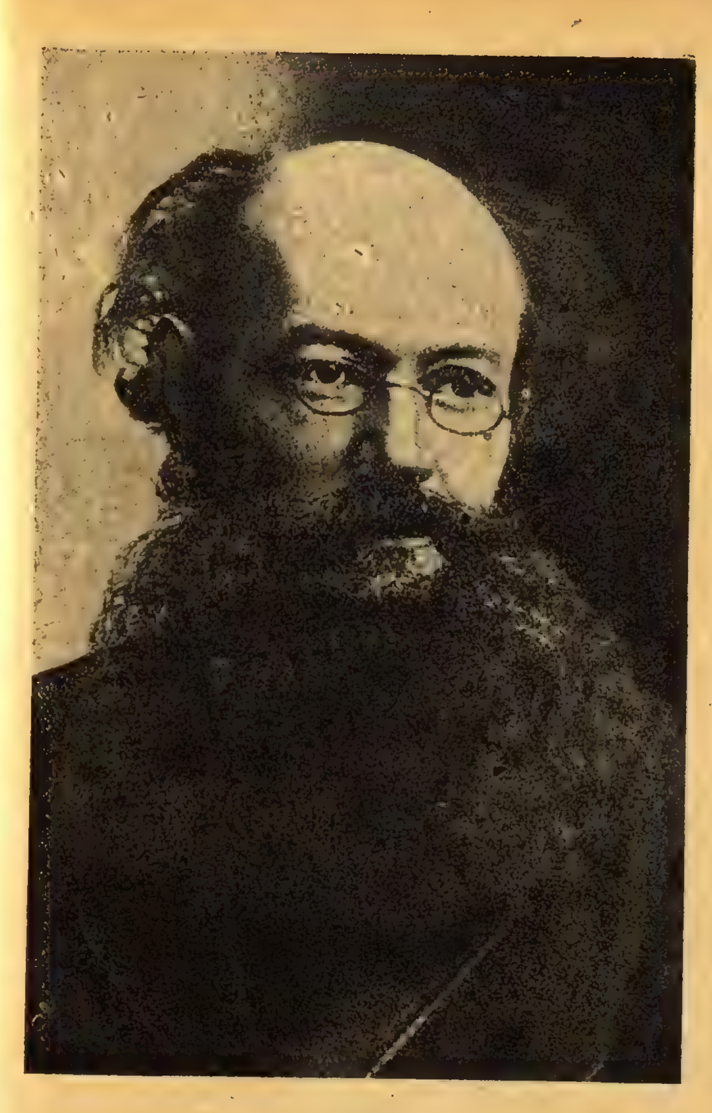
Я ответил, что не заметил таких пунктов.

— Нет, они есть. Ну, вот вам пример. Раз как-то мы были на первом представлении одной

[1] Поль Бер (1833—1886)—французский естествоиспытатель и политический деятель.

Поль Реклю (1847—1914)—французский хирург.

Жорж-Леопольд Кювье (1769 — 1832) — знаменитый французски естествоиспытатель. Его мозг весил 1861 гр., мозг Тургенева—2012 гр. (при среднем весе мозга у мужчин 1360—1375 гр.).



П. А. Кропоткин

новой пьесы. Я сидел в ложе с Флобером, Додэ, Золя (не помню точно, назвал ли он и Додэ и Золя, но одного из них он упомянул наверное). Все они, конечно,—люди передовых взглядов. Сюжет пьесы был вот какой. Жена разошлась с своим мужем и жила теперь с другим. В пьесе он был представлен отличным человеком. Несколько лет они были совершенно счастливы. Дети ее, мальчик и девочка, были малютками, когда мать разошлась с их отцом. Теперь они выросли и все время полагали, что сожитель их матери был их отец. Он обращался с ними, как с родными детьми: они любили его, и он любил их. Девушке минуло восемнадцать лет, а мальчику было около семнадцати. И вот сцена представляет семейное собрание за завтраком. Девушка подходит к своему предполагаемому отцу, и тот хочет поцеловать ее. Но тут мальчик, узнавший как-то истину, бросается вперед и кричит:

— Не смейте! (N'osez pas!)

Это восклицание вызвало бурю в театре. Раздался взрыв бешеных аплодисментов. Флобер и другие тоже аплодировали. Я, конечно, был возмущен.

— Как! — говорил я, — эта семья была счастлива... Этот человек лучше обращался с детьми, чем их настоящий отец... мать любила его, была счастлива с ним... Да этого дрянного, испорченного мальчишку следует просто высечь... Но сколько я ни спорил потом, никто из этих передовых писателей не понял меня [1].

[1] Речь идет о пьесе Э. Ожье „Madame Caverlet“. См. примечание в конце статьи.

Я, конечно, совершенно был согласен с Тургеневым в его взглядах на этот вопрос и заметил только, что знакомства его были, по преимуществу, в средних классах. Там разница между нациями сильно заметна. Мои же знакомства были исключительно среди рабочих; а все работники и в особенности крестьяне всех стран очень похожи друг на друга.

Говоря это, я был, однако, совершенно неправ. Познакомившись впоследствии поближе с французскими работниками, я часто думал о справедливости замечания Тургенева. Действительно, существует глубокая пропасть между взглядами русских на брак и теми понятиями, которые господствуют во Франции как среди буржуазии, так и среди работников. Во многих других отношениях русские взгляды так же глубоко разнятся от взглядов других народов.

После смерти Тургенева где-то было сказано, что он собирался написать повесть на эту тему [1]. Если он начал ее, то рассказанная мною сейчас сцена непременно должна быть в его рукописи. Как жаль, что Тургенев не написал этого произведения! Вполне „западник“ по взглядам, он мог бы высказать очень глубокие мысли по предмету, который наверное глубоко интересовал его всю жизнь.

Из всех беллетристов XIX века Тургенев, без сомнения, не имеет себе равных по художественной отделке и стройности произведений. Проза его звучна, как музыка, — как глубокая музыка Бетховена; а в ряде его романов: „Ру-

[1] Ср. свидетельство П. Лаврова, стр. 73—74.

дин“, „Дворянское гнездо“, „Накануне“, „Отцы и Дети“, „Дым“ и „Новь“, мы имеем быстро развивающуюся картину, „делавших историю“ представителей образованного класса, начиная с 1848 года. Все типы очерчены с такой философской глубиной и знанием человеческой природы, и с такою художественною тонкостью, которые не имеют ничего равного ни в какой другой литературе. Между тем, большая часть молодежи приняла роман „Отцы и Дети“, который Тургенев считал своим наиболее глубоким произведением, с громким протестом. Она нашла, что нигилист Базаров отнюдь не представитель молодого поколения [1]. Многие видели даже в нем карикатуру на молодое поколение. Это недоразумение сильно огорчало Тургенева. Хотя примирение между ним и молодежью и состоялось впоследствии в Петербурге, после „Нови“ [2], но рана, причиненная этими нападками, — никогда не залечилась.

Тургенев знал от Лаврова, что я—восторженный поклонник его произведений, и раз, когда мы возвращались в карете после посещения мастерской Антокольского [3], он спросил меня, какого я мнения о Базарове. Я откровенно ответил: „Базаров—великолепный тип нигилизма; но чувствуется, что вы не любите его так, как любили других героев“.

[1] Роман „Отцы и Дети“ был крайне враждебно принят передовой критикой. В Базарове радикальная молодежь увидела карикатурный портрет Н. А. Добролюбова.

[2] Имеются в виду овации Тургеневу весной 1879 г. Подробнее об этом см. на стр. 80—81.

[3] М. М. Антокольский (1843—1902)—известный русский скульптор, живший в Париже во второй половине 70-х годов.

— Напротив, я любил его, сильно любил, — с неожиданным жаром воскликнул Тургенев. — Вот приедем домой, я покажу вам дневник, где записал, как я плакал, когда закончил повесть смертью Базарова [1].

Тургенев, без сомнения, любил умственный облик Базарова. Он до такой степени отождествил себя с нигилистической философией своего героя, что даже вел дневник от его имени, в котором оценивал события с базаровской точки зрения. Но я думаю, что Тургенев больше восхищался Базаровым, чем любил его. В блестящей лекции о Гамлете и Дон-Кихоте он разделил всех „двигающих историю“ людей на два класса, представленных тем или другим из двух этих типов. — „Анализ прежде всего, и эгоизм, а потому безверие. Он весь живет для самого себя, он эгоист; но верить в себя даже эгоист не может“,—так характеризовал Тургенев Гамлета. Поэтому он скептик — и потому никогда ничего не сделает; тогда как Дон-Кихот, сражающийся с ветряными мельницами и принимающий бритвенный тазик за Мамбринов шлем (кто из нас не делал подобных ошибок?), ведет за собою массы. Массы всегда следуют за тем, кто, не обращая внимания ни на насмешки большинства, ни на преследования, — твердо идет вперед, не спуская глаз с цели, которая видна, быть может, ему

[1] Эту запись в дневнике 1861 г. Тургенев приводит в статье „По поводу „Отцов и Детей“: „30 июля, воскресенье. Часа полтора тому назад я кончил наконец свой роман... Не знаю, каков будет успех.— „Современник“, вероятно, обольет меня презрением за Базарова — и не поверит, что во все время писания я чувствовал к нему невольное влечение“...

одному. Дон-Кихоты ищут, падают, снова поднимаются, и, в конце концов, достигают. И это вполне справедливо. Однако, „хотя отрицание Гамлета сомневается в добре, но во зле оно не сомневается, и вступает с ним в ожесточенный бой“... „Скептицизм Гамлета не есть также индиферентизм“, „но в отрицании, как в огне, есть истребляющая сила“, и эта сила истребляет его волю“ [1].

В этих мыслях, мне кажется, Тургенев дал ключ к пониманию его отношения к своим героям. Он и некоторые из его лучших друзей были более или менее Гамлетами. Тургенев любил Гамлета—и восторгался Дон-Кихотом. Вот почему он уважал также Базарова. Он отлично изобразил его умственное превосходство, он превосходно понял трагизм одиночества Базарова; но он не мог окружить его тою нежностью, тою поэтической любовью, которую, как больному другу, он уделял своим героям, когда они приближались к гамлетовскому типу. Такая любовь была бы здесь неуместна [2].

— Знали ли вы Мышкина? [3] — спросил он меня раз в 1878 году. Когда судили наши

[1] „Гамлет и Дон-Кихот“ — речь, произнесенная Тургеневым 10 января 1860 года на публичном чтении в пользу Общества для вспомоществования нуждающимся литераторам и ученым. Напечатана в 1-й книжке „Современника“ за 1860 г. и вошла в собрание сочинений Тургенева.

[2] Здесь следует короткое, но многозначительное дополнение: „И мы чувствовали ее отсутствие!“

[3] И. Н. Мышкин (1848—1885)—известный русский революционер. Открыв в начале 70-х годов собственную типографию в Москве, Мышкин отдался делу печатания и транспортирования запрещенных книг. В 1874 году тайное отделение его типографии было обнаружено, но Мышкину удалось скрыться. В 1875 г., желая организовать побег Н. Г. Чернышевского, отправился в Сибирь. План Мышкина не удался, он был арестован и заключен в Петропавловскую крепость. Приобщенный к „процесу 193-х“, он в последнем слове произнес блестящую

кружки, сильная личность Мышкина, как известно, резко выступила вперед.

— Я хотел бы знать все, касающееся его, — продолжал Тургенев. — Вот человек, ни малейшего следа гамлетовщины. — И, говоря это, Тургенев, очевидно, обдумывал новый тип, выставленный русским движением и не существовавший еще в периоде, изображенном в „Нови“. Тип этот появился года два спустя.

В последний раз я видел И. С. Тургенева не то осенью, не то в июле 1881 года. Он был уже очень болен и мучился мыслью, что его долг — написать Александру III, который недавно вступил на престол и колебался еще, какой политике последовать, — чтобы указать ему на необходимость дать России конституцию. С нескрываемой горестью Тургенев говорил мне: „чувствую, что обязан это сделать; но я вижу также, что не в силах буду это сделать“. В действительности, он терпел уже страшные муки, причиняемые раком спинного мозга. Ему трудно было даже сидеть и говорить несколько минут. Так он и не написал Александру III[1].

политическую речь. В последующее время делал неоднократно попытки побега из заключения.

Был расстрелян 26 января 1885 г.

[1] Начав исправление текста „Записок“, Кропоткин уточнил последнюю фразу: „Так он и не написал тогда, а несколько недель позже это уже было бы бесполезно: Александр III манифестом объявил о своем намерении остаться самодержавным правителем России“. См. ниже в примечаниях.

ПРИМЕЧАНИЯ

К стр. 145. Э. Гонкур записал подобные же размышления Тургенева по поводу пьесы Э. Ожье, высказанные им, на другой день после спектакля, в разговоре с французскими писателями: „Воскресенье 5 марта. — Сегодня Тургенев, входя к Флоберу, сказал: „Никогда я не видел так ясно различия между расами, как вчера. Я думал об этом всю ночь... Вчера, на представлении „Madame Caverlet", когда сын крикнул любовнику своей матери, намеревавшемуся поцеловать его сестру: „Я вам запрещаю целовать эту молодую девушку", я почувствовал отвращение. То же испытало человек пятьсот русских, находившихся в зале... а Флобер и другие, бывшие с нами в ложе, не возмутились... Я долго размышлял об этом сегодня ночью... Да, вы принадлежите к латинской расе и вы унаследовали от римлян их преклонение перед законом, вы люди закона... Мы не таковы... Как бы это сказать?.. В России правовые понятия не откристаллизовались так четко, как у вас. Приведу пример. Если у нас человек сознается, что совершал неоднократно воровство, но при этом выяснится, что он нуждался, что он голодал, — его оправдают. Да, вы люди закона, чести, мы же, несмотря на самодержавный строй, мы"... так как он не находил нужного слова, я подсказал ему: люди „гуманности". „Да, это так, подхватил он, у нас меньше условностей, мы гуманнее"... (Journal des Goncourt, t. V, Dimanche 5 mars 1876) Ср. также воспоминания Ардова (Е. И. Апрелевой-Бларамберг) „Русские Ведомости" 1904 г. № 18.

К стр. 150. Н. К. Лебедев, редактор недавно вышедшего нового издания „Записок революционера" П. Кропоткина (изд. Всесоюзного общества политических каторжан и ссыльно-поселенцев, М. 1929 г., 2 тома), опубликовал

нижеследующий отрывок, представляющий написанное в 1920 г. Кропоткиным дополнение к его воспоминаниям о Тургеневе:

„Еще одно воспоминание. Тургенев как-то заговорил со мной о тех книжках, которые издавал для народа наш кружок.— „Да ... но это все не то, что нужно“, заметил он, задумавшись о чем-то, и, к моему удивлению, тут же упомянул, как наш народ расправляется с конокрадами ... Точных его слов не могу припомнить, но смысл его замечания врезался мне в память. К сожалению, кто-то, вошедший в кабинет, прервал наш разговор и впоследствии я не раз спрашивал себя: „что же такое он хотел сказать?“

И вот через несколько времени после его смерти появился его рассказ, продиктованный им пред смертью г-же Виардо по-французски и переведенный на русский язык Григоровичем, где рассказано, как крестьяне расправились с одним помещиком-конокрадом ...

Известно, как Тургенев любил искусство; и когда он увидал в Антокольском действительно великого художника, он с восторгом говорил о нем. „Я не знаю, встречал ли я в жизни гениального человека или нет, но если встретил, то это был Антокольский“, говорил мне Тургенев. И тут же смеясь прибавил: „и заметьте, ни на одном языке правильно не говорит. По-русски и по-французски говорит ужасно ... но зато скульптор — великолепный“. И когда я сказал Тургеневу, до чего я еще совсем юношей восторгался „Иваном Грозным“ Антокольского, и что мне особенно понравилась его вылепленная из воска группа евреев, читающих какую-то книгу, и инквизиторы, спускающие их в погреб, то Тургенев настоял, чтобы я непременно посмотрел только что законченную статую „Христос перед народом“. Я совестился итти и, может быть, помешать Антокольскому, но тогда Тургенев решил, что он условится с Антокольским и в назначенный день поведет П. Л. Лаврова и меня в мастерскую Антокольского.

Так и сделали. Известно, как поразительно хороша эта статуя. Особенно поражает необыкновенная грусть, которой проникнуто лицо Христа при виде толпы, вопиющей: „распни его!“ В то же время вся фигура Христа поражает своей мощью, особенно, если смотреть сзади —

кажется, что видишь здорового, могучего крестьянина, связанного веревками.

— А теперь посмотрите его сверху,—сказал мне Тургенев, — вы увидите какая мощь, какое презрение в этой голове . . .

И Тургенев стал просить у Антокольского лестницу, чтобы я мог увидать эту голову сверху. Антокольский отнекивался.

— Да, нет, Иван Сергеевич, зачем?

— Нет, нет, — настаивал Тургенев — ему это нужно видеть: он революционер.

И, действительно, когда принесли лестницу и я взглянул на эту голову сверху, я понял всю умственную мощь этого Христа, его глубокое презрение к глупости вопившей толпы, его ненависть к палачам. И стоя перед статуей, хотелось, чтобы Христос разорвал связывающие его веревки и пошел разгонять палачей“ . . .

Рассказ, о котором говорится в начале отрывка, был продиктован И. С. Тургеневым во время его предсмертной болезни П. Виардо. Впервые обнародован под заглавием „Une fin“ („Конец“) в „La Nouvelle Revue“ t. 38, livr. 3, 1-er Février 1886. Несколько ранее, в первом номере „Нивы“ за 1886 год, Д. В. Григорович дал русский перевод рассказа. Оригинал и перевод Григоровича воспроизведены М. Гершензоном в 3-м томе „Русских Пропилеев“ (М. 1916).

М. П. ДРАГОМАНОВ

ВОСПОМИНАНИЯ О ЗНАКОМСТВЕ С И. С. ТУРГЕНЕВЫМ

Михаил Петрович Драгоманов (1841—1895) — историк и фольклорист, защитник идей украинской автономии и федералистического строя для России, основатель социалистической литературы на украинском языке. Осенью 1875 г. он был отстранен правительством от преподавания в Киевском университете и в следующем, 1876 г., эмигрировал за границу. Жил преимущественно в Женеве. Его воспоминания о Тургеневе, приложенные к изданию „Письма К. Д. Кавелина и И. С. Тургенева к А. И. Герцену, с объяснительными примечаниями М. Драгоманова. Женева, 1892“ (отдельною брошюрой перепечатаны в Казани в 1906 г.), касаются преимущественно одного эпизода из жизни писателя — его выступлений на литературном конгрессе в Париже в 1878 г., но попутно рисуют отношение Тургенева к русским эмигрантам и заключают в себе такие сведения, каких нет у других мемуаристов.

Мое знакомство с И. С. Тургеневым не было ни продолжительным, ни близким, но мне посчастливилось наблюдать его с тех сторон, с которых он менее известен, а потому я считаю своею обязанностью внести и свою долю в публичную память об этом замечательном человеке.

Заочное знакомство мое с И. С. началось в 1873 г., когда один его приятель предложил мне заняться разбором для печати бумаг умершего перед тем дяди И. С-ча, Николая Ивановича Тургенева, в его доме в Буживале, подле Парижа, по соседству с домом, где проживал и И. С. Я, который жил тогда в Италии и собирался ехать во Францию, должен

был списаться по этому делу с И. С. Но так как я должен был скоро ехать в Россию, то мне не пришлось воспользоваться этим предложением, о котором теперь говорю между прочим и для того, чтоб напомнить, что с тех пор ничего не слышно о разборе и публикации бумаг Н. И. Тургенева, которые, конечно, должны заключать в себе не мало интересного [1].

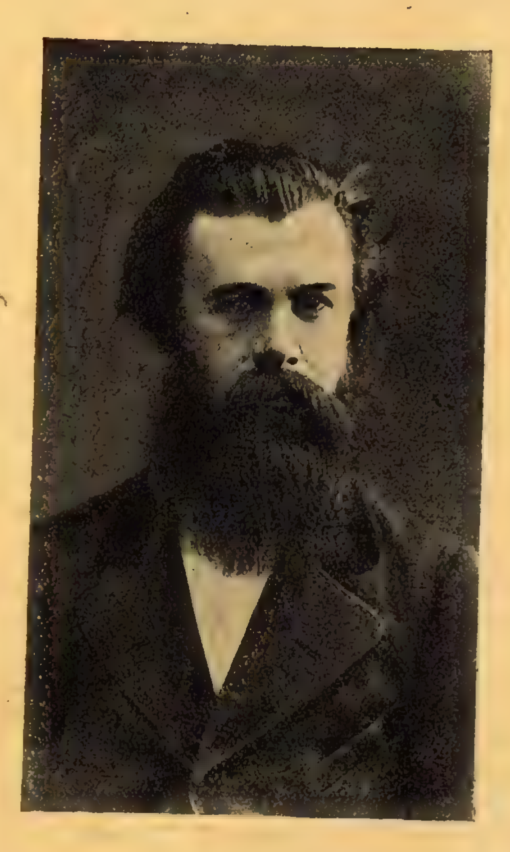
Я почитал в И. С. знаменитого русского писателя и приятеля украинской литературы: переводчика рассказов Марка Вовчка [2], автора воспоминаний о Шевченке [3], напечатанных при пражском издании Кобзаря, внушителя французской статьи о Шевченке г. Эмиля Дюрана [4]

[1] Николай Иванович Тургенев (1789—1871)—политический деятель, ученый и публицист. Был близок к декабристам. В 1824 году уехал за границу для поправления здоровья, не явился по вызову следственной комиссии по делу декабристов и был заочно приговорен к смертной казни. Только в 1857 г. получил возможность возвратиться в Россию. Жил постоянно за границей, большей частью в своей вилле Vert Bois в Буживале, близ Парижа. Указание на родство И. С. Тургенева с Н. И. неправильно — они были только однофамильцами. Начало личного знакомства И. С. Тургенева с Н. И. Тургеневым и его семьей относится, повидимому, к 1858 г. В 12-й книжке „Вестник Европы" за 1871 г. И. С. Тургенев поместил некролог „Николай Иванович Тургенев". Письма И. С. Тургенева к Н. И. Тургеневу, его жене и детям опубликованы А. А. Фоминым в сборнике „Тургенев и его время", 1923. Архив Н. И. Тургенева и его братьев издается Академией Наук СССР.

[2] Марко-Вовчек — псевдоним писательницы Марии Александровны Маркович (1834 — 1907). Тургеневский перевод сборника рассказов Марко-Вовчка „Народнія оповидання" вышел в С. Петербурге в 1859 г. Обстоятельства личного знакомства И. С. Тургенева с М. А. Маркович изложены в статье Ю. Никольского „Тургенев и писатели Украины", „Русская Мысль" 1914 г., № 7. Письма Тургенева к Марко-Вовчку напечатаны в журнале „Минувшие Годы" 1908, № 8.

[3] Воспоминания Тургенева о Шевченко, написанные им в 1875 г., были первоначально напечатаны под заглавием „Споминки про Шевченка" в пражском издании „Кобзаря" (1876 г.) и воспроизведены в III томе „Русских Пропилеев" (М. 1916).

[4] Эмиль Дюран-Гревиль (1838—1900) — французский писатель, сотрудник газеты „Journal de Saint-Petersbourg", переводчик Тургенева и популяризатор русской литературы во Франции. Его статья о Шевченко напечатана в „Revue des deux Mondes" за 1876 г. Известно письмо Тургенева от 9 апреля (28 марта) 1877 г., в котором он рекомендует Дюрана Ф. М. Достоевскому.



М. П. Драгоманов

в „La Revue des deux Mondes“ и т. п. Поэтому, после моей ему рекомендации по делу о бумагах Н. И. Т., я считал долгом вежливости посылать ему оттиски моих журнальных статей по украинскому вопросу и свои издания украинских народных песен и сказок. В 1876 г. я послал ему из Вены повести Федьковича [1], который представляет для Карпатской Руси то же самое, что М. Вовчок для российской Украины, — с моим предисловием (писанным по-украински) о галицко-русской литературе, в котором я делаю, между прочим, характеристику двух течений в ней: старого, неправильно принимаемого в России за общерусское, и нового, украйнофильского, или народного.

Ответом на эту посылку было первое письмо ко мне И. С., напечатанное ниже.

Вскоре за тем я переехал в Швейцарию, где обстоятельства (приготовления к войне с турками, потом война, политические процессы в России и т. п.) заставляли меня несколько раз печатать брошюры и статейки, в которых я проводил мысль о политической свободе, как о первой необходимости для России. Писания эти я отправлял И. С. в Париж, и к ним-то относится выражение согласия, которое находится в начале 2-го письма ко мне Тургенева.

Письмо это, впрочем, направлено было ко мне отчасти по недоразумению, так как И. С.

[1] Осип Федькович (1834 — 1887) — украинский поэт и беллетрист. М. Драгоманов издал „Повісті О. Федьковича. З переднім словом про гал.-р. письменство“ (Киев, 1876).

предположил, что это я послал ему напечатанный в Женеве сборник стихотворений „Из-за решетки“ [1]. На самом деле послал этот сборник Герман Александрович Лопатин, принимавший участие и в редакции предисловия к сборнику и, по крайней мере после, довольно частый посетитель Тургенева и, как говорили, даже отчасти служивший ему моделью для фигуры Нежданова [2]. (?) Отвечая на письмо Тургеневу, я ему сообщил, что я не имел никакого прикосновения к сборнику и предисловию, и в то же время передал, что в молодой женевской русской эмиграции я знаю людей, которые остались вовсе не недовольны „Новью“. Я указывал, впрочем, Тургеневу на некоторые неясности в романе, которых причину я усматривал в слишком большом внимании автора к „данным обстоятельствам“, т. е. к цензуре, а дальше позволил себе высказать, что такой писатель, как Тургенев, должен бы был вполне ясно и решительно занять положение, совершенно независимое и от молодых революционеров, и от правительства и для этого, если нужно, печататься за границей, без цензуры, как делали в свое время Вольтер, В. Гюго и т. п.

После этого я получил от И. С. третье письмо, в котором Тургенев заявил о том, что

[1] „Из-за решетки. Сборник стихотворений русских заключенников по политическим причинам в период 1873—77 гг., осужденных и ожидающих „суда“. Женева, 1877“. В большом предисловии к этому сборнику дана любопытная оценка творчества Тургенева и анализ его романа „Новь“.

[2] В набросках романа „Новь“ Тургенев связывал возникавший перед ним образ Нежданова с А. Ф. Онегиным — составителем известного собрания, посвященного пушкинской эпохе (хранится в настоящее время в Пушкинском Доме) — и с Д. И. Писаревым.

должен все еще „отказать себе в удовольствии“ ответа на мои проклятые вопросы, — но которое интересно для характеристики личной заботливости И. С. о своих приятелях, на этот раз о Рольстоне [1], авторе многих книг и статей о России и переводчике многих русских произведений на английский язык. По поводу болезни Рольстона, я, кажется, получил от И. С. еще одно письмо, которое, к сожалению, теперь я не могу найти у себя. Затем вскоре мне пришлось свидеться с Тургеневым, впервые, — на международном литературном конгрессе в Париже, во время выставки 1878 г. [2]

На литературный конгресс я сунулся, отчасти „не спросясь броду“. Прочитавши в газетах о том, что будет всемирный литературный конгресс под патронатом таких лиц, как В. Гюго и И. С. Тургенев, я решил воспользоваться этим случаем для протеста против возмутительного факта: почти всецелого запрещения в России украинской литературы, и не сомневался в сочувствии членов конгресса. В несколько дней была импровизована и напечатана моя брошюра La littérature oukraïnienne proscrite par le gouvernement russe [3]. Первые готовые экземпляры ее были посланы при соответственных письмах в бюро конгресса

[1] Виллиам Рольстон (1829—1889) — английский фольклорист, переводчик Тургенева, популяризатор русской литературы в Англии. Им изданы „The songs of the Russian people“ (1872) и „Russian Folktales“ (1873). Тургенев поддерживал с ним дружеские связи. В июне 1870 г. Рольстон провел около двух недель у Тургенева в с. Спасском. Его воспоминания о Тургеневе напечатаны в сборнике „Иностранная критика об И. С. Тургеневе“, изд. 2-е, Спб. 1909 г. Письма Тургенева к Рольстону — в сб. „Недра“, кн. 3, 1924.

[2] Конгресс состоялся в июне 1878 г. Тургенев был вице-президентом конгресса, президентом — В. Гюго.

[3] Украинская литература запрещенная русским правительством.

и специально В. Гюго и Тургеневу, — а затем я помчался в Париж с сундуком, наполненным экземплярами как этой брошюры моей, так и русских и украинских моих изданий. На самой швейцарско-французской границе моему оптимизму нанесен был первый удар: французские чиновники объявили мне, что не могут пропустить без цензурного пересмотра моих книг, и едва согласились наложить на сундук пломбы, с тем чтоб он был осмотрен в Париже. А в Париже оказалось, что сундук мой должен ехать в Берси,—при чем оказалось, что момент моего приезда было утро воскресения, — так что сундук мой должен был ждать в Берси до понедельника. К вящшей моей беде, в сундуке были не только экземпляры брошюры моей, которые я рассчитывал раздать в тот же день членам конгресса, во время торжественного сеанса, но и мое белье и парадное платье. По дороге, в Дижоне, я прочел в газетах, что уже состоялось прелиминарное заседание конгресса, на котором решено было поставить главною его задачею выработку проекта международного закона об охране авторской литературной собственности даже и от переводчиков и склонение правительств всех стран к принятию этого проекта. Я почувствовал, что мой протест не на руку конгрессу. Но назад итти было уже поздно, а потому я решил выпить до конца чашу, какую судьба пошлет мне, не огорчаясь, если в ней окажется кисловатенькая микстурка.

Оставшись в Париже без брошюр и без редингота, я, кой как почистившись и купивши

белье, успел добыть в бюро конгресса билет на вход в театр Chatelet, где должно было быть торжественное открытие конгресса речами В. Гюго, Тургенева, Ж. Симона [1] и пр. и поместился, по возможности, в тени, желая вообще держаться в роли зрителя, пока я не добуду экземпляров моей брошюры. Но в первую же четверть часа меня окликнул знакомый русский литератор, потом другой — и объявили мне, что Тургенев обо мне спрашивает и просил их разыскать меня. Но вот на сцене театра появился учредительный комитет конгресса, среди членов которого не трудно было мне узнать знаменитую фигуру И. С. Тургенева. О речах французов в этом заседании я говорить не буду. Упомяну только о речи В. Гюго, которая представляла гимн парижскому универсализму и оканчивалась намеком на необходимость амнистии. Последнее принято было публикой довольно холодно: всего три-четыре голоса крикнуло: vive l'amnistie! [2] и это были иностранцы. Видно было, что с В. Гюго установился на конгрессе такой modus vivendi [3]: великий муж был нужен для освящения его именем коммерческих видов конгресса, и ему оказывались божеские почести и предоставлено было право заявления его личных взглядов, но последних никто не думал поддерживать. Да впрочем, кроме этого намека на амнистию в парадном заседании,

[1] Жюль Симон (1814—1896) — французский политический деятель и философ.

[2] „Да здравствует амнистия" — амнистия для ссыльных коммунаров.

[3] Порядок.

В. Гюго никаких радикальных заявлений больше не делал, — а только принимал божеские почести и прикладывал свою олимпийскую печать к резолюциям конгресса.

Тургенев говорил, помнится, сейчас после В. Гюго. Очевидно, публичный оратор из нашего романиста был плохой: довольно сконфуженная манера, какой-то пискливый голос, слабый, особенно для его фигуры, да и содержание посредственное. В начале речи стояло даже совсем странное признание оратором своей незначительности, с заявлением, что оратор „даже не имеет большого чина“ (так и сказано было: tchine). Больше всего говорил Тургенев о значении французской литературы для русских, начиная от „века Мольера“, которого пьесу Les Précieuses ridicules перевела для домашнего театра царевна София („Драгия смеянные“) и до „века В. Гюго“ [1].

Русская печать славянофильско - шовинистского направления порядком разбранила Тургенева за эту речь, — да и тотчас после заседания, в буфете театра Chatelet, куда повели меня русские знакомые для представления Тургеневу, некоторые из русских литераторов заметили ему, что он слишком уж много авансов дал французам. — „Да ведь они другого языка не понимают, — оправдывался Тургенев, — и никаких иностранных литератур не ценят и не знают“ — тут же рассказал анекдот о В. Гюго, уже известный в русской печати, о том, как

[1] Речь Тургенева на конгрессе была первоначально напечатана в газете „Le Temps“ juin, 19 (перевод ее появился в „Современных Известиях“ 1878 г., № 161). Воспроизведена в III томе „Русских Пропилеев“.

В. Гюго в разговоре с ним смешал драмы Шиллера и Гете.

Относительно моего рапорта конгрессу об украинской литературе у меня с Тургеневым установилось такое соглашение: завтра спозаранку я отправлюсь в Берси, получу свой сундук и к 11 часам привезу свои брошюры Тургеневу, — он раздаст их членам конгресса в послеобеденном заседании, а потом мы выберем день, когда Тургенев сделает доклад о моей брошюре, я скажу несколько слов, и, смотря по обстоятельствам, предложена будет резолюция. Надежд на большой успех и Тургенев не имел и заметил мне, что иностранцев на конгрессе мало, а большая часть членов — французы более или менее коммерческого направления, при чем молодые романисты, как Доде, Золя и др., отсутствуют.

На другой день я в 8 часов был уже в Берси на таможне, но оказалось, что не только книги, но и платье мое получить не так легко. О книгах чиновники, собравшиеся едва после 9 часов, сказали, что они должны итти на цензуру в министерство внутренних дел, а платье из сундука не хотели выдать, так как регламент запрещает разделять коли [1]. Пробившись с 1½ часа, переговаривая с чиновниками до шефа включительно, я едва после 11 часов оказался в обладании моим платьем и бельем, — и, конечно, к Тургеневу не мог и думать ехать. Нашел я его после завтрака в зале заседаний конгресса и рассказал свои невзгоды. Решено было отложить доклад о брошюре до получе-

[1] Багаж, вещи.

ния ее из министерства вн. дел, а пока я и Тургенев раздавали более симпатичным членам конгресса то небольшое количество экземпляров брошюры, которое я вытребовал из Женевы sous bandes. Вообще же к конгрессу я был совершенно равнодушен и ходил в него редко, а Тургенев ясно иронизировал над ним в разговорах с русскими, которых было, впрочем, очень немного. Тем не менее, формально Тургенев был довольно занят конгрессом, в заседаниях которого часто президировал. Исполнял президентские обязанности Тургенев плохо: он не показывал никакой энергии, обычной у французских президентов, не знал даже формальностей и во всем слушался секретаря, одного из французских бульварных романистов [1]. Секретарь и вообще бюро обращались с Тургеневым даже с некоторым нетерпением,— но знаменитый русский романист был нужен конгрессу как имя для придания международного характера конгрессу, в сущности французскому и состоявшему, по большей части, из второстепенностей, романистов и драматургов, — а в научной литературе из компиляторов - популяризаторов. Но если манера обращения некоторых французских членов конгресса с Тургеневым и общее положение последнего на конгрессе могли досадовать русских, то обращение с Тургеневым одного французского литератора с славянским именем [2], можно сказать шестистепенного, и к ко-

[1] Секретарем конгресса был Пьер Закона.

[2] Речь идет, вероятно, о кн. Любомирском. Отдельно изданы им книги „Souvenirs d'un page du tzar Nicolas" (1869) и „Scènes de la vie militaire en Russie" (1873).

торому французы относятся с иронией,—было смешно, по крайней мере, для многих. Он постоянно ставил свое имя рядом с именем Тургенева, жалуясь на то, как нарушаются его авторские права, а в антрактах между заседаниями старался пройтись по зале под ручку с Тургеневым, который совершал этот марш с необыкновенным добродушием.

Раз прихожу в залу конгресса во время антракта. Тургенев с первых слов жалуется мне на одного русского писателя [1]: „вообразите — не дальше как с $^1/_4$ часа назад совсем распушил меня, как мальчишку: вы, говорит, не умеете держать себя, позволяете третировать себя свысока всякой дряни, панибратствуете с *** — и пошел, и пошел!“ — Да что вы ко мне пристали, говорю, с ***? Какой он мне приятель?! Да можете его... (тут Тургенев сказал довольно циничный глагол).

Одним утром я приехал в заседание, в котором президировал Тургенев. В зале встретился я с Мавро-Маки (Mauro-Machi) [2]. Этот итальянец, бывший гарибальдийцем, один из вицепрезидентов конгресса, прочитал мою брошюру, проникся сочувствием к нашему украинскому делу и оказывал мне всяческое внимание и покровительство, хватая меня во время антрактов под руку и представляя меня более известным членам конгресса и рассказывая, по возможности, содержание моего протеста.

[1] Из русских писателей на конгрессе, кроме Тургенева и Драгоманова, были П. Д. Боборыкин, Я. П. Полонский, М. М. Ковалевский, В. В. Чуйко и Б. Чивилев (корреспондент одесской газеты „Правда“).

[2] Мавро-Маки (1818—1880) — итальянский публицист.

— Тургенев говорил о вашей брошюре, — сказал мне Мавро-Маки. — Как говорил? — да ведь мы условились, что доклад будет, когда я буду в состоянии раздать членам конгресса брошюру! — говорю я Мавро-Маки, которому была известна история моего сундука. — Да, говорил. Рассказал содержание ее, добавил от себя сожаление по поводу мер русского правительства, — но никакой резолюции не предложил. Тогда я предложил воспроизвести вашу брошюру в полных протоколах конгресса.

Мне оставалось только выразить моему покровителю mille grazie [1], а потом, выручивши, наконец, и то как-то чудом, свой сундук из канцелярии макмагонского министерства, раздать мою брошюру членам конгресса, преимущественно иностранцам, и считать, что я еще сравнительно хорошо вышел из не совсем ловкого положения.

Между тем нужно было приготовлять общие резолюции конгресса. Из дебатов выяснились два направления: французское, которое стремилось как можно более строго и на дольший срок оградить права собственности авторов на литературные произведения, их переделку, перевод, представления и т. п., и иностранное, особенно меньших народов и более отсталых, которое хотело наибольшего простора, по крайней мере, для переводов. Решено было разбиться конгрессу на национальные группы и, выработав в них предложения, представить их на баллотировку общего собрания, где, конечно, французы должны были подавить ино-

[1] Тысячу благодарностей.

странцев огромным большинством. Славяне (несколько поляков, один-два чеха, меньше десятка русских) должны были собраться в квартире Тургенева, rue Douai, 50. В назначенный час я застал там, кроме членов конгресса, и Г. Лопатина, который много занимался переводами, преимущественно с английского. Язык для всеславянских разговоров был принят французский, конечно, ради поляков. Мы все стояли за полную свободу переводов, изъявляя готовность ограждения авторских прав на оригиналы в театрах, на переделки (adaptation) и т. п. Тургенев, соглашаясь с нами в принципах, говорил, что французы не согласятся и на такую уступку, а потому предлагал уступить им больше, признав право автора на дозволение перевода в течение 2—5 лет, смотря по категориям произведений. Решили принять проект резолюции Тургенева, при чем некоторые члены заявили, что сохраняют за собою право в общем собрании вотировать и за более широкую свободу переводов.

Настало это общее собрание. Президировал сначала Тургенев, а потом В. Гюго. Тургенев доложил свой проект резолюции о переводах. Французы накинулись на него с явной злостью. Один из романцев, кажется, португалец или румын, заметил в поддержку предложения Тургенева, что есть страны, где литература пока часто не дает почти никакого барыша, а даже требует пожертвования, а потому писатели из богатых народов должны довольствоваться рекламой в пользу их произведений в таких странах. — Пусть мне заплатят хоть два су, — за-

кричал один француз, — да заплатят, по крайней мере, признают мое право! — Это говорил компилятор, который сам или, лучше сказать, руками своих секретарей не стеснялся загребать по 5—6 страниц чужой литературной собственности в свои этренные книгопечения [1]. В собрании раздались аплодисменты.

Тургенев, защищая свое предложение, сказал, между прочим, и такой аргумент: „в России переводами занимается главным образом учащаяся молодежь. Правительство, которое ее не любит, пожалуй, будет радо признать права иностранных авторов даже над переводами, чтоб лишить эту молодежь заработка“.

На это один из французов заметил с злобной улыбкой: „не можем же мы отказаться от наших прав, чтобы способствовать прокормлению расы нигилистов, которую г. Тургенев так удивительно рисует нам в своих превосходных романах“.

Когда дошло до вота, то громадное большинство французов провалило предложение Тургенева против каких-нибудь 20—30 голосов, поданных за него почти исключительно иностранцами. Один французский бульварный романист, принадлежавший к бюро, предложил, чтоб в протоколе было отмечено, *какие нации вотировали против принципа литературной собственности*. Это предложение было уже совсем не похоже на пресловутую французскую вежливость. В. Гюго взглянул искоса на автора предложения с тем выражением наблюдения, более чем укора, с каким

[1] Составленные из выдержек из чужих работ.

смотрят на неуместные выходки учеников очень респектабельные гувернеры, — и предложение не имело последствий.

Вслед за освящением права авторской собственности вотировано было предложение нескольких французских журналистов о том, чтоб печать везде была избавлена от административного произвола, а подчинена была только суду. Это был вопрос тоже в сущности литературной собственности, так как полицейский произвол, напр. закрывающий газету, уничтожал собственность, лишал заработка целую массу людей и т. п. Но предложение это встретило возражение со стороны французов же, при чем произошла довольно живая перепалка, — почти перебранка, — между бонапартистами и макмагонцами, составлявшими большинство, и немногими радикальными республиканцами. При подаче голосов почти все иностранцы подали голос за предложение последних, но французы огромным большинством провалили его, как неудобное в виду того, как говорили некоторые, что правительства, обидевшись резолюцией, ограничивающею их власть над печатью, откажут в своей поддержке и проекту охраны авторской собственности, — которая, охрана, и есть главная цель конгресса. При виде этого разделения голосов можно было предложить внести в протокол: „какая нация вотировала против свободы печати“, но никто из иностранцев не сделал такого предложения. Тургенев не поднял руки ни против, ни за по данному вопросу.

Конгресс окончился. Оставался только заключительный банкет. Тургенев сказал нам, что он

не явится на банкет. Конгресс, видимо, надоел ему, — да и на банкете пришлось бы опять говорить речь, а на это Тургенев, видимо, был не мастер. На все наши упрашивания Тургенев ответил последним резоном: „я обещал дамам провожать их в этот вечер в Folies Bergères“.

Кроме встреч по делу конгресса, я имел еще два свидания с Тургеневым. Раз он пригласил меня к себе в rue Douai. — „Приходите, — потолкуем“, — сказал он. Когда я вошел в назначенный час в его комнату, — он сказал мне с видимой радостью: „а знаете, — Вера Засулич [1] уже за границей“. — Разговор пошел главным образом о „Нови“, при чем Тургенев рассказал, что смысл романа пострадал много от выпуска цензурою двух сцен: одной, где изложен разговор Меркулова с губернатором после ареста, а другой (целая глава), в которой описано „хождение в народ“ Марианы [2]. Эта Мариана, как женщина, оказалась более способною подойти к будничной жизни крестьян, чем переодетые студенты, — и возбудила к себе более симпатии и доверия мужиков. Правда,

[1] В. И. Засулич, известная революционерка, стрелявшая 24 января 1878 г. в петербургского градоначальника Трепова, эмигрировала после ее оправдания судом присяжных 31 марта. О ее благополучном прибытии в Берлин извещал Тургенева П. Лавров в письме от 11 июня 1878 г.

[2] Сообщение Драгоманова не соответствует действительности. Под давлением цензуры в тексте романа „Новь“ пришлось сделать лишь незначительные изменения. „Разговора Меркулова с губернатором“ и „хождения в народ Марианы“ не было уже в рукописи романа, приготовленного к печати, нет намека на эти сцены и в двух предварительных планах романа. Цензурная история „Нови“ прослежена Ю. Г. Оксманом в его книге „И. С. Тургенев. Исследования и материалы“. Вып. I. Одесса, 1921. См. также комментарии Н. К. Пиксанова к изданию „И. С. Тургенев. Новь. Редакция, введение, комментарии Н. К. Пиксанова“. Гиз, 1928. („Русские и мировые классики“).

они сразу догадались, что это барышня, однако, толковали с нею по душе, — и один старик сказал ей: „это все правда, барышня, что ты говоришь о том, как нас обижают баре; мы это и сами знаем, да ты научи, как нам избавиться от всего этого“ и т. д.

По поводу этого пропуска Тургенев рассказал такую комбинацию: — я, говорил он, поставил Стасюлевичу условие, чтоб роман мой, несмотря на длину его, был напечатан в одной книжке „Вестника Европы“, что несколько тяготило Стасюлевича. Когда книжка была представлена в цензуру, то цензора нашли сомнительными два места в моем романе и внутреннее обозрение и предложили одно что-нибудь выбросить: или мои сцены, или обозрение. Узнав об этом, я согласился на первое. Иначе поступить мне было неловко перед Стасюлевичем.

На мои вопросы о том, почему же в иностранных переводах романа не пополнены эти пропуски, и на замечание о том, что ни один европейский писатель его славы не позволит цензуре так обращаться с его романами, Тургенев ответил: — Вы хотите от меня борьбы, — а я для нее стар и не чувствую силы для нее, не вижу поддержки. Ведь мне пришлось бы или стать эмигрантом, или бы меня арестовали в России. — Ну, арестовать вас! — позволил себе заметить я, — арестовать Ивана Сергеевича Тургенева! Это немножко сильно даже и для русского правительства. Посмотрели бы мы, какими буквами было бы напечатано в парижских, напр., газетах: arrestation de M. Ivan Tourguéneff!

— А вы думаете, им бы было интересно это? — ответил, улыбаясь, Тургенев, — думаете, они приняли бы к сердцу это дело?! Да они ничем не интересуются, кроме себя, и ничего не знают и не понимают в наших, русских делах.

Замечательно было у этого отъявленного „западника“ постоянное скептическое отношение к западным европейцам, особенно к французам, среди которых он жил.

— Да вот вам образец, как они нас понимают, — продолжал Тургенев. На-днях я встретил NN (он назвал имя одного известного французского историка), он передал мне свои впечатления от моей „Нови“. — „Я, говорит, совсем дезориентирован насчет ваших нигилистов. Я столько слышал о них дурного, — что они отрицают собственность, семью, мораль... А в ваших романах нигилисты — единственные честные люди. Особенно поразило меня их целомудрие. Ведь ваши Мариана и Нежданов даже не поцеловались друг с другом ни разу, хотя поселились в уединении рядом. У нас, французов, это вещь невозможная. И отчего это у вас происходит? От холодности темперамента?“...

В это свидание Тургенев завел со мной разговор и об Украйне и выражал сожаление, что ему не удалось ближе познакомиться с этой страной и населением ее, редкие встречи с которым возбудили в нем горячие симпатии; памятником этих симпатий остаются в его романах: Маша в повести „Затишье“ и Михалевич в „Дворянском гнезде“. — „У малороссов, —

говорил Тургенев, — есть особый вид идеализма и твердости, крайне симпатичный по сравнению с утилитаризмом или с распущенностью великороссийскою. Я вот и из журналов наших потому люблю больше всех „Вестник Европы“, что в редакции его мало великоруссов, и в нем наименее нашей великороссийской распущенности: он берет вещи не широко, но отчетливо и уже стоит на том, что говорит“.

Разговор наш был прерван каким-то новым визитом.

Через несколько времени я получил записку от Тургенева, в которой он приглашал меня завтракать в один ресторан (он собственно жил в то время в Буживале и только наезжал в Париж). Оказалось, что, кроме меня, приглашены гг. Лавров (бывший редактор „Вперед“) и Лопатин. Тургенев, очевидно, подбирал однородную компанию, — но несколько ошибся. Разговор за завтраком вышел довольно скучный, как бывает в русских обществах, которого члены принадлежат к разным „кружкам“. У меня в памяти ничего не осталось из банальностей, которые мне тогда пришлось слышать и говорить.

Я упоминаю об этом завтраке, только как об одном из доказательств, если не близости, то хорошего знакомства Тургенева с г. Лавровым, от которого немного спустя Тургенев отрекся публично [1]. Отречение это было одним из многих проявлений слабости характера

[1] Имеется в виду письмо Тургенева в редакцию французской газеты „Gaulois“, написанное им в феврале 1882 г. Подробнее об этом эпизоде см. в воспоминаниях П. Лаврова, стр. 71—72.

у Тургенева, которая доходила до вещей поистине возмутительных. Если позволено мне высказаться о впечатлении, какое на меня лично производил Тургенев, то я скажу, что не видал я человека такой широты и свободы мыслей, такой разнородности интересов; с этих сторон у Тургенева была поистине „богоравная“ натура, как сказал бы древний грек. Необыкновенна была и доброта Тургенева, который вечно устраивал чьи-нибудь дела, часто людей, не имевших на то никакого права. Но там, где надо было показать какую-нибудь твердость характера, смелость, перед политической ли властью или перед первым, кто просто накричит на Тургенева или посмеется над человеком, с которым, повидимому, Ив. Сергеевич находится в самых приятельских отношениях, там богоравный Тургенев пасовал и отрекался от мнений, от отношений. Мне довелось видеть эти черты характера Тургенева, и потому я чувствовал к нему то „обожание“, близкое к институтскому, то почти физическое отвращение.

Последнее чувство сильно развилось во мне после вестей о поведении Тургенева во время поездки его в Россию в 1879 г., особенно после напечатания письма его к М. М. Стасюлевичу, где Тургенев объявил себя „либералом старого покроя, ожидающим реформ только свыше“ [1], — при чем совершенно в противность истине прибавил к слову либерал „в английском, династическом смысле“. Печатая после того особой брошюрой „Письмо Белин-

[1] Имеется в виду „Ответ иногороднему обывателю“, см. на стр. 56—58.

ского к Гоголю", я коснулся и этого письма Тургенева, указав его несообразности с историей развития идей его товарищей по 40-м годам, как, напр., Белинский, и с историей английского либерализма. Брошюру эту я послал Тургеневу, но никакого от него письма не получил. Скоро затем последовало публичное в „Le Temps" отречение Тургенева от близкого знакомства с г. Лавровым *. Вслед затем мне случилось быть в Париже. Один общий знакомый из эмигрантов передал мне, что виделся на-днях с Тургеневым в Буживале и что тот говорил с ним обо мне, по поводу книжки моей „Историческая Польша и великорусская демократия" и осведомлялся обо мне. Я попросил знакомого передать И. С. мой поклон, но поехать к нему в Буживаль не решился.

Год спустя получил от NN, одного моего близкого приятеля и хорошего знакомого Тургенева, тогда уже сильно больного, письмо, в котором NN, от имени Тургенева, просит меня указать переводы на более распространенные языки скандинавских и славянских народных легенд и песен. Я послал небольшой список,

* Отречение это произошло при следующих обстоятельствах: в 1882 г. т. наз. „Исполнительный Комитет Народной Воли" в Петербурге поручил г-же Засулич и г. Лаврову открыть за границей „Красный Крест Нар. Воли" для собирания пособий „в пользу жертв политич. деспотизма русского правительства без различия партий". Идея дела была хороша, но постановка его портила все, так как „Кр. Кр. Нар. Воли" в Западной Европе являлся явным отделением тайного общества в России, да еще занятого главным образом политическими убийствами. Никакое европейское правительство не могло потерпеть такого отделения, — и французское правительство сейчас же изгнало г. Лаврова, хотя и временно, с тем, что потом, оставив „Кр. Крест Н. В.", он может возвратиться в Париж. „Le Temps" назвал в это время г. Лаврова другом Тургенева. Тургенев поспешил напечатать письмо, в котором заявлял, что встречался с г. Лавровым еще в России, в Обществе пособия литераторам, а после никаких интимных сношений с ним не имел. (Примечание Драгоманова.)

но скоро затем мне пришлось быть в Париже. При случае спрашиваю NN, — зачем Тургеневу понадобились те легенды и песни? — и узнаю, что нужны они собственно для одного француза музыканта, близкого человека к Тургеневу, — как источник сюжета для оратории или для оперы. Смеясь, я сказал, что я имею в мыслях целый сюжет для оперы, построенный из песен украинских, и что я его сообщил одному приятелю музыканту-украинцу и знакомому украинскому писателю, но последний изуродовал сюжет, а первый не написал на него оперы, — так я рад был бы, если б французы выполнили план мой. Меня заставили рассказать этот план, и он понравился. Стали уверять, что он понравится и Тургеневу, и решили сообщить ему об этом деле. Через несколько времени Тургенев пригласил меня и двух посредников (в том числе Нат. Ал. Герцен) к себе в Буживаль.

Мы приехали и застали И. С. в его домике-флигельке в парке г-жи Виардо. И. С., хотя и одетый, лежал на кровати. Он был страшно худ, отчего, впрочем, его божественные глаза казались еще большими и производили чарующее впечатление. Но при худобе И. С. был и страшно слаб, говорил тихим голосом и скоро утомлялся от разговора. После первых приветствий, он обратился ко мне со словами: „Что у нас делается в России?“ — и стал жаловаться на управление гр. Дм. А. Толстого [1]. План оперы, который Тургенев меня заставил расска-

[1] Д. А. Толстой — министр внутренних дел с 1882 года — один из злейших реакционеров царствования Александра III.

зать, ему очень понравился, и он просил меня приехать к нему в другой раз, чтоб сойтись вместе с французом музыкантом и окончательно установить этот план. Но довольно длинный и живой разговор утомил Тургенева, и мы должны были выйти, а тем часом наступило время для разных медицинских манипуляций над больным, и мы уехали в Париж. На другой или третий день я получил ниже напечатанное французское письмо, писанное дочерью г-жи Виардо и только подписанное дрожащею рукою И. С., а вслед затем телеграмму. Я опять поехал в Буживаль, где и застал музыканта, приятеля Тургенева [1]. Тема для оперы понравилась и ему, — я обещал прислать ему из Женевы переводы необходимых украинских песен, а он обещал взяться за работу. Свидание с И. С. было на этот раз чрезвычайно короткое. Нам сказали, что у него перед тем был г. Лавров и что И. С. очень утомлен. Я знал от NN, с которым ездил в Буживаль, что Тургенев через него просил г. Лаврова приехать к нему, не сердясь за письмо, которое Тургенев напечатал год тому назад в „Le Temps“. Я совершенно уверен, что Тургенев не разделял вполне идей г. Лаврова никогда, а особенно в тогдашний, „народновольческий“, их период, но все-таки И. С., очевидно, стыдился своего письма в „Le Temps“ о г. Лаврове, так как долговременное знакомство Тургенева с г. Лавровым было далеко не шапочным *. По дороге в Париж

[1] Дюверпуа — зятя Виардо, композитора и профессора консерватории.

* Впрочем, этот вопрос всего лучше был бы разъяснен напечатанием писем Тургенева к г. Лаврову. (Примечание Драгоманова.)

приятель мой (человек умеренно-либеральных мыслей и не эмигрант) рассказал мне, что раз, когда он сидел ночью у кровати Тургенева, у которого болезнь, было, очень обострилась, то слышал, как Тургенев, который часто сводил речь на революционное движение в России, бормотал в забытьи: „а все-таки „террористы" великие люди".

Было бы слишком поспешно выводить отсюда, что Тургенев вполне сочувствовал тогдашним русским „террористам", но и эта подробность в связи с другими, рассказанными нами, а также с духом всех напечатанных ниже писем Тургенева, показывает несомненно одно, — а именно, что И. С. был в идеях своих решительным противником абсолютизма в России.

Немного времени спустя я получил от своего спутника в поездках в Буживаль телеграмму о смерти Тургенева. Я попросил его возложить на гроб великого покойника венок от имени „украинской печати". Сделал я это, между прочим, потому, что некоторые украинцы, вспоминая Пигасова, повторяют печатно глупости о том, будто бы Тургенев был не расположен к развитию украинской литературы.

ПИСЬМА И. С. ТУРГЕНЕВА

К М. П. ДРАГОМАНОВУ *

Письмо I

Париж. 50, rue de Douai. Вторник 21/9 Марта 76.

Милостивый государь,

Я получил в один день и Ваше письмо и повести г. Федьковича. Искренне благодарю Вас за столь лестный знак внимания. Я успел — и без большого затруднения — прочесть Ваше предисловие — и могу сказать, что разделяю вполне Ваш образ мыслей — в чем я впрочем не сомневался, зная Ваши прежние труды и Ваше направление. Как только я прочту повести г. Федьковича — я позволю себе выразить Вам, с полной откровенностью, мое мнение. Заранее чувствую, что тут только и бьется ключ живой воды ** — а все остальное — либо призрак, либо труп.

Примите уверение в совершенном уважении и преданности.

Ваш покорный слуга Ив. Тургенев.

* Подробным пояснением этих писем служит печатаемое воспоминание о знакомстве с Тургеневым (Примечание Драгоманова.)

** Дело идет о „народно-украинском“ направлении в галицко-русской литературе. (Примечание Драгоманова.)

Письмо II

50, rue de Douai, Paris. Середа, 19 Дек. 77.

Милостивый Государь,

Я давно собирался написать Вам, чтоб поблагодарить Вас за доставление мне Ваших изданий, цели и направлению которых я почти без исключения сочувствую. Не знаю, от Вас ли я получил последнюю посылку из Женевы, заключающую стихотворный сборник: „Из-за решетки“ и два объявления об издании „Общины“ [1] и от комитета „Общества пособия изгнанникам“ *, но пользуюсь случаем, чтоб высказать Вам некоторые мои мнения. — Что касается до „Общины“, то мне было бы весьма приятно получать это издание, хотя в объявлении ничего не сказано ни о способе подписки, ни о цене. Не могу не заметить, что самое это объявление, вероятно, написано не русским, или же русским, разучившимся писать на родном языке; — попадаются места, положительно непонятные (напр., стр. 6-ая, строка 14 сверху и друг.); — и все изложение очень спутано и темно. К объявлению от комитета не приложен устав; желательно было бы получить экземпляр.

Теперь два слова о сборнике. Не буду говорить о предисловии, талантливо и умно написанном: ограничусь только заявлением, что

[1] „Община“ — политический журнал, издававшийся в 1878 г. в Женеве группою народников-бакунистов. Вышло 9 номеров.

* Все три посылки были сделаны не мною. (Примечание Драгоманова.)

я не могу согласиться с мнением автора, будто бы мои труды „содействовали искажению образа нашего мученика правды ради“ *. При данных условиях, я мог сделать только то, что сделал — и, по видимому, результат не совпадает с выводами и заключениями моего критика. Что же касается до самого сборника — то я хорошо понимаю цель, с которой он был издан; он не может не подействовать сильно на людей сочувствующих: во всех этих стихотворениях столько правды, горькой, жизненной правды; — но должен сказать с сожалением: таланту в них нет и следа... Кое что похожее на талант мелькает в произведениях „Черного“; да и то навеяно Г. Гейне. Не без оригинального оборота два стихотворения на стр. 103—104, подписанные М. М. Но собственно говоря ни одного поэтического, сильного звука, ни одного из тех слов, которые „не могут умереть“... А обилие минорных (весьма впрочем понятных) тонов, на которое намекает сам издатель, в общем возбуждает чувство сострадания, жалости — скорей, чем негодования. Нет; поэт этой эпохи Русской народной жизни еще не пришел... хотя я не сомневаюсь, что он появится. Все это пока — лепет да плач.

Позвольте Вам привести небольшой пример. Я знаю стихотворение одного, далеко не гениального, старого поэта, в котором действительно поэтически схвачен один из многочис-

* Автор предисловия к сборнику „Из-за решетки“ (стихотворения заключенных по политическому процессу 193-х) говорил об изображении „русских социалистов-революционеров“ в романе „Новь“. (Примечание Драгоманова.)

ленных моментов узнической жизни, узнических чувств... а именно момент радости перед близким освобождением. Вот оно, это стихотворение — (оно принадлежит Я. П. Полонскому).*

1.

Густая крапива
Шумит под окном.
Плакучая ива
Повисла шатром.

2.

Веселые лодки
В дали голубой,
Железо решетки
Визжит под пилой.

3.

Бывалое горе
Заснуло в груди.
Свобода и море
Горят впереди!

4.

Прибавилось духа,
Исчезла тоска...
И слушает ухо,
И пилит рука!

Если я не ошибаюсь, ничего — по верности тона, по совпадению чувства с выражением — ничего подобного во всем сборнике нет. Всякий пострадавший, напр. имеет полное право проклинать „тиранов"; но если он делает это в стихах — то пусть его проклятие будет столь-же красиво, сколь и сильно — или пусть он проклинает прозой.

Вы, может быть, со всем этим не согласитесь; — но мне все таки было приятно завязать с Вами сношения; — я и прошу Вас верить в искренность моего уважения.

Ваш покорнейший слуга Ив. Тургенев.

* Тургенев ошибся: стихотворение это принадлежит А. А. Фету. (Примечание Драгоманова.)

Строки 3, 4 и 14 стихотворения А. Фета „Узник" процитированы Тургеневым неточно.

Письмо III

50, rue de Douai, Paris. Пятница, 1 Марта 78.

Милостивый Государь,

Я давно собирался отвечать на Ваше большое письмо и присланные брошюры; но все не мог выискать свободного времени — и теперь еще должен отложить это удовольствие до другого, впрочем не отдаленного дня. В прошлое Воскресенье я Вам писал несколько строк о довольно серьезной болезни нашего общего приятеля Рольстона, который еще на прошлой неделе должен был поехать к Вам в Женеву; но я имею причины предполагать, что мое письмо вовсе не было отправлено; и потому мне приходится, на всякий случай, уведомить Вас, что болезнь его (острый ревматизм), к сожалению, не ослабела с тех пор — и эпоху его выздоровления определить не возможно. Вероятно, эта болезнь заставит его изменить все его планы*. Он находится здесь в гостинице (Hôtel Byron, 20 rue Laffitte) — уход за ним хороший; приятели его посещают, старик отец прибыл к нему из Лондона; опасности нет — но он весьма слаб и не поднимается с постели. Жаль его бедного; все его путешествия ему не удаются.

Отлагаю нашу беседу до другого раза — а теперь прошу Вас принять уверение в искреннем моем уважении

Ив. Тургенев.

* Рольстон перед тем писал мне, что он хочет пожить в России в качестве домашнего учителя в какой-нибудь богатой и респектабельной семье. (Примечание Драгоманова.)

Письмо IV

Les Frênes-Chalet, le 29 Juin 1883

Mon cher Monsieur Dragomanof,

Je suis chargé par mon ami, Monsieur D., de vous faire savoir qu'il se met à votre disposition pour toutes les heures qu'il vous plaira à partir de Samedi.

Recevez mes meilleurs compliments [1].

Ivan Tourgueneff.

Только подпись сделана рукою Тургенева, который тогда был сильно болен и уже сам не мог много писать. После того я получил телеграмму от 3 июля:

Avez vous reçu ma lettre. Je vous attends demain [2].

Tourgueneff.

[1] Дорогой г. Драгоманов.

Мой друг, г. Д[ювернуа], поручил мне уведомить вас, что начиная с субботы, вы можете располагать им в любое время. Примите мои лучшие пожелания.

Подробнее этот эпизод рассказан в письме М. П. Драгоманова к Е. П. Косач от 7 октября 1883 г. (См. И. Гревс. М. П. Драгоманов о Тургеневе. „Былое" 1925, кн. 3.)

[2] Получили ли вы мое письмо. Ожидаю вас завтра.

М. О. АШКИНАЗИ

ТУРГЕНЕВ И ТЕРРОРИСТЫ

Кроме воспроизведенной в настоящем сборнике статьи М. О. Ашкинази, напечатанной впервые в 8-й книжке журнала „Минувшие Годы“ за 1908 г., известна более ранняя запись его воспоминаний об И. С. Тургеневе, в книге „Tourguéneff inconnu“ (Неизвестный Тургенев), изданной им в Париже в 1884 г. под псевдонимом Michel Delines. Русская версия воспоминаний Ашкинази более полна, кое в чем отличается и даже противоречит французской версии (отличия эти отмечены в подстрочных примечаниях). Во французских воспоминаниях имеется, однако, заключительная глава, отсутствующая в русской статье, в которой автор пытается формулировать отношение Тургенева к революционерам. Приводим ее в переводе:

„Мы достаточно ясно показали, что Тургенев не был нигилистом, что он никогда не стал бы помогать революционерам убить царя или взорвать Зимний дворец. Он не сочувствовал программе революционеров; его идеалом для России была конституционная монархия с царем, подобным королеве Виктории.

„Что же сближало его с революционерами? — Горячая любовь к человеческой мысли, в какой бы форме она ни проявлялась. Он был убежден, что „либералы старого покроя“, как он себя называл, должны помогать преследуемым и угнетенным высказать свои мысли...

„Тургенев никогда не был замешан ни в одном покушении, не участвовал ни в одном заговоре — всякое насилие было ему чуждо, и все же он был великим революционером. Такие люди, как он, опаснее, нежели это считают — они не приносят ущерба тиранам, но убивают тиранию“.

Эта несколько наивная заключительная главка воспоминаний Ашкинази, адресованная к иностранным почитателям автора „Нови“, не вносит большой ясности в вопрос об отношениях Тургенева к революции, но она

является характерным показателем отношений к нему французского читателя, наглядно комментируя замечание Тургенева, что в глазах французской полиции он — „самая матка нигилистов".

Михаил Осипович Ашкинази (1851—1914) — эмигрант, переводчик и публицист. До своего переселения в Париж в 1879 г. сотрудничал в „Новороссийском Телеграфе", в 80-х годах печатал статьи в „Неделе" и „Деле". Обосновавшись в Париже, посвятил себя ознакомлению западно-европейского читателя с русской литературой. Им были даны французские переводы Л. Толстого „Детство и отрочество" и отрывки „Войны и мира", Щедрина „За рубежом", Гончарова „Обрыв", Достоевского „Подросток" и отдельные произведения Гаршина и Лажечникова. М. Ашкинази опубликовал, частью под своим именем, частью под псевдонимом Michel Delines, ряд статей о русских писателях в иностранных изданиях („Siècle", „The Athenaeum", „Indépendance Belge" и др.). Часть этих работ была им объединена и выпущена отдельным изданием. Из книг М. Ашкинази, кроме романа „Les victimes du tsar" и названной уже работы о Тургеневе, можно указать еще роман „La chasse aux juifs" и сборники историко-культурных и критических статей: „La France jugée par la Russie", „L'Allemagne jugée par la Russie", „La terre dans le roman russe", „Nos amis les russes" и оригинальный труд „En Russie" (Bibliothèque universelle, 1885. Переведен на немецкий язык).

Г. В. Плеханов, в речи, посвященной памяти М. Ашкинази, характеризовал его следующими словами: „Он не был выдающимся представителем какого-нибудь определенного социально-политического направления. Делин не был выдающимся работником в той общественной деятельности, которая называется у нас культурной работой. Но в течение долгих лет он неутомимо трудился над ознакомлением Франции с лучшими созданиями русской литературы и русского искусства. В этой области его заслуги поистине очень велики, и за это ему должна сказать большое спасибо вся культурная Русь. Смею думать, что его новое отечество, Франция, тоже кое-что выиграло, ознакомившись благодаря ему со многими произведениями русского литературного и художественного творчества.

„Он горячо сочувствовал всякому прогрессивному движению в области науки, литературы, искусства и политики. Он был непримиримым врагом русского деспотизма, он горячо сочувствовал освободительному движению пролетариата“. („Группа „Освобождение Труда“, под ред. Л. Г. Дейча. Сборник 3-й. Гиз. 1925. Стр. 371—372.)

В начале 80-х годов вопрос о причинах террора очень живо волновал широкие круги в России и за границей. В настоящей заметке я имею в виду познакомить читателей с мнением Тургенева о причинах русского революционного террора и огласить сохраняющееся у меня письмо автора „Нови“, написанное вскоре после выстрела Веры Засулич и первого вооруженного сопротивления, оказанного жандармам Ковальским и его товарищами[1]. Но для того, чтобы содержание письма было вполне понятно и могло получить полную оценку, я должен рассказать, по какому поводу Тургенев счел нужным написать его.

Мои сношения с автором „Отцов и детей“ начались в 1879 году в Париже, куда я прибыл из Одессы после казни И. М. Ковальского. На Западе движение против абсолютизма произвело крупное впечатление во всех слоях общества. Кроме кружка роялистов да небольшого числа бонапартистов, у русского правительства не было ни одного верного друга. В Европе не только социалисты, не только пролетариат, но вся буржуазия, как

[1] Первое в истории русского революционного движения вооруженное сопротивление пришедшим с обыском жандармам было оказано вечером 30 января 1878 г. одесским кружком Ковальского. Военный суд, состоявшийся летом того же года, приговорил Ковальского к расстрелу, его товарищей — к каторжным работам на различные сроки.

мелкая, так и крупная, от души ненавидела наш приказный строй, с большим интересом отнеслась и к начатой русскими террористами атаке против режима. Не было той газеты, которая не считала бы нужным посвятить „нигилистам“ ряд статей или напечатать фельетонный роман из жизни русских революционеров. Газета „Temps“ напечатала немедленно Les Russes vierges[1], перевод Тургеневской „Нови“, но вообще во французской беллетристике появлялись самые несуразные романы, вроде „Ivan le Nihiliste“ или „Les Vierges Russes“, где весь интерес заключался в замысловатой интриге, но сущность и причины движения, характеры лиц оставались непонятными и изображались часто с самой превратной стороны. Среди эмигрантов и появилась тогда мысль о необходимости такого французского романа из жизни русских революционеров, по которому европейское общество получило бы наглядное понятие о тех ужасных преследованиях, которым подвергались русские молодые силы, желавшие итти в народ, делить с ним его горе и вместе с ним обсудить, как добиться двух насущных потребностей: земли и воли!

В это время я начал писать свой роман Les victimes du tsar*. Главная идея ро-

[1] Перевод „Нови“ в „Temps“ носил иное заглавие — „Les Terres vierges“.

* Mikhail Achkinasi. Les Victimes du tsar. E. Dentu, libraire de la Société des gens de Lettres. Paris. 1881. О „Victimes du tsar“ дали сочувственные отзывы все большие европейские газеты и даже такие солидные, отнюдь не революционные журналы, как „The Academie“ и „The Athenaeum“. Упоминаю об этом, как о факте, свидетельствующем об интересе и сочувствии к начавшейся в России борьбе во всех слоях европейского общества. British Mu-

мана была та, что как ни ложно была бы настроена молодежь, как далека ни была бы она от мысли о каком бы то ни было насильственном перевороте, но преследования так мучительны и жестоко произвольны, что, в конце концов, молодежь начинает усматривать выход только в терроре.

Когда первые главы моего романа были готовы, я прочел их дорогому моему другу П. А. Кропоткину, который очень одобрил начало. С. М. Кравчинский[1] тоже отнесся сочувственно к моей работе. Но что еще более обрадовало меня, — Тургенев, которому я изложил план моего романа, не только одобрил его, но сказал, что попросит Зола пристроить его по возможности скорее в Voltair'e, где в то время автор Ругонов писал критические статьи.

Как теперь помню сочувственные слова Тургенева: „Наша молодежь — святая молодежь. Это все мученики какие-то... Я не одобряю убийств, но наших революционеров, которые идут в деревню, как агнцы на заклание, третье отделение своим изуверством превращает в отчаянных, способных на всякие злодеяния...

seum и Bibliothèque Nationale немедленно приобрели по несколько экземпляров „Victimes du tsar". В Россию „Les Victimes du tsar" были выписаны для министра двора, а также многими „высокими особами", бывшими постоянными клиентами librairie Dentu. Помню, как заведывавший тогда магазином Дентю, молодой Типпо, сын автора известной педагогической книги, пользовавшейся большим успехом среди молодежи, с радостью показывал мне письма русских вельмож, выписывавших „Les Victimes du tsar". В русской печати, однако, о моем романе только один С. А. Венгеров осмелился упомянуть в своем „Словаре", не давая полного заглавия, а обозначая лишь „Les Victimes" без du tsar. (Примечание Ашкинази.)

[1] Сергей Михайлович Кравчинский (1852—1895) — писатель-революционер.

Все наши политические преступления — результат жестокости шефа жандармов. Если вы сумеете художественно изобразить эту идею, ваш роман произведет впечатление и будет очень полезен".

И Тургенев подробно расспрашивал меня, каким путем или, вернее, какими путями я добьюсь этого впечатления.

Я объяснил Ивану Сергеевичу, что герой моего романа, медик, искренний русский либерал, любящий народ и желающий для него земли и воли, долго не соглашается пристать ни к пропагандистам, ни к бунтарям... Он надеется создать партию, которая откроет царю глаза на действия бюрократии и добьется отмены приказного строя. В особенности понравилась Тургеневу сцена, в которой герой моего романа, пользуясь тем, что государь за самоотверженную службу раненым солдатам публично, в присутствии всех высших чинов, целует его, подает царю записку, в которой он излагает бедственное положение крестьян, рисует яркими красками произвол полиции и выражает надежду, что государь прогонит обманывающих его сановников и окружит себя молодежью, отдающей свою жизнь за народное благо. Государь берет записку и опять благодарит своего нового любимца. Но в ту же ночь молодой доктор по распоряжению третьего отделения отправляется в Петропавловскую крепость.

— Вот вы выдумали эту сцену, — сказал мне Иван Сергеевич, — а ведь это факт, реальный факт... В начале шестидесятых годов Серно-Соловьевич подал, как герой вашего

романа, Александру II записку о бедственном положении крестьян, и в ту же ночь третье отделение засадило его в крепость... Как же после того молодежи не притти в отчаяние!..[1]

Тургенев особенно настаивал на отчаянии нигилистов. Может быть, он в это время уже задумывал свой рассказ „Отчаянный", напечатанный в 1881 г.?[2] Я до сих пор отчетливо помню его красивое доброе лицо, его большие умные глаза, глядевшие на меня с симпатией, но в то же время и испытующе, и его мягкий ласковый голос, становившийся, однако, почти крикливым, когда он с негодованием говорил о жестоких преследованиях молодежи...

Я вернулся в Женеву, где я тогда проживал, и принялся усердно оканчивать свой роман. Тургенев интересовался ходом моей работы и 20 декабря 1879 г. писал мне, чтобы я поторопился окончить роман и прислать ему рукопись, так как он собирается в Россию. „Я передал Вашу рукопись Эмилю Зола, который обещал мне поместить Ваш роман в Voltair'e[3]. Я, конечно, поспешил окончить свой роман, и в конце декабря 1879 рукопись Les Victimes du tsar была у Тургенева.

В то время произошел серьезный инцидент. Катков, которому донесли, что Тургенев водится с Лавровым и принимает у себя нигилистов, обрушился на Ивана Сергеевича гроз-

[1] См. примечание в конце статьи.

[2] Рассказ „Отчаянный" написан Тургеневым в ноябре 1881 года, напечатан в январской книжке „Вестника Европы" за 1882 г. (Одновременно появился французский перевод рассказа в „Revue politique et littéraire.")

[3] См. примечание в конце статьи.

ной статьей, в которой он обвинял автора „Рудина“ в заигрывании с молодежью, к которой он подлизывался, чтобы задобрить критиков из радикального лагеря. Тургенев не оставил этой статьи без ответа и в очень мягкой форме защитил молодежь[1]. В эмигрантских кружках эта мягкая защита не была одобрена. Во мне она тоже вызвала серьезные сомнения, которые я откровенно высказал Тургеневу... „Вы, вероятно, по доброте своей желаете мне помочь в моем литературном дебюте, — писал я ему. — За это я Вам очень благодарен, но для меня гораздо дороже Ваше сочувствие идее моего произведения, убедить европейское общество, что убийства, совершаемые нигилистами, вызываются исключительно правительственным гнетом... Если я ошибаюсь, если цель, преследуемая мной в моем романе для Вас безразлична, то я попрошу Вас вернуть мне рукопись, и я уже сам похлопочу о ней!“

В ответ на мои сомнения я получил следующее письмо, приводимое мной буквально.

50, rue de Douai. Paris. Суббота, 29 янв. 80 г.[2]

Любезный г. Ашкинази!

Я виноват перед Вами в том, что не ответил немедленно на Ваше второе письмо (не присылку); — но я не отступил от данного

[1] Имеется в виду статья „Иногороднего Обывателя“ (Б. Маркевича), появившаяся в газете Каткова „Московские Ведомости“ и „Ответ „Иногороднему обывателю“ Тургенева. См. об этом подробнее на стр. 55—58.

[2] Во французских мемуарах Ашкинази датирует это письмо 24 января.

мною обещания: Ваш роман находится в руках Зола, который дал мне слово похлопотать о помещении его в Voltair'e. Когда это исполнится — сказать трудно: он слишком волюминозен, как я уже сказал Вам — и его придется сократить.

Что же касается до Вашего вопроса и сомнения, то скажу Вам откровенно, что я не сочувствую направлению Вашего произведения, — но так как я старый либерал не на одних только словах, то уважаю свободу убеждений, даже противных моим — и не только не почитаю себя вправе стеснять их выражение, — но не вижу причины уклоняться или способствовать к тому, чтобы они высказались — особенно, когда дело идет о литературном произведении. — Если бы я хоть отдаленно участвовал в правительстве — дело было бы другое; но я именно потому и держался всегда в стороне, чтобы сохранить за собой полную свободу, полную свободу* поступков и воззрений. Я не принадлежу к той школе, которая полагает, что надо стараться утаить шило в мешке; напротив, пусть оно выйдет наружу: значит, в этом месте мешок гнил. — И вот почему я, постепеновец, не обинуясь готов помочь появлению произведения, написанного революционером. Не сомневаюсь, однако, в том, что во избежание недоразумений или повторения истории с Павловским[1], Вы поймете необходимость не разглашать моего участия.

* В подлиннике два раза повторено: полную свободу, полную свободу. (Примечание Ашкинази.)

[1] См. примечание на стр. 56 и 209.

Я передал Зола Ваш адрес, а он будет держать Вас „au courant“ [1].

В Россию я действительно возвращаюсь на днях; — вероятно поеду в деревню, но никаких сочинений оканчивать не буду, так как ни одно у меня даже не начато.

Примите уверение в моем уважении

Ив. Тургенев.

Адрес Зола:

M-r Emile Zola, rue de Boulogne, 23, Paris.

В 1881 году, осенью, я опять был в Париже и снова виделся с Тургеневым в Буживале. Он только что возвратился из России [2] и был возмущен все более и более разраставшейся реакцией... Мы заговорили о вышедшем тогда, отдельной книжкой, моем романе Les Victimes du tsar. Я еще раз поблагодарил Тургенева за его участие, но заметил, что все-таки не понимаю, отчего он мне писал, что не сочувствует направлению моего произведения.

— Очень просто, — ответил Иван Сергеевич, — вы в вашем романе не только совершенно верно разъясняете причину терроризма, но вы одобряете политические убийства... Я же никогда никакое убийство не могу одобрить... Я так же оплакиваю царя, как оплакиваю его убийц... В вашем романе меня интересовала лишь та часть, которая наглядно обрисовала безвыходное положение нашей несчастной молодежи... Вот это надо было высказать... И я охотно помог вам высказать это...“

Paris, 30 Juin 1908.

[1] В курсе дела.
[2] Тургенев вернулся в Париж в середине сентября нов. стиля.

ПРИМЕЧАНИЯ

К стр. 197. В своей книге „Tourguéneff inconnu“ Ашкинази передает этот эпизод иначе: „Великий романист захотел узнать, какое я дам развитие характерам моих героев во второй части романа и расспрашивал о дальнейших сценах. Я ставил себе задачей показать в романе, как русский либерал превращается в террориста. Я напомнил Ивану Сергеевичу, между прочим, следующий общеизвестный случай. В 1864 году царь публично расцеловал Серно-Соловьевича в Летнем Саду — это не помешало, однако, тому, что несколько позже он был сослан в Сибирь. Я спросил Тургенева, не позволяет ли мне этот эпизод поставить моего героя в аналогичное положение.

— Вам не нужно искать примера так далеко, — сказал мне Тургенев. — Еще недавно доктор N был награжден самим царем, а теперь ему угрожает виселица.

— Это превосходная мысль, — ответил я, — мой герой медик, во время русско-турецкой войны он встретился с царем в лазарете...

Таким образом, я обязан Тургеневу этой сценой моего романа“.

Николай Александрович Серно-Соловьевич (1834—1866) — революционер, один из основателей „Земли и Воли“. Будучи с 1858 г. секретарем делопроизводителя главного комитета по крестьянским делам Буткова, составил и лично вручил в Царском Селе Александру II подробную и резкую записку о ходе крестьянской реформы. Прочитав записку, в которой была дана мрачная картина общего положения страны, Александр II через князя Орлова велел „расцеловать смелого и откровенного автора“. Это не помешало, однако, тому, что Серно-Соловьевич после произведенного у него 7 июня 1862 г. обыска был заключен в Алексеевский равелин и присужден к пожиз-

ненной ссылке в Сибирь по делу о лицах, „обвиняемых в сношениях с лондонскими пропагандистами". В это дело оказался замешанным и И. С. Тургенев. Отвечая на вопросные пункты, предъявленные ему сенатом через русское посольство в Париже, Тургенев писал: „с г. Серно-Соловьевичем я виделся всего два раза, в течение нескольких минут в его магазине, в С.-Петербурге. Я с ним не был знаком лично и обратился к нему, как к книгопродавцу и издателю. Одна знакомая дама поручила мне продать рукопись сочиненной ею детской книжки под заглавием „Дневник девушки". Г. Серно-Соловьевич, к которому я пришел после отказа двух или трех других книгопродавцев, купил у меня эту рукопись и напечатал ее впоследствии вместе с моим предисловием. Помнится мне, что кто-то поручил мне — в 1861 или 1862 г. — передать г. Серно-Соловьевичу небольшой пакет, содержание которого мне было неизвестно; весьма может быть, что этот пакет был мне передан г. Ничипоренком, которого я видел в числе многих других русских у себя на квартире в Париже. Такого рода поручения (доставление пакетов, писем и т. п.) даются почти каждому русскому, возвращающемуся из-за границы на родину... Повторяю, что с г. Серно-Соловьевичем я разговаривал только о „Дневнике девушки", да самый пакет, сколько мне помнится, вручил не ему, а одному из его приказчиков в магазине".

К стр. 197. В своих французских воспоминаниях Ашкинази приводит еще один отрывок из письма к нему Тургенева от 7 декабря 1879 г.: „...вам необходимо прислать мне последние главы вашего романа. Бесполезно начинать переговоры с редакциями, имея на руках лишь неоконченную рукопись. Вы успеете кончить вашу работу, так как я отложил поездку в Россию до конца сентября. Размеры вашего произведения меня беспокоят, но будьте уверены, что я сделаю все, что возможно. Поторопитесь с высылкой окончания." Несколькими строками далее Ашкинази сообщает, что отправил Тургеневу всю рукопись 15 декабря и уехал в Сан-Ремо. Это сообщение ставит под сомнение правильность датировки 20-м декабря отрывка письма Тургенева, приведенного в русских воспоминаниях.

С. Н. КРИВЕНКО

ИЗ ЛИТЕРАТУРНЫХ ВОСПОМИНАНИЙ

Воспоминания С. Н. Кривенко и следующие за ними в настоящем сборнике статьи Н. С. Русанова и Н. Н. Златовратского всесторонне освещают любопытный эпизод из биографии И. С. Тургенева — встречу его с редакционным кружком молодых писателей-народников, с членами „литературной артели", затеявшими издание собственного журнала „Русское Богатство". Воспоминания об этом эпизоде служат естественным дополнением к рассказам о Тургеневе революционеров-эмигрантов и в целом обрисовывают отношение Тургенева к общественному и литературному движению 70-х годов.

Сергей Николаевич Кривенко (1847—1906) — публицист-народник, сотрудник „Отечественных Записок", „Слова", „Устоев", и „Русского Богатства". В 1882—1883 г. он стоял близко к центральной организации партии „Народная Воля" и принимал участие в нелегальной революционной прессе. В 1884 г. был арестован и в следующем году сослан сначала в г. Глазов, Вятской губернии, а затем в Тару, Тобольской губернии. Из ссылки возвратился в 1890 г.

Его статья „Из литературных воспоминаний" была напечатана в февральской книжке „Исторического Вестника" за 1890 г.

I

Относительно И. С. Тургенева до сих пор существуют несколько разных и весьма противоречивых мнений: одни считают его чуть не консерватором, другие, наоборот, чуть не красным; одни видят в нем человека без определенных убеждений, но в высшей степени

честолюбивого, который в угоду честолюбию приносил решительно все, и, смотря по времени и обстоятельствам, являлся то в одном виде, то в другом, шел то по течению, то против течения, как было выгоднее, — не в смысле каких-либо материальных расчетов, а для литературной известности и популярности; другие, напротив, считают его человеком убежденным, который никогда не изменял убеждениям и всегда оставался верен идеалам сороковых годов, с которыми вступил на литературное поприще, идеалам, хотя несколько общим и неопределенным, но, несомненно, очень светлым и возвышенным. Одни говорят, что дело не в светозарности идеалов, а в том, что, когда наступило время их осуществления, то Тургенев двойлся, был непоследователен или неискренен: относясь, например, отрицательно к крепостному праву, своих крестьян, однако, на волю не отпускал, подобно некоторым помещикам, а пользовался их трудом до самой эмансипации[1]; а другие им на это отвечают, что прилагать такую строгую мерку к нему нельзя и что одно то уже, что он так долго держал знамя свободы и просвещения в руках, есть уже большая заслуга с его стороны и т. д. и т. д. Литературные его отношения и положения также полны недоразумений: то он тяготеет к „Современнику“, то появляется

[1] В письме от 16 июня 1874 г. Тургенев писал С. А. Венгерову: „Когда матушка скончалась в 1850 году, я немедленно отпустил дворовых на волю, пожелавших крестьян перевел на оброк, всячески содействовал успеху освобождения, при выкупе везде уступил пятую часть—и в главном имении не взял ничего за усадебную землю, что составляло крупную сумму“.



С. Н. Кривенко

в „Русском Вестнике“, когда последний принял уже иное направление, чем в начале[1]; то либеральная критика недовольна им и говорит, что он поет в унисон реакции и обскурантизму, то Катков не одобряет его за излишний либерализм[2]. И все это как-то переплетается с чисто личными его недоразумениями с разными лицами. На самых похоронах Тургенева нам пришлось слышать несколько таких противоположных мнений: одни говорили о нем как о человеке очень умеренном, даже именно как о плохо понятом консерваторе, допускавшем один только прогресс — постепенный, одну только — медленную эволюцию; а крайняя фракция, как бы в ответ на это раздавала листок, в котором Urbi et orbi[3] говорилось: „он наш, а не ваш“[4]. Появившиеся после смерти воспоминания немного прибавили к выяснению его личности: одни из этих воспоминаний, при всей симпатии к покойному, оставляли что̀-то как бы недоговоренным; другие прямо накладывали на него неблагоприятную тень (печа-

[1] Тургенев, сотрудничавший в „Современнике“ с 1847 года, т. е. с перехода этого журнала в руки Некрасова и Панаева, разошелся с редакцией в 1860 г. В „Русском Вестнике“, принявшем реакционную позицию в 1862—63 г., Тургенев поместил три романа: „Накануне“ (1860), „Отцы и дети“ (1862) и „Дым“ (1867).

[2] Михаил Никифорович Катков (1818—1887) — реакционный публицист, редактор „Русского Вестника“ и „Московских Ведомостей“. С 1869 г. Тургенев прекратил свое сотрудничество в „Русском Вестнике“, подвергаясь в ближайшие годы частым нападкам со стороны сотрудников Каткова. Наиболее резкая выходка относится к концу 1879 г., когда „Иногородный обыватель“ (Б. М. Маркевич) в „Московских Ведомостях“, сообщая о предисловии Тургенева к роману И. Я. Павловского „En cellule“, обвинял Тургенева „в низкопоклонстве, в заискивании, в „кувыркании“ перед некоторой частью нашей молодежи“, т. е. перед революционерами.

[3] „Риму и миру“, т. е. всему свету.

[4] Имеется в виду выпущенная партией „Народной Воли“ листовка „И. С. Тургенев“.

тавшиеся в „Русском Вестнике“)[1]; третьи представляли его каким-то не то легкомысленным, не то двусмысленным. Вообще неблагоприятных и сомнительных мнений о Тургеневе гораздо больше, чем благоприятных, и в то же время на его долю выпала редкая популярность не только после смерти, как это по большей части бывает, но и при жизни еще. В последние годы и во время болезни ему приходилось видеть очень много общественного внимания, уважения и почета: ему делали овации, посылали сочувственные адреса и письма, дамы целовали руки. А похороны его были положительно небывалыми на Руси похоронами по многолюдству и одушевлению.

Лично меня подобная противоположность взглядов и отношений к Тургеневу нисколько не удивляет: таков уж удел всех крупных и сложных натур. А натура у него была, несомненно, очень сложная. Барин по рождению и привычкам, он имел настолько больше умственных и вообще духовных потребностей, что не мог жить жизнью русского барства. И вот он повернулся к нему спиной и жил за границей. Его влекло туда не только нежное и постоянное чувство к женщине, навестившей его в тяжелую для него минуту, когда он жил поневоле у себя в деревне[2], но и свобода: ему

[1] Имеется в виду статья Н. Щербаня „Тридцать два письма И. С. Тургенева и воспоминания о нем“ („Русский Вестник“ 1890 г., №№ 7 и 8). В этой статье Тургенев рисуется консерватором, чрезвычайно враждебно настроенным к русским революционерам.

[2] Кривенко говорит о Полине Виардо, однако, она в с. Спасском у Тургенева никогда не бывала. Известен эпизод, когда Тургенев во время своей деревенской ссылки 1852—1853 года с чужим паспортом выехал в Москву повидаться с гастролировавшей в это время в России Полиной Виардо.

там вольнее дышалось. Жил он за границей, но в то же время все его лучшие помыслы были в России, о ней он говорил, думал и ей посвящал все свое творчество, т. е. всю или почти всю внутреннюю жизнь. Он настолько знал европейскую жизнь и располагал настолько крупным талантом, что мог бы занять видное место и в европейской литературе, беря сюжеты для произведений из тамошнего быта, но он не мог этого делать, потому что любил родину. Самое большее, на что он решался, это придавать некоторым своим фигурам общечеловеческий характер, расширять их или придавать им несколько европейского изящества, но в то же время они оставались русскими. Любил родину, но в то же время не принимал прямого, непосредственного участия в ее нуждах и судьбах, как сделал бы человек, которому она дороже собственного спокойствия. Становился совсем европейцем и в то же время оставался русским барином, со всеми слабыми сторонами нашего барства, и никак не мог совлечь с себя этого первичного, точно прирожденного и насквозь его пропитавшего культа. Тяготел к лучшим литературным стремлениям и в то же время не принадлежал близко ни к одному из литературных кружков, а держался как-то особняком и не стеснялся дурными отзывами о людях*. Держался особ-

* Например, о Некрасове, который, как сейчас помню, незадолго перед смертью вот что говорил: „Право, я никогда не любил денег, а скорее боялся их. Потому и берег. Это Тургенев меня ославил каким-то сребролюбцем. Он постоянно швырял деньги. Ему можно было швырять, а мне нет. Получит из деревни, разбросает в несколько дней все и приедет ко мне за деньгами, а не дашь—сердится". (Примечание Кривенки.)

няком, но в то же время имел настолько общественного чувства и мужества, чтобы в Москве, на Пушкинском празднестве, не принять протянутую Катковым руку примирения, в то время как некоторые все забыли и радостно хватали эту всесильную руку, он помнил, сколько эта рука написала против литературной свободы, и оставил ее в воздухе [1].

Я далек от намерения выяснить вполне личность и характер Тургенева: я не знал его настолько. Хотя характер его мне и кажется понятным, но я не решусь утверждать, что не ошибаюсь. Покойный М. Е. Салтыков однажды в разговоре утверждал, что я вижу Тургенева только с показной стороны. С обычной своей прямотой и суровостью он говорил: „он перед вами, как павлин, распускает хвост, а вы любуетесь, и это ему приятно; а потом сам же будет рассказывать, что за ним ухаживают, и опять получит при этом удовольствие“. Насколько Салтыков был прав, не знаю, только я действительно видел Тургенева лишь с хорошей стороны, и сторона эта мне казалась не совсем показною. Салтыков, этот прямой, нервный, искренний и не любивший никаких компромиссов человек, человек, весь отдавшийся литературе и видевший в ней чуть ли не самое высшее призвание на земле, был очень часто слишком строг к людям

[1] 8 июня 1880 г. на обеде, устроенном Московской городской думой, Катков, в знак примирения, протянул свой бокал по направлению к Тургеневу, но тот от него отвернулся: „. . .есть вещи, которых нельзя забыть“,—говорил он в тот же вечер Достоевскому,—„как же я могу протянуть руку человеку, которого я считаю ренегатом“. М. Ковалевский, Воспоминания об И. С. Тургеневе. „Минувшие Годы“ 1908, кн. 8, стр. 13).

и имел на это неоспоримое право; но право это было чисто личным его правом, его да разве еще весьма немногих столь же цельных людей, а большинство не может так смотреть на Тургенева. Тем более не имеет права смотреть на него так наше общество, которое обязано ему очень многим, которое само не имеет даже сотой доли его заслуг и имеет неизмеримо больше всяких изъянов и пороков. Хорошие его стороны не поглощались дурными и не были только костюмами, которые он менял, а гораздо глубже коренились в его душе. Если он не шел наравне с другими передовыми людьми в оценке происходивших явлений и дальнейшем логическом развитии идей, то не потому, что не хотел, а потому, что не мог вследствие душевного процесса; то он сомневался в верности и целесообразности дальнейшего шага, то не находил в себе внутреннего ему соответствия, то его просто что-нибудь шокировало, как эстетика и барина, хотя бы это была иногда даже какая-нибудь частность. Натуры колеблющиеся, нерешительные, сомневающиеся, были любимыми натурами Тургенева, на изображение которых он клал все свое мастерство, наделяя их чертами личного своего характера. Это вовсе неслабые натуры, вовсе не тряпки, как некоторые думают, а, напротив, натуры даровитые, которым недостает только внутреннего или внешнего равновесия для надлежащей деятельности. Зато они смотрят дальше; я не говорю видят, но некоторые и видят. Тургенев сам отдавал предпочтение людям действия, но любил не

Дон-Кихотов, а Гамлетов. По природе сам он был несомненным Гамлетом, но довольствоваться таким жребием не мог, и его постоянно тянуло в первые ряды жизни, не к какой-либо обыденной и тем более мелкой практической деятельности, а к такой, которая соответствует первым рядам и большим внутренним силам. Но при первых же практических шагах в нем начиналась рефлексия, и просыпался Гамлет. Тургенев с его слабостями, а может быть, больше всего благодаря им, был гораздо ближе к обществу, чем другие вожди. Он настолько был органически связан с обществом, что, собственно говоря, не мог слишком далеко заходить вперед, ходить без оглядки, как это некоторые делают, а постоянно оглядывался и соображался с тем, что делается назади; но в то же время и так же постоянно его тянуло вперед и вперед, если не действовать, то смотреть. Такие люди систематически действовать не могут, а либо остаются на житейской арене вместе с большинством общества пассивными зрителями, либо действуют и догоняют других порывами; догоняют, а иногда и перегоняют; часто проигрывают, а иногда и оказываются совершенно неожиданно господами положения. Я не знаю, думал ли когда-нибудь Тургенев о руководящем положении, стремился ли когда-нибудь серьезно руководить общественным мнением, один или вместе с другими, но что он принимал близко к сердцу общественные и литературные вопросы и интересы, — в этом не может быть сомнения. И очень возможно, что если бы к нему

более заботливо и снисходительно относились люди, которых он ценил и уважал, то роль его в литературе могла бы быть иною, менее обособленной и более плодотворною. Нельзя, конечно, в этом никого винить, потому что странно было бы приспособлять целую литературу к одному человеку или требовать к нему большей внимательности, чем сам он личными отношениями заслуживал. Поджидать размышляющих в житейской борьбе так же трудно, как и собирать отсталых. Но мы никого и не виним, а только хотим сказать, что такие сложные натуры руководятся и очень сложными душевными процессами, которые не легко поддаются определениям. Они никогда почти не возбуждают таких глубоких и искренних симпатий, как натуры цельные, но тем не менее всегда представляют глубокий интерес. Выяснение характера Тургенева может быть чрезвычайно интересною темою для психолога. Каждая новая черта, каждый лишний штрих, могут пригодиться и не должны пропадать. Вот поэтому мне и думается, что и мое непродолжительное знакомство с ним и особенно то, что он говорил относительно литературы, представляет некоторый интерес и может служить для его характеристики.

Знакомство мое с Иваном Сергеевичем началось в 1879 году: по указанию одного общего нашего знакомого, он прислал мне из-за границы две рукописи проживавших там русских, с которыми те к нему обратились, для пристройства их в петербургские журналы.

Подобные обращения к Тургеневу были очень часты: одни просили у него совета, другие рекомендации, третьи просто интересовались его мнением. Я знаю случаи, когда ему посылались за границу рукописи даже из России. Некоторые из них он посылал прямо в редакции, а другие через знакомых, поручая им позаботиться об их судьбе и куда-нибудь пристроить; но и в первом случае он нередко просил кого-нибудь узнавать о рукописях, будут они напечатаны или нет, и если нет, то передать их в какую-нибудь другую редакцию и т. п. Потом еще раза два или три он обращался ко мне с подобными же поручениями как лично, так и через А. В. Топорова[1]. В то время я был постоянным сотрудником одного петербургского журнала[2] и имел знакомства в других редакциях, так что подобные поручения меня нисколько не обременяли и не удивляли, — с ними постоянно все и ко всем обращались, — но вот что меня удивило, или лучше сказать порадовало: мы, несколько человек приятелей, и я в том числе, мечтали

[1] Александр Васильевич Топоров (1831—1887)—петербургский знакомый Тургенева, устраивавший его литературные и житейские дела. Л. Нелидова рассказывает о Топорове: „своей профессией он сделал служение знаменитостям, главным образом литературным. Это был настоящий диккенсовский тип, трогательный по-своему и оригинальный. Служил он своим кумирам усердно, бескорыстно и не подобострастно. Вначале предметом его поклонения был В. А. Слепцов, для которого он исполнял поручения, брал на себя устройство его литературных вечеров и практических дел, доставал для него деньги, когда в них случалась надобность . . . Умер Слепцов—и Топоров прикомандировался адъютантом к Тургеневу, стал для него хлопотать, бегать, исполнять поручения“ („Вестник Европы“ 1909, кн. 9, стр. 210). Письма Тургенева к Топорову опубликованы в „Русской Старине“ 1883 г., кн. 10.

[2] С. Н. Кривенко состоял постоянным сотрудником „Отечественных Записок“.

о новом журнале, который издавался бы на несколько иных основаниях и преследовал бы несколько иные цели, и Тургенев, узнав об этом, выражал нам сочувствие и пожелал со всеми нами познакомиться. Его вообще интересовали молодые и новые писатели, что они представляют собою и что несут в жизнь, а может быть, отчасти и как к нему относятся, тем более, что некоторые из них категорически отказывались от знакомства с ним, несмотря на неоднократно высказанное им желание и попытки их увидеть. В то время, о котором идет речь (1879—81 годы), он не пользовался особым расположением в тех кружках, к которым я принадлежал: на него были недовольны за его „Дым“ и „Новь“, а некоторые не забыли еще и „Отцов и детей“, но главным образом недовольны были „Новью“. Я и тогда разделял и в значительной степени и до сих пор разделяю это недовольство, но недовольство мое не переходило в нетерпимость и безапелляционное обвинение: я просто находил, что он гораздо лучше сделал бы, если бы совсем не писал этого неблестящего и в литературном отношении романа, но ни на одну минуту не ставил „Нови“ на одну доску с „Бесами“ Достоевского, как некоторые делали. Там я видел озлобление, прежде всего и больше всего озлобление, а тут находил нечто примиряющее, нечто происходящее совсем из иного источника: порой недоразумение и недостаточное знакомство с молодежью (а не предумышленность), порою скорбь и досаду (а не нетерпимость и злобу), а порой несомненно и добрые

стремления и желания, словом, нечто от доброты. Все это как-то само собой чувствовалось между строк. Чувствовалась доброта и в письмах, в которых Тургенев писал о рукописях. Писем этих было у меня немного: два или три из них (разрезав на части, так как желающих было больше) я роздал в 1883 году, после тургеневских похорон, знакомым, желающим иметь его автограф, а одно, оставленное себе на память, к сожалению, утерял или по ошибке уничтожил. Письма эти, впрочем, не заключали в себе ничего особенного: это были краткие, деловые письма, в которых он или просто излагал, что именно желательно авторам, или рекомендовал их статьи, но и тут, говорю я, сказывалась душевность и сочувствие к бедственному положению авторов: „постарайтесь, пожалуйста, пристроить, потому что автор нуждается“, „сделайте, что можно, автор бедствует“ и т. п. Мало того, можно было видеть, что Тургенев сочувствует в статьях действительно хорошим мыслям, хотя в литературном отношении рекомендации его далеко не всегда были удачны и не соответствовали действительному достоинству статей. Все это как-то невольно располагало к нему и укрепляло во взгляде на него, который потом так хорошо высказал и Н. К. Михайловский. Совершенно независимо от меня и в другое время он почувствовал относительно Тургенева то же самое, что и я. Собрав мысленно всех действующих лиц его произведений к его гробу, он показал, что они могут простить ему те обиды, какие он некоторым из них причинил, как потому,

что в обидах этих не было для них бесчестья, а с его стороны злонамеренности, так и потому, что „слишком много обязано русское общество этому человеку,“ и это тем более, что человек этот никогда не был Савлом, никогда не был в рядах гонителей истины и гасителей света, а если ему и случалось впадать в ошибки, порождать недоразумения и обнаруживать личные слабости, могшие быть тому или другому досадными и неприятными, то все это „не должно и просто не может заслонять собою его громадных заслуг“ *.

Журнал, о котором мы мечтали и о котором мне пришлось потом не раз говорить с Тургеневым, должен был издаваться и вестись кружком, артелью, а помещаться в нем должны были статьи преимущественно начинающих писателей. Старые таланты старелись, а молодые на смену не являлись. Это — с одной стороны, а с другой, у нас в литературе всегда был избыток пишущей братии, не находившей места в существующих органах печати, избыток не слишком ярких или невыработавшихся еще дарований, но дарований, отличавшихся честным направлением, так что голос их, помимо всего прочего, был бы небесполезным голосом. Это в большинстве случаев были неисправимые идеалисты, для которых литература была чем-то вроде святая святых. Люди, менее разборчивые в нравственном отно-

* Том VI, стр. 157—8. (Примечание Кривенки.)
Цитируется статья „О Тургеневе (Письма постороннего)“, напечатанная первоначально в „Отечественных Записках“ 1883 г., № 9,

шении и менее привязанные к литературе, потерпев неудачу, скоро переходили на другие поприща и пристраивались на какие-нибудь места: шли в чиновники, поступали в банки, на железные дороги и т. п.; а эти терпели массу лишений и все-таки оставались писателями. Литература была для них настоящей могилой и тяжелым крестом. В этом отношении у нас дело стояло довольно нерационально: вместо того, чтобы дать приложение этим силам и образовать для них одно-два новых издания, наши журналы и газеты относились к ним очень равнодушно и небрежно.

В общем итоге получался из этого для литературы не выигрыш, а проигрыш. Начинающие писатели также встречали чаще чисто формальные отношения к себе, чем внимательность и поддержку, и, испытав раз-другой неудачу, нередко бросали писать. Чем конфузливее и робче был человек, тем скорее это происходило. Некоторые из старых писателей отлично это понимали, зная, какой деликатный и, вместе с тем, мучительный вопрос представляет первый литературный опыт, и старались, насколько могли, поддерживать и ободрять подававших надежды и не обескураживать неудачников; но таких писателей было немного, большинство было не таково: оказывалась статья неумело написанной или неподходящей, ее возвращали по большей части без объяснений или ссылались для формы на какие-нибудь причины, лишь бы только избежать объяснений по существу; газеты сплошь и рядом совсем не возвращали непринятых рукописей, а не-

дельные издания даже издевались в своих „почтовых ящиках“ над злополучными авторами забракованных статей. Последнее продолжается и до сих пор. Попасть начинающему писателю в число постоянных сотрудников какого-нибудь издания было делом нелегким: для этого надо было или отличаться выдающимся талантом, или доказать уменье работать и долгое время ждать, или, как это ни странно, иметь связи, знакомства и протекцию. Каждое издание велось обыкновенно единолично или постоянным составом близких и хорошо знавших друг друга людей. Иначе, конечно, и не могло быть. Благодаря этому издания во многом выигрывали, но зато, если дело было не в руках живых, отзывчивых и никогда не старевшихся умственно людей, то превращалось в нечто замкнутое, педантическое, однообразное, в какие-то литературные канцелярии. Конечно, относительно отзывчивости главную роль играли цензурные условия, — литературные канцелярии всегда переживали органы с более отзывчивыми нервами и теплою кровью, но нам казалось, что и в этих пределах можно быть живее. Видя, что жизнь ставит новые требования, что нарождаются новые вопросы, что молодежь ждет ответов и разъяснений, что во многом надо разобраться, нам хотелось отвечать и отвечать на все это. Единоличный порядок, особенно когда на первый план выступали издательские интересы и соображения, был еще хуже. Затем, и положение многих постоянных сотрудников было неправильно: они должны были изо дня в день или из ме-

сяца в месяц работать для существования, писать не тогда, когда хочется, а к известному дню и часу, и не то, что хочется, а что ближе, словом, были в положении поденщиков (в газетах) и штучников (в журналах). Все это, как понятно, отзывалось на достоинстве работ и не могло дать уверенности в завтрашнем дне. Гораздо лучше было обеспечить людям minimum их текущих издержек в пределах их годового или полугодового заработка вместо того, чтобы заставлять постоянно торопиться, через силу работать или просить у издателей авансов и кредита. Положим, что редкие издания отказывали в этом постоянным сотрудникам, но кланяться все-таки было неприятно, тем более часто, как это приходилось некоторым. Наконец, издатель всегда мог сказать, что сотрудник ему больше не нужен.

Вот все это мы и мечтали изменить: сохраняя все хорошее из старого, вместе с тем внести в дело нечто новое. Мечты наши долго не осуществлялись: то не находилось подходящего издания, то попытки получить разрешение на новое не удавались, то не было денег и т. п. Наконец, судьба нам улыбнулась, — довольно, впрочем, кислою улыбкою, — мы приобрели маленький подцензурный журнальчик — „Русское Богатство“ [1]. Перед этим он несколько раз переходил из рук в руки, приостанавливался и вновь возникал, утрачивая все больше и больше подписчиков, и в последнее время, как говорится, просто валялся на литературных задворках. Он не выходил, но право

[1] См. примечание на стр. 289.

на издание еще сохранялось. Это была настоящая утлая дырявая ладья, в которой и предстояло совершить трудное плавание и произвести все те преобразования, о которых мы мечтали. Положение вещей было такое: не было подписки и денег; не было ни у кого практического умения вести дело и ладить с цензурой; приходилось работать даром, а для многих это было не только трудно, но даже невозможно; были хорошие имена, но не имена литературных корифеев, которые обеспечивают успех изданию, да и те имена, которые были, не всецело принадлежали журналу, потому что должны были участвовать в других изданиях, где приходилось работать. Надо отдать справедливость, что большинство хороших писателей нам сочувствовало, хотя некоторые и посмеивались, говоря, что ничего у нас не выйдет. Предприятие, действительно, было довольно смелым, чтобы не сказать больше. Как раз в это время приехал в Петербург Тургенев, и у некоторых из нас явилась мысль заручиться и его именем и попросить у него какой-нибудь рассказ или статейку для журнала. Другие были против этого, говоря, что „не стоит кланяться“ и даже „связываться с ним“; но большинство думало не так, указывая именно на то, что он сам высказывает нам сочувствие и тем более, что коммерческих выгод с журналом у нас не соединялось, а прежде всего было желательно создать хорошее дело. Если мы и рассчитывали работать в журнале и иметь впоследствии правильный заработок, то издательских интересов ни у кого в виду не было,

так как всю чистую прибыль, какая могла бы получаться, предполагалось употреблять, с одной стороны, на увеличение, улучшение и удешевление журнала, а с другой—на общее повышение литературного гонорара и типографского труда, не исключая и посторонних сотрудников. При таких условиях не так стыдно было обратиться к Тургеневу. Затрудняло нас только одно, какой предложить ему гонорар: такой, какой он получал из других редакций, был для нас обременителен, а установившийся для обыкновенных статей — чересчур мал; одни говорили, что никаких исключений делать не следует, другие, напротив, что не следует срамиться и надо лучше занять денег, чтобы заплатить ему не меньше других, третьи предлагали, чтобы он сам назначил плату. Но так как до вопроса о гонораре дело не дошло, то об этом можно и не говорить. А Тургенев, между тем, со своей стороны опять выражал сочувствие нашему предприятию и, между прочим, высказал Г. И. Успенскому, которого раньше знал, желание познакомиться с нами. Были нежелавшие и этого, и когда зашла речь, где назначить место для свидания — в редакции или у кого-нибудь на частной квартире, то одни стояли за редакцию на том основании, что если он сам хочет знакомиться, то пусть в редакцию или к каждому особо с визитом и приходит, а другие, напротив, стояли за частную квартиру. В конце концов остановились на квартире Г. И. Успенского. В назначенный вечер собрались мы, и приехал Тургенев. Первое впечатление, какое он на меня произвел, было сле-

дующее: „какой он большой (высокий), а мы-то какие маленькие". Перезнакомившись со всеми, Тургенев сел и сейчас же овладел разговором. Говорил он прекрасно, просто и образно, слегка пришамкивая по-стариковски.

— Сейчас я со Скобелевым [1] обедал, — сказал он. — Вот красная девушка: поминутно краснеет, скажет слово и покраснеет. И не подумаешь, что такой храбрый.

Потом рассказал, что они говорили со Скобелевым, перешел к нашей политике по восточному вопросу, к тому, как смотрят на эту политику в Париже, Вене и Берлине и т. д. Речь лилась почти безостановочно, а мы слушали, попивая чай. Впрочем, не все молчали: кто предлагал вопрос, кто вставлял замечание, а один вступил даже в продолжительный разговор [2]. Это были две полные противоположности: один старик, другой — юноша, совсем почти мальчик; тот седой и высокий, этот черный, как жук, и маленький; тот художник, этот экономист, т. е. сама проза и цифра. Тургенев с большим вниманием вслушивался в то, что он говорил, и, повидимому, слушал его с удовольствием. Скоро разговор перешел на разные внутренние вопросы: на народ, экономическое его положение, земельное устройство, возрастание кулачества и проч.

— Вот явление, — сказал Тургенев относительно кулачества, — с которым просто необходимо считаться и не оставлять его без внима-

[1] М. Д. Скобелев (1843 — 1882) — боевой генерал, принимавший участие в усмирении польского восстания, в походе на Хиву, завоевании Кокандского ханства и русско-турецкой войне 1877 — 78 гг.

[2] Кривенко имеет в виду Н. С. Русанова.

ния. Скоро не будет, кажется, деревни без кулака. Плодятся они положительно, как грибы, и чорт знает, что делают. Это какие-то разбойники. Я думаю написать рассказ об одном таком артисте, который так и назову — „Всемогущий Житкин“. Это, видите ли, сосед бывших наших крестьян. Он не только всячески их эксплуатирует, не только берет с них разные поборы и чуть ли не каждый день загоняет их скот и берет штрафы, но захватывает даже у них землю, переносит межи и переставляет столбы. Представьте, какую штуку выкинул: жаловались мне несколько лет тому назад крестьяне, что он у них землю захватил. Я сказал им: захватил, так жалуйтесь суду. — „Да жаловаться-то, говорят, нельзя: уж жаловались, да ничего не выходит, потому что по плану-то по его выходит. А на самом-то деле по нашему должно быть“. Что, думаю, за чепуха такая. Послал в контору, велел принести план, поехал с ним на место и увидел, что все как следует, т. е. границы в натуре совпадают с планом. Очевидно, крестьяне неправы. Так и сказал им. А они между тем все свое твердят и каждый год мне повторяют одно и то же: захватил да захватил. Ну, думаю, это обыкновенная история: мужику как втемяшится что в голову, так не скоро оттуда выйдет. Однако, представьте, что̀ вышло: в позапрошлом году разбирали у меня в кладовых и на чердаках всякий хлам и старые бумаги и нашли старый план имения, где обозначены соседние границы и земля, отведенная потом крестьянам. Стал я сличать этот план с новым и убедился, что они

не сходятся. Велел запречь дрожки и поехал на место: оказалось, что межа, действительно, перенесена, и что крестьяне правы. Просто руками развел и окончательно стал втупик, как это могло случиться. Ах, какая тут досада меня взяла! Между тем, увидев, что я приехал опять с планом и что-то смотрю, пришли и мужики, целая огромная толпа, пришел и Житкин, и какая, было, вышла неприятная история. Услышав, что правда не на его, а на их стороне, они напустились на него и стали самым невозможным образом ругаться; он сначала было попробовал отругиваться, но потом видит, дело плохо, видит, что негодование растет и становится все единодушнее и единодушнее, видит, что его окружают. Был один момент, когда и мне показалось, что вот еще одно какое-нибудь слово, одна какая-нибудь капля, и все набросятся на него и растерзают в клочки. Признаться, перетрусил я; попаду, думаю, в кашу, пожалуй, еще подстрекателем сделают: я ведь план разыскал и приехал с ним, я сказал, что он неправ, и т. д. Но тут меня внезапно осенила мысль, которая дала делу совершенно неожиданный оборот. Вдруг я протискался вперед и просто не своим голосом закричал на Житкина: „Я тебе, мерзавец, за это задам. В острог засажу, в каторгу сошлю, в кандалы закую!“ Смотрю, все примолкли, возбуждение в толпе утихает, видят, что защита есть, что сам барин, а следовательно, и начальство за дело берутся. — „Вот погоди, говорят, будет тебе на орехи, вражий сын, узнаешь кузькину мать“. А Житкин тем временем все пятился да пятился на-

зад, дошел до дома, юркнул в него и запер дверь. Точно камень у меня с души свалился: слава богу, думаю, благополучно все кончилось. И за них ведь боялся: случись что-нибудь, отвечали бы, не пошутили бы с ними. Дальше. Пообещав наказать Житкина, я, действительно, думал не оставлять этого дела так и что-нибудь сделать, просил всех, кого только можно было, обратить на это внимание, говорил, при случае, даже губернатору, которого хорошо знаю. Все обещали, но не тут-то было: по крайней мере, в прошлом году ничего еще не было сделано и все оставалось по-старому. Вот интересно, что в нынешнем году найду. Очень возможно, что и до сих пор ничего не сделано. Просто удивительно, какими судьбами, какими путями такие господа устраивают и обделывают свои дела. Чтобы межу перенести и один план заменить другим, надо похлопотать да похлопотать, и втихомолку ведь этого тоже нельзя сделать, об этом, вероятно, если не все, то многие знали или слышали. Затем, тот факт как вам нравится, что я, крупный местный землевладелец, человек со связями и знакомствами, ничего не могу сделать в данном случае, не могу добиться никакого толку. Уверен ведь, что и губернатор на моей стороне и желал бы также, чтобы дело решилось в пользу крестьян, но и он, оказывается, не все может сделать. Такие дела обделываются через всю эту канцелярскую многочисленную уездную мелюзгу, а с нею в тесной связи, конечно, и губернская мелюзга, вот и идут отписки да переписки, справки да заключения,

а губернатор тем временем ждет-ждет да и забудет. Во многих случаях только этого и было нужно. Но лучше всех сам этот Житкин: представьте, в прошлом году еду я по железной дороге, вдруг он на одной из станций откуда-то взялся, влетает в вагон и валится в ноги: „сделайте божескую милость, не погубите, век богу буду молить“ и т. д. Вы, может быть, подумаете, что он отказывается от захваченной земли и просит только, чтобы наказания ему какого-нибудь не было? Нет, он просит только, чтобы я отказался от дела и оставил его, как оно есть. Понимаете, кланяется, а в то же время свое дело делает, зацепил зубами и не может разжать пасть-то.

Затем, помнится, зашла у нас речь об отношении народа к помещикам, начальству и вообще к власти, и Тургенев рассказал нам тему другого предположенного им рассказа, который он думал озаглавить — „Повиноваться!“ Рассказ этот был просто неподражаем в устной передаче по своей рельефности и живости. Я не могу его в точности воспроизвести, но суть состояла в следующем: проезжал куда-то по Орловской губернии император Николай Павлович, проезжал на лошадях, так как железной дороги тогда еще не было. И вот крестьяне, желая его повидать, бросали работу и со всех сторон бежали на станцию, где он должен был менять лошадей. Некоторые делали по 25 верст и больше. В то время где-то в Орловской губернии были какие-то недоразумения между крестьянами и помещиками. Увидев крестьян, Николай Павлович строго

взглянул на них, сказал им несколько слов, которые закончил словом „повиноваться!“ и при этом погрозил им пальцем. Все остальное, кроме этого, совершенно улетучилось у крестьян из памяти, а это слово и жест, напротив, глубоко врезались и точно все подавили и вытеснили из головы. По отъезде Николая Павловича ближайшие крестьяне и те, которые мимо шли, пришли к Тургеневу и рассказывали, что было, но, говорил Тургенев, я решительно не мог составить себе об этом никакого представления. Сколько ни расспрашивал, на какие лады ни ставил вопросов, все повторяли только одно: „как стал он в тарантасе, да как глянет на нас, так мы все на коленки и упали, а он поднял, значит, палец да как крикнет „повиноваться!“ Тут уж мы ниц все полегли и долго так лежали. Он уж уехал давно, а мы все лежим, только помаленьку поглядываем. Едет это в гору, а пальцем все грозит. И покеда из глаз скрылся, все стоял в тарантасе и палец держал. Палец-то во какой! Тургенев показывал со слов очевидцев величину представившегося им пальца чуть не в поларшина. — „Ей богу, не преувеличиваю“, — говорил он. — Не может быть, говорю одному, чтобы такой большой палец был: божится, что такой. Не мог также разубедить их, что будто Николай Павлович, стоя в тарантасе, ехал; уверяют, что стоял — и конец. По всей вероятности, он обратился к ним, садясь в экипаж, и крикнул „повиноваться“, стоя, — так это впечатление и застыло. А на счет того, что он еще говорил, так-таки ничего и не добился.

— Вот, Иван Сергеевич, если бы вы написали и нам дали какой-нибудь из этих рассказов? — сказал кто-то, кто именно — теперь уже не помню.

— Если напишу, то извольте, — сказал Тургенев, только последний рассказ вряд ли цензурен. Я и на счет первого-то сомневаюсь: очень возможно, что и в нем что-нибудь усмотрят.

Затем стали говорить о наших намерениях, целях и материальном положении журнала. Как человек более опытный, он прежде всего указал, что без денег трудно вести хорошо дело, а затем, что подцензурному изданию не легко конкурировать с бесцензурными и что ладить с цензурой надо большое умение. Это, впрочем, мы и сами хорошо понимали. О чем еще говорилось — не помню, помню только, что вечер прошел очень оживленно и что мы остались довольны Тургеневым. Затем мы пригласили его еще через несколько дней к одному из издателей „Слова“ г. С. [1], который любезно предложил устроить для него вечер, но вечер этот прошел довольно скучно, как-то официально и натянуто: кроме нас были еще гости, около Тургенева уселся адвокат N, тоже до некоторой степени причастный к литературе, и совершенно завладел им; он почтительно рассказывал ему что-то и столь же почтительно предлагал разные вопросы, не давая никому

[1] К К. М. Сибирякову. В. Михневич в своем „фельетонном словаре современников“ „Наши знакомые“ так характеризует издателя „Слова“: „миллионщик, принадлежащий к новейшей генерации просвещенных купцов, таровато поощряющих своими деньгами науки и искусства“.

слова сказать, так что мы все время сидели и слушали. Между тем, ничего интересного он не говорил, всем было скучно, а Тургеневу, должно быть, больше всех, хотя он рассказывал что-то и отвечал на вопросы. После, по крайней мере, он жаловался и жалел, что ни о чем не удалось поговорить. Видя, что почтительному пленению его конца не будет, мы стали понемногу уходить в другие комнаты и говорить между собою.

Через несколько дней Тургенев уехал из Петербурга, так что в этот приезд я его больше не видел; а вскоре и мне пришлось отправиться по делам на юг [1]. В Петербург возвратился я уже зимою, в конце 1880 года. Положение наше за это время, с одной стороны, улучшилось, а с другой — ухудшилось: улучшилось тем, что кроме „Русского Богатства“ у нас было еще „Слово“, и в цензурном отношении стало легче, настолько легче, что в первое время мне довольно трудно было примениться к более высокому литературному тону; а ухудшилось тем, что материальные наши дела не улучшались, а ухудшались, приходилось делать займы, изворачиваться, принимать на себя разные обязательства и т. д. Одни стояли за то, чтобы совсем бросить „Русское Богатство“, как нестоящую канитель и сосредоточиться всем в „Слове“, другие стояли за „Русское Богатство“ и ни за что не хотели его оставлять, так что пришлось разделиться надвое: одни перешли в „Слово“,

[1] Кривенко устраивал колонию интеллигентных работников на Кавказе, близ Туапсе.

другие остались в „Русском Богатстве“. К этому присоединились еще некоторые недоразумения. Но все это было бы еще ничего и наверное как-нибудь пережилось бы, а судьба готовила нам нечто худшее: 1-ое марта было роковым и в нашей литературной предприимчивости; после него цензура стала гораздо строже, мы не могли найти официального редактора для „Слова“ [1], который удовлетворял бы цензурным желаниям, и журнал должен был прекратиться. Не время еще теперь рассказывать о всех наших злоключениях, да в настоящем случае и не в этом дело, так как я о Тургеневе говорю.

В 1881 году, если не ошибаюсь, в мае, он опять приехал из-за границы [2]. Находя, что жить можно только или в Париже, или в деревне, он, как птица, два раза в году совершал перелет: весной отправлялся в деревню, а осенью возвращался в Париж, при чем проездом обыкновенно останавливался на несколько дней в Петербурге и Москве, чтобы повидаться с знакомыми. В этот приезд ему, однако, пришлось довольно долго просидеть в Петербурге, потому что он заболел: у него было что-то

[1] Журнал „Слово“ (образовался в 1878 г. при слиянии газеты „Молва“ с журналом „Знание“) не был формально закрыт, но ни один из представляемых редакторов не утверждался. При переговорах с Главным управлением по делам печати издателям было заявлено: „...представляйте... хоть 20 человек в редакторы, и пускай департамент государственной полиции дает о них самые лестные отзывы... и тогда ни одного из них мы вам не утвердим. Вам остается одно из двух: или ликвидировать журнал, или же представить в редакторы кого-нибудь из двух: Каткова или Победоносцева“ (См. письмо С. Н. Кривенки к Г. А. де Воллану от 9 июля 1881 г., „Голос Минувшего“ 1914, май, стр. 119).

Такая постановка вопроса привела к прекращению журнала.

[2] В 1881 году Тургенев приехал в Петербург 29 апреля и пробыл до второй половины мая.

такое в печени, был кашель, но главным образом болели ноги. Узнав, что он приехал и лежит, мы с Г. И. Успенским отправились его навестить. Стоял он в то время в меблированных комнатах на углу Морской и Невского, где в последнее время обыкновенно останавливался. Просидели мы у него недолго: был у него, кажется, кто-то в это время, и чувствовал он себя не совсем хорошо; а говорили, помнится, больше о текущих делах и событиях и множестве всевозможных слухов, которые в то время ходили в Петербурге. Время тогда было очень смутное, никто не знал, что будет и чему верить, невероятное осуществлялось, ни с чем несообразное казалось возможным, а потому самые разнообразные слухи циркулировали в великом изобилии. Помню, впрочем, говорили еще вот о чем: в то время в редакции газет и журналов начали довольно часто присылать рукописи крестьяне. Я не знаю, продолжается ли это и до сих пор или уже прекратилось, но тогда у нас, по крайней мере, нередко получались такие рукописи. Какая-то полоса такая вышла, так что порою даже казалось, что мужик не хочет больше молчать и собирается говорить. В рукописях этих говорилось и о народных нуждах, и о правде и неправде, и о начальстве, и о суде, и о земле, и о социалистах, словом, обо всем, что так или иначе касалось народа, его жизни и души. Успенский очень интересовался этими рукописями, всегда их внимательно прочитывал, собирал и хранил, находя в них большой интерес и доказывая, что их непременно нужно печа-

тать, как непосредственный голос народа. Заинтересовал он ими и Тургенева, который просил его прислать ему некоторые из них для прочтения.

— Вы, господа, не забывайте же меня, пожалуйста, — говорил, прощаясь, Тургенев, — и не считайтесь с больным визитами: видите, я теперь какой.

Через несколько дней я был в Морской по делу и по дороге еще раз зашел к Тургеневу. Чувствовал он себя лучше. Говорил много и о разных предметах, но больше всего о литературе и молодых писателях. Говорил о Г. И. Успенском, которого очень любил и ценил, досадуя на него только за одно, почему он не попытается большого романа или повести написать; а из молодых писателей больше всех ему нравился Гаршин: „какая, должно быть, у него чудесная душа, — говорил он, — только что-то болезненное в нем есть“. Очень нравилась ему еще небольшая повесть Виницкой, напечатанная в то время в „Отеч. Записках“ [1]: „просто прелестные, чисто художественные есть страницы, — говорил он, — но не все хорошо, а потому трудно сказать, что из нее выйдет“. Тургенев следил решительно за всем, что появлялось новенького в литературе, не исключая даже иллюстрированных изданий и таких газет и журналов, которых в Петербурге обыкновенно не читают, а потому знал и таких писателей, которые

[1] Александра Александровна Виницкая-Будзианик (род. в 1847 г.) дебютировала в литературе рассказом „Перед рассветом“ („Отечественные записки“ 1881 г., № 5).

только что выступили в литературе или написали только одну какую-нибудь вещь, мало кому известную. Он помнил даже особенно выдающиеся и яркие места и страницы, которые произвели на него впечатление, обращал внимание даже на слог и внешность.

— А у Виницкой, — сказал он, — должно быть Салтыков не мало вымарывал и исправлял... Так это как-то чувствуется. Я почти безошибочно всегда могу сказать, где он постарался. Это уж такой человек, которого всегда и везде узнаешь. И, должно быть, сердился при этом, верно, что-нибудь было неподходящее или слишком растянутое. Сейчас ведь это видно, как он вырубает. А как сам он меня радует, вы не можете себе представить: он не только нисколько не стареет, но становится все лучше и сильнее, все ярче и определеннее. Я радуюсь за него, помимо всего прочего, еще чисто эгоистически, потому что это наше поколение, значит мы не совсем еще старики и кое на что годимся... За исключением меня, впрочем, потому что я вряд ли могу уж теперь работать.

— А вы хотели два рассказа-то написать? — сказал я.

— Да, вот хотел и не мог ничего с собою сделать. Ну, да это что. Я говорю, работать так, чтобы стыдно не было, работать, как Салтыков, например, работает. Знаете, что мне иногда кажется: что на его плечах вся наша литература теперь лежит. Конечно, есть и кроме него хорошие, даровитые люди, но держит литературу он. Вот на ком непрости-

тельный грех, что не пищет, вот кто мог быть теперь чрезвычайно полезен, — Лев Толстой; но что же вы с ним поделаете: молчит и молчит, да мало еще этого — в мистицизм ударился. Такого художника, такого первоклассного таланта у нас никогда еще не было и нет. Меня, например, считают художником, но куда же я гожусь сравнительно с ним? Ему в теперешней европейской литературе нет равного. Ведь он за что бы ни взялся — все оживает под его пером. И как широка область его творчества — просто удивительно. Будет ли это целая историческая эпоха, как в „Войне и мире“, будет ли это отдельный современный человек с высшими духовными интересами и стремлениями, или просто крестьянин с его чисто русской душою, — везде он остается мастером. И барыня высшего круга выходит у него как живою, и полудикарь-черкес; даже животных, вы посмотрите, как он изображает. Однажды мы виделись с ним летом в деревне и гуляли вечером по выгону, недалеко от усадьбы. Смотрим, стоит на выгоне старая лошадь самого жалкого и измученного вида: ноги погнулись, кости выступили от худобы, старость и работа совсем как-то пригнули ее; она даже травы не щипала, а только стояла и отмахивалась хвостом от мух, которые ей досаждали. Подошли мы к ней, к этому несчастному мерину, и вот Толстой стал его гладить и, между прочим, приговаривать, что тот, по его мнению, должен был чувствовать и думать. Я положительно заслушался. Он не только вошел сам, но и меня ввел в положе-

ние этого несчастного существа. Я не выдержал и сказал: „Послушайте, Лев Николаевич, право, вы когда-нибудь были лошадью“. Да, вот извольте-ка изобразить внутреннее состояние лошади. И в то же время одинаково ему доступны и психическая сторона высоко-развитого человека, и высшая философская мысль. Но что вы с ним поделаете? Весь с головою ушел в другую область: окружил себя библиями, евангелием, чуть ли не на всех языках, исписал целую кучу бумаги. Целый сундук у него с этой мистической моралью и разными кривотолкованиями. Читал мне кое-что, — просто не понимаю его. Говорил ему, что это не дело, а он отвечает: „Это-то и есть самое дело“. Очень вероятно, что он ничего больше и не даст литературе, а если и выступит опять, так с этим сундуком. Он не только для общества, но и для литературной школы был бы нужен. У него есть ученики. Гаршин ведь несомненно его ученик.

Тургенев очень подробно расспрашивал меня о Гаршине и особенно об его эксцентрическом путешествии к графу Лорис-Меликову, о котором тогда говорили[1].

Тургенев лично знал Гаршина.

Очень удивлялся он, каким образом Гаршин, такой миролюбивый человек, вдруг бросил студенческую скамью и попал на войну, очутился вдруг на Дунае, в действующей армии,

[1] 21 февраля 1880 г., накануне казни И. О. Млодецкого, совершившего покушение на жизнь председателя Верховной распорядительной комиссии гр. М. Т. Лорис-Меликова, В. М. Гаршин обратился к диктатору с требованием амнистии. Подробнее об этом см. в воспоминаниях Н. С. Русанова — „Былое“ 1906 г., № 12, стр. 50 — 52.

сражался и был ранен. Я также этому не мало удивлялся и однажды спросил его об этом: — „Да, видите ли, как это случилось, — отвечал он, — я всегда сочувствовал братушкам, а тут, как нарочно, экзамены подошли, и я... по правде сказать, — струсил экзаменов, а потому взял и уехал“. Он даже доказывал, помнится, когда я спросил: а разве на войне менее страшно? — что экзамены, как акт систематического и растянутого страха, который переживается человеком индивидуально, при сознании полной своей зависимости от случая, усмотрения и настроения экзаменаторов, хуже военного страха, когда люди двигаются против опасности как-то стихийно, все вместе и с одинаковыми для всех шансами умереть или остаться в живых.

— Скажите, пожалуйста, — вдруг совершенно неожиданно спросил меня Тургенев после некоторого раздумья, — очень меня бранят за мою „Новь“?

Я смутился от такого неожиданного вопроса, предложенного тоже каким-то смущенным голосом, но сейчас же оправился и подумал, зачем я буду умалчивать или неправду ему говорить, а потому ответил:

— Да, Иван Сергеевич, побранивают.

— За что, за что, скажите, пожалуйста, вот это-то мне интересно. Я сознаю, что это неудачная в литературном отношении вещь, но у кого же нет неудачных вещей? У всех есть, и, право, за это не стоит бранить человека, да я думаю, что только за это и не бранили бы меня, а тут, очевидно, недовольство гораздо

глубже идет. Это я вижу уж по одним печатным отзывам, а затем и слышу и через знакомых, слышу, но все-таки никак не могу взять в толк, в чем именно дело, чем недовольны? Пожалуйста, не стесняйтесь и говорите откровенно. Я буду очень вам благодарен.

— Да, видите ли, говорят, что вы молодежь не настоящую взяли...

— Какую видел, такую и взял.

— Есть гораздо более яркие и симпатичные фигуры.

— Не отрицаю этого и охотно допускаю, но я таких людей близко не видел, не видел их деятельности, а затем подумайте, как бы я стал изображать их деятельность? Ведь тогда „Новь“ не могла бы появиться в русской печати. Наконец, такие вещи трудно писать только понаслышке, их надо близко видеть, а еще лучше — пережить. У меня, если хотите, есть в „Нови“ такие фигуры, но я не посмел их очерчивать даже общими чертами, поэтому они и стоят у меня вдали, в тумане. Ах, с каким удовольствием я изобразил бы „безымянного человека“, это полное отречение от себя и всего, чем люди дорожат и во все века дорожили. Право, только русский человек может выдумать и быть способным на такую штуку.

— Вот и говорят, зачем же в таком случае вы Соломина поставили как-то выше других?

— Не выше, а вышло это, вероятно, потому, что Соломин ближе и понятнее мне, ближе к моим понятиям и представлениям, а затем я убежден, что такие люди сменят теперешних

деятелей: у них есть известная положительная программа, хотя бы и маленькая в каждом отдельном случае, у них есть практическое дело с народом, благодаря чему они имеют отношения и связи в жизни, т. е. имеют почву под ногами, на которой можно твердо стоять и гораздо уверенней действовать, тогда как люди, не имеющие не только прочных корней, но и просто поддержки ни в народе, ни в обществе, уже самою силою обстоятельств обречены на гибель и должны действовать урывками, постоянно озираясь и затрачивая непроизводительно, хотя бы на одно это, массу сил. Не подумайте, однако, что это мне доставляет удовольствие. Уверяю вас, что, кроме грусти, ничего не доставляет.

— А не думаете ли вы, что Соломины легко могут превращаться в простых буржуа или в самодовольных навозных жуков?

— Это уж от них зависит, это смотря по человеку или по людям и по тому, как они будут действовать, — в свою пользу или нет, в одиночку или согласно, поддерживая друг друга. Но подобные превращения всегда и во всех положениях ведь возможны.

— Вот еще говорят, что вы недостаточно показали всю трудность условий, в каких нашей молодежи приходится жить и действовать, стремиться к добру, пытаться сделать его и потом страдать.

— Это верно. Тут, действительно, следовало бы многое сказать. Мне на-днях рассказывали такие факты, что просто ужас берет. Но опять, как это скажешь?

— Затем, Иван Сергеевич, самое главное, чем недовольны в „Нови“, это то, что вы изобразили почти всех действующих лиц, кроме Соломина, ниже обыкновенного умственного уровня. В этом усматривают с вашей стороны умысел.

— Это неправда, этого я не имел в виду. Послушайте, ну разве же они так глупы? Конечно, это не гении, но и не глупцы. Скажите, пожалуйста, как вы сами об этом думаете? Откровенно скажите.

— Откровенно говоря, и мне тоже кажется — я не скажу прямо глупы: этого, действительно, нельзя сказать, а как-то придурковаты.

Тургенев засмеялся и покраснел.

— Ну, значит у меня не вышло, что я хотел показать, — сказал он. — Уверяю вас, что я не имел в виду изобразить их такими, я брал обыкновенных средних людей, а если и был тут некоторый умысел, так вот какой: мне хотелось показать некоторую умственную узость людей в сущности вовсе не глупых. Так ведь это и есть на самом деле: люди до того уходят в борьбу, в технику разных своих предприятий, что совершенно утрачивают широту кругозора, бросают даже читать, заниматься, умственные интересы отходят постепенно на задний план, и получается в конце концов нечто такое, что лишено духовной стороны и переходит в службу, в механизм, во что хотите, только не в живое дело. Где нет движения мысли, там нет и прогресса. Почему же никто не хочет посмотреть так на вопрос, что я потому указал на эту слабую сторону, что желал добра молодежи?

Теперь уж я не помню всех подробностей этого довольно продолжительного разговора, помню только, что Тургенев в заключение сказал: „Новь“ ведь у меня не кончена. Я удивляюсь, как этого не заметили. Так прямо оборваны нити, и как бы мне хотелось, если только буду в состоянии, написать продолжение или что-нибудь подобное на ту же тему. Не хочется только, чтобы об этом раньше времени говорили“.

Затем он спросил меня, что у нас в редакционном портфеле есть интересного по части беллетристики, и просил дать ему некоторые рукописи для просмотра. Через несколько же дней я исполнил это его желание и завез ему какие-то две рукописи, которых и сам еще не читал, но которые мне хвалили. Заходил я к Тургеневу по большей части утром, пока еще не начинались к нему визиты. Так он сам просил, чтобы иметь возможность поговорить. Заставал я его обыкновенно уже в зале на диване, куда он с трудом перебирался из спальни. Ходить ему было очень трудно, одеваться также, а потому он не одевался и лежал в фуфайке и всем прочем из сосновой шерсти, прикрыв чем-нибудь ноги, которые, должно быть, очень болели, потому что он частенько морщился и поправлял их, а иногда и прямо жаловался: „Ах, какая несносная боль! Когда придет кто-нибудь и говоришь, то все еще ничего, как-то легче становится, а уж как один останешься, так просто беда“. Тургенев был очень словоохотлив и обыкновенно сейчас же начинал что-нибудь расска-

зывать, точно действительно стараясь поскорее заглушить боль. Рассказывал он, помню, много фактов о похождениях разных русских путешественников за границей, преимущественно людей более или менее известных по общественному положению, рассказывал о разных искателях и искательницах приключений, которые тоже к нему заявлялись иногда в Париже, о жизни русских эмигрантов и т. д. Должно быть, частенько приходилось ему выручать соотечественников, а еще чаще оказываться в неловком положении, в какое они его ставили.

— Можете представить, что со мною сделал М.* — рассказывал он: — жил-жил в отеле, у меня бывал, я у него бывал, брал у меня иногда понемногу взаймы, потом надо ему выехать, а расплатиться в отеле нечем. Нужно несколько сот франков. Приходит ко мне, и у меня, как нарочно, денег нет. Говорю, извините, сам без денег. — „Неужели же, — говорит, — не можете достать, у вас тут знакомые, связи“. Постараюсь, говорю, но обещать не могу. Ушел. Думал я, думал, как же его выручить, и составился у меня по этому поводу некоторый план: думаю, достану ему денег, а он пускай пришлет тому лицу, которое даст деньги, обязательство редакции, что деньги будут уплачены. Только дня эдак через два, через три, захожу к нему в отель сообщить этот план, вошел в подъезд, хочу подниматься по лестнице, как вдруг слышу вверху голос

* Писатель, пишущий под псевдонимом в мелкой прессе. (Примечание Кривенки.)

дочери хозяйки отеля: „maman, тот господин“. Вслед затем вылетает на лестницу сама maman и кричит швейцару: „задержать его!“. Швейцар подвинулся к двери и загородил мне отступление. Что такое, думаю, за история? Отступать, конечно, я и не думал, потому что только что пришел. Затем и мать и дочь спускаются вниз и набрасываются на меня: „Ваш друг поступил с нами нехорошо, не заплатил денег, вылез ночью в окошко и уехал... Мы так о нем заботились, считали его за порядочного человека, а он... Мы надеемся, что вы, как друг его, заплатите за него, наконец, он сам говорил, что вы заплатите“ и т. д. и т. д. Я до того ошалел, что сразу ничего не понял и совершенно забыл о М. — „Пожалуйста, говорят, не представляйтесь, мы отлично вас помним, как вы приходили к М. и знаем, что вы его друг“. Тут только, услышав фамилию, я сообразил, в чем дело. Какой, чорт возьми, я ему друг, я у него и был-то всего два раза; он, говорю, и мне тоже должен.

— „Ах, это всегда так говорят, чтобы не платить“, — отвечают обе в один голос, и опять — „мы считали его за вполне порядочного человека, заботились о нем, а он в окошко“, и т. д. Каково положение! Пришлось ведь заплатить. Иначе еще больший скандал вышел бы.

В этот же раз рассказывал Тургенев о неловком положении другого рода, в которое поставил его недавно перед тем один наш дипломат, переменивший вскоре свое дипломатическое поприще на другое. Дипломат этот

всегда был известен творческой фантазией или, говоря проще, способностью сочинять небылицы в лицах.

— Вот вам недавний факт, — говорил Тургенев: приезжает он ко мне и рассказывает, что у него был Андраши[1], передает разговор, какой у них происходил, разговор чрезвычайно интересный в политическом отношении, так как дело касалось соглашения Австрии и России по славянскому вопросу. Соглашение это, по его словам (и при его участии, конечно), уже состоялось, было существующим фактом и представляло большие выгоды для России. Я в тот же день был кое у кого и рассказал об этом событии, только заезжаю, между прочим, и к его кузине — и ей тоже рассказываю, а она мне и говорит: „Послушайте, я в этом сомневаюсь, потому что не дальше как вчера у меня была m-me Андраши, а потом он и сам на минутку заезжал, и если бы что-нибудь подобное действительно было, то я знала бы, а, напротив, я слышала совершенно противоположное, т. е. что никакого выгодного для России соглашения состояться не может. Разве вы не знаете моего кузена, чтобы всему верить, что он говорит? Постойте, я вам это завтра же узнаю, потому что буду у Андраши". И завтра же я получил от нее письмо, — сказал Тургенев, ударяя кулаком по столу, — что Андраши у него даже не был, и не только не был, а даже не собирается его видеть. Хорошо сочиняет?! Это такой врун, которому реши-

[1] Юлий Андраши (1823 — 1890) — видный австрийский государственный деятель.

тельно ни в чем нельзя верить, ни в чем и ни одному слову. И зачем нужно было это сочинять — положительно неизвестно. Это какая-то потребность во вранье. Как неприятно с такими господами иметь какое-нибудь дело. Как они вас компрометируют в глазах Европы: все ведь знают, что он лгун, так и относятся... Я очень боюсь, что он ко мне заедет. В Париже заезжал. Нет, впрочем, теперь не заедет: во-первых, здесь не Париж, а во-вторых, время другое, и теперь такие господа совсем иначе ко мне относятся. Я вам расскажу, в каком я здесь комическом положении, только вы, пожалуйста никому не говорите, потому что мне, право, стыдно. Теперь ведь здесь время переходное, смутное, говорят о сведущих людях, всех спрашивают, как быть и что делать. В Париже были глубоко убеждены, что как только я сюда приеду, так сейчас же меня позовут для совещаний: „Пожалуйста, Иван Сергеевич, помогите вашей опытностью“ и т. д. Гамбетта, который прежде держался относительно меня довольно высокомерно, тут два раза приезжал ко мне, несколько раз совещался с Греви[1], и составили они вместе целую программу, которую я должен был тут предложить, программу безусловно прекрасную, выгодную, конечно, для Франции, но не менее выгодную также и для России. Сколько было

[1] Леон Гамбетта (1838—1882) — французский политический деятель. Летом 1880 г. Тургенев обратился к нему с ходатайством предоставить должность библиотекаря в библиотеке Мазарини Г. Флоберу, но встретил сухой прием. Об этом случае, усиленно дебатировавшемся во французской и русской прессе, вероятно, и вспоминает И. С. Тургенев.
Жюль Греви (1807 — 1891) — французский государственный деятель, с 1879 по 1887 г. президент республики.

надежд и волнений. Теперь они там ждут от меня известий, и сам я, признаться, тоже разделял их надежды, а я сижу здесь дурак дураком целых две недели, и не только меня никуда не зовут, но и ко мне-то никто из влиятельных людей не едет, а те, кто заглядывает, как-то все в сторону больше смотрят и норовят поскорее уехать: „Ничего, мол, неизвестно, ничего мы не знаем". По некоторым ответам и фразам имею даже основание думать, что я здесь неприятен, что лучше было бы мне куда-нибудь уехать. Да я и сам уехал бы с большим удовольствием, если бы только не эта проклятая болезнь. Очень уж тут скучно теперь, а иногда, право, даже страшно бывает: ничего не понимаешь, что творится, каждый что хочет, то и делает, а потом все объясняют недоразумением. Покорно благодарю за такие недоразумения. Как только мало-мальски поправлюсь, сейчас же уеду в деревню. Но теперь, пожалуй, и в деревне тоже страшно?

— А в деревне-то чего же бояться?

— Как чего? И там, я думаю, тоже сумятица и смута в головах. Знаете, что может быть, — засмеялся Тургенев, — я иногда боюсь, что какой-нибудь шутник возьмет и пришлет в деревню приказ: „Повесить помещика Ивана Тургенева". И достаточно, и поверьте, придут и исполнят. Придут целою толпою, старики во главе, принесут веревку и скажут: „Ну, милый ты наш, жалко нам тебя, то-есть вот как жалко, потому ты хороший барин, а ничего не поделаешь, — приказ такой пришел".

Какой-нибудь Савельич или Сидорыч, у которого будет веревка-то в руках, даже, может быть, плакать будет от жалости, а сам веревку станет расправлять и приговаривать: „Ну, кормилец ты наш, давай головушку-то свою, видно, уж судьба твоя такая, коли приказ пришел.“ [1]

— Ну, уж это вы преувеличиваете, — сказал я.

— Нет, право, может быть, может. И веревку помягче сделают, и сучок на дереве получше выберут, — фантазировал Тургенев и смеялся.

В это время в прихожей позвонили. Не могу не рассказать этого маленького вводного эпизода, который до известной степени тоже характеризует, с одной стороны, тургеневское добродушие, а с другой — чисто барскую брезгливость.

Вслед за звонком зашелестело в прихожей женское платье и послышался женский голос.

— Г-н NN тут живет?

— Нет, — отвечал Тургенев, — я тут живу.

— А NN где живет?

— Право, не знаю. Я не знаю NN и живу тут один.

— Извините, пожалуйста, — сказала барыня и ушла.

Не прошло и пяти минут, как дверь снова растворилась и послышался тот же голос:

— Ведь вы мосье Тургенев?

[1] Этот же рассказ передает Я. П. Полонский, приурочивая его к весне 1881 г. По словам Полонского, „этот рассказ или вымысел так полюбился самому И. С., что он многим повторял его с разными вариациями, даже где-то в вагоне по железной дороге рассказал кому-то в виде только что виденного им странного сна“ (Я. П. Полонский, И. С. Тургенев у себя. „Нива“ 1884, № 1, стр. 11).

— Да, Тургенев.

— Вы из Москвы вместе с NN приехали?

— Нет-с, один, и не из Москвы, а из-за границы.

— Как это странно... Но в таком случае вы, значит, в Москву едете?

— Не в Москву, а в Орловскую губернию, но буду проездом и в Москве.

— Как это хорошо. Позвольте вас повидать... Мне надо с вами поговорить, у меня есть маленькая просьба.

Тургенев обратился шопотом ко мне: „что ей от меня надо, я ее не знаю“, а потом громко ответил:

— Извините, пожалуйста, сударыня, я вас в данную минуту принять не могу, потому что не одет и лежу. Я болен.

— Это ничего, если только вы не настолько больны.

— Но мне самому неловко принять вас в таком виде: я в одном белье...

— А я вам говорю, что это ничего. Я на вас смотреть не буду, если хотите.

Тургенев помялся, поправился немного, покрылся до груди и сказал:

— В таком случае пожалуйте...

Вошла довольно еще молодая, очень хорошо одетая и недурная дама и внесла с собою целую струю каких-то духов. Черное шелковое платье, накидка, шляпа и изящный маленький поклон, который она сделала, все говорило о благовоспитанности и, пожалуй, даже о принадлежности к хорошему обществу. Я встал, чтобы дать ей место поближе к Тургеневу,

и хотел было проститься, но Тургенев не пустил: „Нет, уж извините!“ — сказал он таким тоном, как если бы говорил: „Одного меня в столь трудном положении не оставляйте“. Я отошел к окну и сел, а незнакомка заняла кресло около стола у самого тургеневского изголовья.

— У вас, мосье Тургенев, столько знакомых, столько связей, — заговорила она, — что я хочу вас просить об определении в какое-нибудь заведение двух моих детей — мальчиков.

— Определить, сударыня, я никуда не могу, но действительно знакомые у меня есть, и я могу попросить их.

— Ах, это решительно все равно, потому что вашу просьбу наверное исполнят.

— В таком случае, куда же бы вы хотели поместить ваших детей, а вместе с тем мне интересно было бы знать, о ком именно я буду просить и с кем я имею честь говорить?

Она назвала ему фамилию, а затем сказала:

— Мне все равно куда: в корпус, в гимназию, в лицей, лишь бы только они были на месте и учились.

— Я знаю директора одной военной гимназии в Москве, вот, если хотите, с ним поговорить можно.

— Пожалуйста.

— Тогда мне нужно будет записать это для памяти.

Тургенев достал записную книжку и спросил, как зовут ее детей. Та сказала, он записал и стал что-то говорить, но потом вдруг, как бы опомнившись, сказал:

— Что же это я, однако, делаю: имена записал, а не спросил вас, сколько лет вашим детям. Это тоже надо записать. Сколько лет старшему?

— Старшему пять, а младшему четыре.

Тургенев вытаращил глаза, не зная, рассердиться ему или засмеяться, но сказал довольно спокойно, отодвигая записную книжку:

— Разве таких маленьких куда-нибудь определяют, их не примут.

— Я и не хочу, чтобы сейчас приняли, а впоследствии, — нисколько не смущаясь, отвечала барыня.

— Ну, так тогда и надо хлопотать, а не теперь.

Вслед затем барыня нагнулась к Тургеневу и стала ему говорить что-то шопотом. Что она говорила, не знаю, видел я только, что Тургенев, по мере того как она приближалась к его уху, отворачивал лицо в сторону, к стене, и краснел. Потом он немного приподнялся и сказал мне:

— Будьте так добры, достаньте у меня вот тут в письменном столе... вот в правом ящике...

Не зная, что именно достать, я отодвинул стол и, увидев там 10 рублей, подал их ему. Я не ошибся: их-то именно и нужно было. Вслед затем барыня простилась и ушла. Когда дверь затворилась, Тургенев чуть не вскрикнул:

— Слава тебе, господи! меня ведь чуть-чуть не вырвало: она совсем пьяна, от нее так водкой несет — и духами еще при этом — что я еле выдержал. Вот разодолжил бы. Послед-

ние 10 рублей ведь отдал ей. Теперь у меня ничего нет. Только уходи, матушка, поскорее.

— Зачем же вы это сделали? — сказал я. — Вот она теперь за ваше здоровье еще напьется.

— А бог с ней, делай там, что хочешь. Вы скажите лучше вот что: хорошо, что больше не было, я все отдал бы, лишь бы только она ушла.

— Как же вы теперь будете без денег? — спросил я. Ведь это неудобно, возьмите пока хоть у меня, со мною есть деньги.

— Нет, спасибо, спасибо. Мне сегодня же привезут деньги. Все равно мне нужны деньги на дорогу. Скажите лучше, какие рукописи вы мне принесли?

Я сказал и отдал ему рукописи, при чем высказал сожаление, что не мог захватить еще одного рассказа Н. В. Максимова [1], который мне очень нравится, но не нравится, к сожалению, цензуре.

— А в чем там дело? — спросил Тургенев. — Если не трудно и есть время, расскажите, пожалуйста, вкратце.

— По моей передаче вы не увидите литературной стороны рассказа, т. е. самого описания, потому что я совсем плохо говорю, а тут именно в описании-то все и заключается, так как темою для рассказа послужил действительный случай, бывший в Пензенской губернии.

[1] Н. В. Максимов (1843 — 1890) — журналист и беллетрист. Состоял газетным корреспондентом при отряде Скобелева, позднее пробыл несколько лет в Америке, сотрудничал в газете „New-York Herald", в которой занимал должность секретаря редакции. Писал статьи и очерки по политическим и общественным вопросам.

— Нет, все-таки расскажите мне только самую суть, самое содержание расскажите.

— А суть, — сказал я, — такая: жила, видите ли, в одном селе солдатка Матрешка, женщина опустившаяся, пьяная, оброшенная. Все, кто хотел, пользовался ее услугами, все над ней смеялись, ругали ее, а под пьяную руку и били. Дома своего у нее не было, ночевала она, где случится из милости, а нередко и просто под заборами, поблизости кабака. Но вот несколько человек крестьян, в сердцах на помещика, задумали поджечь барское гумно и решили воспользоваться для этого ею. С этой целью один из них приласкался к ней, поговорил по-человечески и сказал ей, чтобы она сослужила службу миру. И вот под влиянием этой-то ласки, человеческого отношения и идеи быть полезной миру она вдруг точно перерождается, становится другим человеком.

Тургенев приподнялся на диване.

— Какая чудесная тема, — сказал он. — Ну, а затем что же?

— А затем совершает она поджог, производится следствие, крестьяне, не дорожа ею и выгораживая себя, показывают на нее, попадает она в острог и судится в окружном суде. Но, выдавши ее, крестьяне чувствуют сожаление, их, как говорится, зазрила совесть, и они решаются выгородить ее на суде, т. е. отказаться от своих показаний и сказать, что ничего не видали, ничего знать не знают и ведать не ведают. Цель достигается, и подсудимая выходит из суда оправданной. Только и всего.

Тургенев, забывши о больных ногах, вдруг вскочил и с чисто юношеским нетерпением спросил:

— Ну, а дальше что? Как он кончил? Как?

— А дальше, по выходе из суда и она, и свидетели отправились в кабак, перепились, и опять все попрежнему пошло, т. е. она превратилась опять в старую Матрешку.

— Очень хорошо, ужасно я рад, что он так кончил, — сказал Тургенев, — ложась опять на диван, — это вполне естественно; а я боялся, что он как-нибудь по-немецки кончит: заставит ее выйти за кого-нибудь замуж, устроит им с мужем какую-нибудь булочную или лавочку и т. д. Вы мне все-таки, пожалуйста, пришлите этот рассказ.

Прощаясь, он еще раз повторил ту же просьбу и сказал:

— Кланяйтесь, пожалуйста, Глебу Ивановичу и всем-всем. Мне кажется, что если бы я с вами, господа, почаще виделся, то опять стал бы писать. А если буду в силах и что-нибудь напишу из того, что думаю, непременно пришлю вам.

Я поблагодарил.

Через несколько дней он возвратил мне оставленные ему рукописи и уехал в деревню. Больше я его уже не видел.

Н. С. РУСАНОВ

ИЗ ЛИТЕРАТУРНЫХ ВОСПОМИНАНИЙ

Николай Сергеевич Русанов (род. в 1859 г.) — публицист и революционер. Сотрудничал в журналах „Дело“, „Отечественные Записки“, „Русское Богатство“, „Устои“. Не примкнув ни к одной из существовавших революционных групп, но перейдя на нелегальное положение, вращался в течение зимы 1877 - 1878 г. в рабочих кружках. В 1882 г. на деньги, выданные Литературным фондом, Н. С. Русанов уехал за границу и деятельно сотрудничал в нелегальных журналах. Был одним из членов литературной артели, о которой подробно рассказывает в своих воспоминаниях С. Н. Кривенко. Впоследствии Русанов стал одним из видных деятелей партии социалистов-революционеров. (См. Н. С. Русанов. В эмиграции. Ред. И. А. Теодоровича. Изд. Общ. политкаторжан. М. 1929.)

Его статья „Из литературных воспоминаний“, напечатанная в декабрьской книжке „Былого“ за 1906 г., четко распадается на две части — рассказ о знакомстве с И. С. Тургеневым и рассказ о В. М. Гаршине. В настоящем издании воспроизводится только первая часть статьи.

„Литература — зеркало общества“: никогда еще эта битая-перебитая мысль не была, кажется, так верна для русской жизни, как в конце семидесятых и начале восьмидесятых годов. Оживилось общество, встряхнутое борьбой революционеров с правительством, и оживилась литература. Пусть только припомнят, чему были посвящены тогда статьи, производившие впечатление на читателей. Вопросам об экономике и политике, о капитализме и русской общине, об интеллигенции и народе,

о героях и толпе. Ставились и разбирались эти вопросы, насколько возможно было по тогдашним условиям печати. Ибо и во время пресловутой „диктатуры сердца“ вырезывались статья за статьей, выкидывались по требованию цензуры неблагонамеренные середки и приделывались ликующие концы. „У меня, батюшка, нос отхватили от фельетона да приставили совсем в неподходящее место... к хвосту“, жаловался один из виртуозов по части „езопского языка“. И все же, несмотря на все эти злоключения, жизненная струя проникала всю литературу. Писавшие не кривлялись, не выдавали себя за первейших поэтов и глубокомысленнейших философов, не сочиняли такой прозы и стихов, что у читателя глаза на лоб выскакивали, — как то зачастую бывало в 90-х годах, — а серьезно учились сами и учили других тому, что узнавали. То было время страстного желания разобраться в русской жизни и из теоретических посылок сделать практические выводы.

И всем этим, скажу прямо, русская литература была обязана революционерам. Позже, конечно, можно было с более или менее победоносным видом предсказывать задним числом, о какие железные законы естества должно было разбиться революционное движение. Но кто жил в то время, кто видел, как шатался под ударами народовольцев старый строй, кто знал, как роковое сомнение о завтрашнем дне западало в душу самих слуг самодержавия, кто наблюдал, как вся Европа вглядывалась в борьбу революционной и официальной Рос-

сии, для того само собой было понятно, какое громадное оживление революционная партия внесла в русское общество и в литературу.

На литературу, в частности, революционеры влияли двояким путем. Во-первых, косвенно,— пробуждая общество и заставляя, таким образом, протирать глаза и задумавшей было вздремнуть после шестидесятых годов литературе. Во-вторых, прямо,— вращаясь среди записных литераторов, поднимая их настроение, приглашая их для сотрудничества в подпольной печати и порою сами принимаясь за перо для печати надпольной. Между лучшею частью литературы и революционными писателями был обмен услуг, взаимное проникновение, как бы идейный эндосмос. Иные статьи в „Земле и Воле“ [1], в „Народной Воле“ [2] были написаны выдающимися легальными литераторами. С другой стороны, умевшие писать революционеры фигурировали под разными псевдонимами в цензурных журналах и газетах. Упомяну, кстати, об одном интересном факте. Революционеры очень быстро приноровлялись к условиям легальной печати, и после одной-двух неудачных „проб пера“ их статьи были решительно лучше статей средних записных литераторов. Они были кратче, яснее, в них было меньше нетовых цветов по пустому полю. Подпольная печать была очень хорошей школой: расписываться под веревкой и у двери

[1] „Земля и Воля“ — социально-революционное обозрение. Орган общества „Земля и Воля“, выходивший с ноября 1878 по апрель 1879 г. Вышло 5 номеров.

[2] „Народная Воля“ — социально-революционное обозрение. Официальный орган партии того же имени. Начал выходить с октября 1879 г. Последний номер, № 11—12, вышел в 1885 г.

Петропавловской крепости было некогда и незачем. Не то замечалось среди легальных литераторов, помогавших пером подпольной прессе. Помехой была, с одной стороны, рутина, присущая всякой профессии, с другой — проклятая привычка писать „эзопским языком“. У них были неизменно две крайности. Либо напишут статью бойко и кратко, но с такими ругательствами и так мальчишески бездоказательно, что просто стыдно было помещать в серьезное революционное издание: видно было, что человек выскочил из цензурных оглобель и, что называется, с непривычки „взыграл“. Или же начнут разводить разводы, закидывать основную идею цветами красноречия, с таинственным видом проносить „сеничкин яд“ между строками.

Во всяком случае, обмен мыслей между двумя отделами печати, между надпольем и подпольем, был постоянный. На революционных сходках, не имевших конспиративного характера, бывали писатели легальные. И того чаще на литературные вечера, порою даже на редакционные собрания, приходили „радикалы“. Как всегда бывает в таких случаях, крайнее направление брало верх, и люди очень мирные подымали ноту и в речах своих и в статьях, чтобы попасть в тон революционерам. Один из крупных радикалов, который частенько бывал в редакции одной очень умеренной газеты, комично передавал мне свои впечатления в этой среде: „Слушаешь, бывало, как один сотрудник наддает либерального жару наперерыв перед другим и по спопутности даже

упрекнет тебя в пессимизме и умеренности ожиданий, и думаешь: ах, вы, сельские дьячки, сретающие его преосвященство — „правовой порядок!“ А что если б вдруг наш брат радикал рявкнул здесь, словно архиерейский протодьякон, „многие лета революции“?.. Как бы то ни было, лучшими своими статьями легальные литераторы были обязаны тому бодрому и живому отношению к действительности, которым они заражались от революционеров. Можно насчитать, по крайней мере, десяток произведших сильнейшую сенсацию статей, толчок к которым был дан каким-либо пунктом их программы.

На этом общем фоне оживления литературы отдельные типы литераторов проходят в памяти особенно рельефно: когда жизнь била ключом, каждый предъявлял свою подлинную и, стало быть, индивидуальную физиономию... Вот восстает предо мной величавая фигура Тургенева, каким я знал его в конце 70-х и начале 80-х годов, когда из мирных литературно-артистических кругов Парижа он приезжал в Россию, потрясенную в то время до основания небывалым еще у нас движением.

Тургенев любил маскироваться в равнодушие, когда молодая прогрессивная Россия с болью и недоумением отшатнулась от былого истолкователя ее дум, но в душе он был глубоко поражен этим разрывом. Если его Базаров был принят еще под защиту Писаревым [1] за то,

[1] Имеется в виду статья Д. И. Писарева „Базаров“ в „Русском Слове“ 1862 г., № 3. В этой статье заключается один из немногих современных одобрительных отзывов о романе Тургенева. Резюмируя свои выводы, Писарев заключал: „Смысл романа вышел такой; те-

что этот „мыслящий реалист“ режет лягушек и отрицает принципы, то тот же Базаров был встречен недружелюбно Антоновичем [1], который увидел в „Отцах и детях“ лишь „повесть о том, как один проходимец из разночинцев влюбился в важную барыню, и что из этого воспоследовало“. А „Искра“ [2], отвечая на тургеневский, как ей казалось, шарж шаржем, поместила даже рисунок, изображавший Базарова на балу у буфета с до-нельзя декольтированной Одинцовой и с такой подписью:

Она: Базаров, скупы вы на речи:
Жует весь вечер и молчит.

Он (уплетая 99-й бутерброд и бросая хищный взгляд на Анну Павловну):

У вас такие, право, плечи,
Что возбуждают аппетит.

Появление „Дыма“ повергло читателей в еще большее недоумение. В этом романе отыскали презрение старого европейца к молодой стране: пореформенная, только что начинавшая укладываться Россия напрягала все усилия, чтобы

перешние молодые люди увлекаются и впадают в крайности, но в самых увлечениях сказывается свежая сила и неподкупный ум; эта сила и этот ум без всяких посторонних пособий и влияний выведут молодых людей на прямую дорогу и поддержат их в жизни. Кто прочел в романе Тургенева эту прекрасную мысль, тот не может не изъявить ему глубокой и горячей признательности, как великому художнику и честному гражданину России“.

[1] Имеется в виду статья М. А. Антоновича „Асмодей нашего времени“, „Современник“ 1862 г., № 3.

[2] Появление романа „Отцы и дети“ вызвало обильные карикатурные и пародические отклики. Приведенные Русановым шуточные стихи взяты из сцены Д. Д. Минаева „Ба! знакомые все лица!...“, „Новогодние сцены“. См. „Думы и песни“ Д. Д. Минаева, Спб. 1864, стр. 523. Ср. М. М. Клевенский. Тургенев в карикатурах. „Голос минувшего“ 1918, № 1—2.

выбраться на настоящую дорогу, и неужели все старания только „дым"? Далеко не исправила этого впечатления и „Новь". Дети 70-х годов, т. е. попросту революционеры, не без основания увидели в Нежданове знакомый тип „лишнего человека", „Гамлета Щигровского уезда", но только на сей раз одевшегося в мужицкий зипун, а симпатичный автору Соломин поражал их такой „умеренностью и аккуратностью" в своих реформационных замыслах, что больно за Марианну, прельстившуюся этим кулаком от науки, этим новым воплощением Штольца из „Обломова".

Но дети, но революционеры платили в самой жизни за зло добром изображавшему их художнику. Именно потому, что в их среде большинство составляли не Неждановы, а люди сильного ума и удивительной энергии, политическое движение в России приняло к концу семидесятых годов небывалые размеры, и отраженной от него волной зарябил, расшевелился и даже как будто куда-то потек наш „философствовавший сквозь сон" либеральный мир. Этот-то либеральный мир, взбудораженный революционным движением, и чествовал Тургенева, явившегося в Питер зимою 1878-79 г. Овации, обед по подписке, речи и объятия как бы указывали на примирение русского общества с художником. Но если припомнить, кто собственно был на обеде и какие речи там говорились, то становится ясно, что крайняя левая воздержалась от празднества. Из „Отечественных Записок", „Дела", „Слова" не было, если не ошибаюсь, ни одного сотрудника,

Зато было много либеральных и умеренно-либеральных писателей; за этими инициаторами празднества шел длинный хвост довольно безличных поклонников чистого искусства; было, наконец, так сказать, для галантира, несколько показных, именинных генералов от литературы уже совсем без всякого направления... Виноват, была, впрочем, одна курсистка, которая провозгласила даже тост „от русских женщин за автора Марианны“. Но зато после речи ее чуть со свету не сжили ее же подруги прозвищем „г-жа Соломина“.

От Тургенева не укрылось пробуждение русского общества, сказавшееся, между прочим, в либеральном колорите, который инициаторы празднества старались придать ему. Но не укрылось и многозначительное отсутствие на нем наиболее передовой части печати. Новое поколение отцов восторженно принимало гуманного европейца-художника; новое поколение детей своим воздержанием как бы говорило ему, что с романистом не сведены еще старые счеты. Тургенев видел, что русское общество не один „Дым“. Но художественное чутье правды подсказывало ему, что и либеральные его поклонники не тот огонь, который проникал в то время русскую жизнь, согревая надеждой думы лучших людей.

Следующей зимой 1879-80 г. [1] Тургенев явился в Петербург с твердым намерением ближе познакомиться если не с действующими революционерами, то с радикальной частью

[1] Тургенев приехал в Петербург в 1880 г, в последних числах января.

печати и главным образом с „молодыми литераторами", узнать, что волнует теперь этих людей. И это намерение он привел в исполнение, очень мало заботясь о литературном местничестве: гора не шла к Магомету, ну что ж — Магомет пойдет к горе. Он сказал любимейшему в то время „беллетристу-народнику", с которым познакомился в Париже — речь идет о Глебе Успенском — что ему очень желалось бы встретиться с некоторыми из его сотрудников по журналу и вообще с его приятелями. А так как у Успенского „приятелями" были по преимуществу люди радикального образа мыслей, то устраиваемое свидание фактически должно было поставить Тургенева в соприкосновение именно с крайней и наиболее молодой группой тогдашних литераторов. На предложение беллетриста откликнулись, впрочем, далеко не все. Воздержались — что, впрочем, и понятно было с их стороны — самые крупные представители тогдашней радикальной печати; да еще те, кто не простил Тургеневу его Базарова. Но человек 10 — 15 желающих нашлось.

Об этих свиданиях в публике ходили довольно странные толки. Даже гуманный и деликатный Шелгунов, знавший, впрочем, об этой попытке сближения лишь понаслышке, изображает ее в своих „Литературных воспоминаниях" несколько в комическом виде. Так, он говорит о некоем Р., „молодом, горячем и речистом", который с полчаса развивал Тургеневу свои социальные теории, а когда кончил, то заставил Тургенева только развести руками

и воскликнуть: не понимаю! [1] После эта сцена была восстановлена довольно близко к истине в воспоминаниях С. Н. К. (Кривенко) [2] о Тургеневе, отпечатанных в „Историческом Вестнике“ лет 15 тому назад. Но и в них автор не мог сказать всего по цензурным условиям. Да будет же позволено вашему покорному слуге, читатель, тому самому Р., о котором говорил Шелгунов, рассказать без прикрас, но и без умолчаний, чем были эти свидания с Тургеневым.

Мне врезались два из них. Одно, самое первое, было на квартире Глеба Успенского на окраине Петербурга. Громадный дом в глухом, кажется, Синцевом, переулке, небольшая квартира в четвертом этаже, — и мы, дожидавшиеся Тургенева и от времени до времени поглядывавшие через запушенные морозом окна на белевшую снегом улицу... Мы, т. е. сам хозяин, с его крупными чисто русскими чертами, с его вечно всматривающимся кудато, как будто недоумевающим взглядом, словно хотел он проникнуть в смысл русской жизни и тщетно искал обобщающего ответа на сложные конкретные явления, — с вечной папиросой

[1] Н. В. Шелгунов вспоминает о свидании Тургенева с кружком молодых писателей лишь попутно, говоря о непонимании, разделившем Герцена от русских революционеров 60-х годов: „В один из проездов в Петербург Тургенев пожелал познакомиться с новой молодежью, и для Тургенева устроили вечер. Между приглашенными „образцами“ был и Р[усанов], совсем еще молодой, горячий и речистый. Тургенев и Р[усанов] сидели на диване рядом, и Р[усанов] целых два часа развивал Тургеневу свои экономическо-социальные идеи. Тургенев молчал и внимательно слушал. Когда Р[усанов] кончил, Тургенев встал, развел руками и сказал: „не понимаю!“ Вот это-то самое „не понимаю“ разъединяло и Герцена с новыми людьми, которых он встретил“ (Н. В. Шелгунов. Воспоминания. Ред., вступ. статья и примечания А. А. Шилова. Гиз. 1923, стр. 108.)

[2] См. настоящий сборник, стр. 224—232.

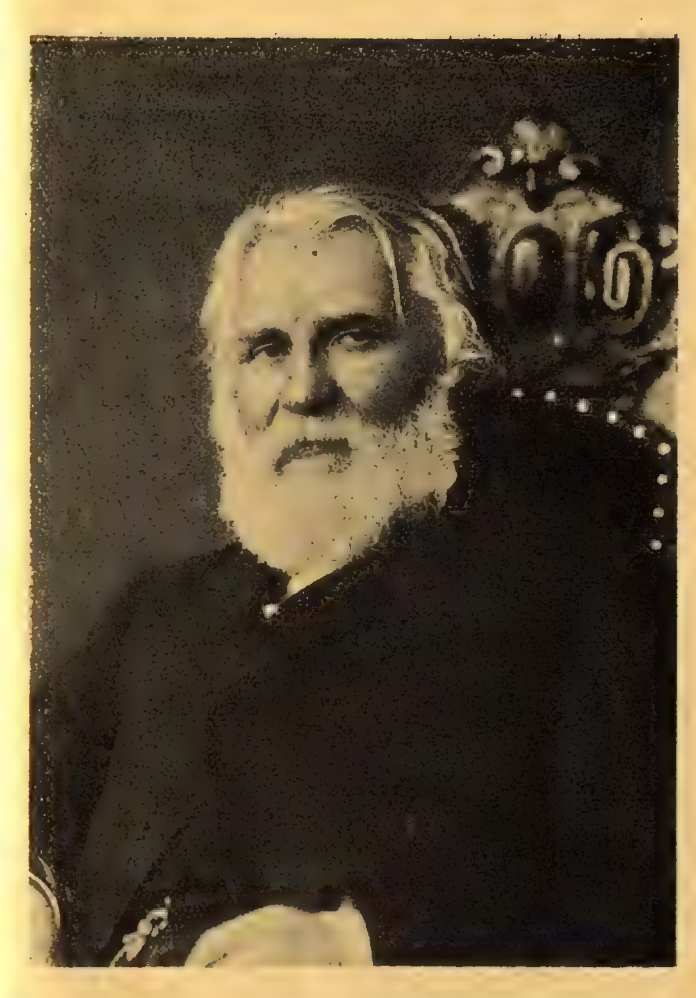
в руках, с прерывистой удивительно образной речью, которая порою вызывала в собеседниках неудержимый смех, в то время как сам говоривший еле-еле улыбался и продолжал бросать недоумевающий взгляд куда-то вдаль от себя, где, очевидно, проходила перед ним, как на смотру, целая вереница созданных им же самим художественных образов, типов, картин, вперемежку с виденным и подмеченным; другой беллетрист-народник, которого любили противопоставлять первому, как создателю „положительных“ народных типов, — наполовину мужицкое, наполовину поповское, в ранних морщинах лицо, лысина, длинные косички на затылке, растрепанная лопатой борода, которую он поминутно расправлял нервной рукой из-под шеи, витиеватая, горячая, то книжная, то простонародная речь [1]; еще беллетрист-народник Наумов [2], худощавый, с жидкой бородкой, с маленькими бесцветными, но зоркими глазами инородца, уснащавший свой разговор вечными эс-ерами, оставшимися ему в наследие от чиновничьей жизни в захолустье, но порою проникавший, как никто, в тайники кулацкой души или в мирские чувства крестьянина-ходока; публицист-обозреватель С. Н. Кривенко, красивый плотный брюнет с иисусистым лицом, умевший сочетать мягкость и гуманность чувств с искренним служением демократическим идеям, плохо говоривший, но в то горячее

[1] Русанов имеет в виду Н. Н. Златовратского.

[2] Н. И. Наумов (1838 — 1901) — беллетрист-народник. Обратил на себя внимание помещенным в „Современнике“ рассказом „У перевоза“. Расцвет его литературной деятельности и известности падает на 70-е годы, когда он напечатал в „Отечественных Записках“ и „Деле“ ряд рассказов из крестьянской жизни.

время мужественно и тепло писавший и, как ни странно это, наиболее практичный среди всей этой радикальной пишущей братии; друг детства его, ныне забытый, а некогда талантливый изобретатель, но совершенно неуравновешанная натура, считавший себя тонким знатоком людей и вещей и обманываемый на каждом шагу разными дельцами, нервный, маленький, взъерошенный, в блузе, залитой всевозможными кислотами, беспокойно бегающий по комнате, словно зверь в клетке, то высказывающий в невозможной форме какую-нибудь очень интересную мысль, то разражавшийся какой-нибудь неожиданной странностью; милый, задушевный Гаршин, но о нем, впрочем, речь будет ниже; и еще человек пять-шесть, черты которых постепенно стерло у меня время.

Тургенев явился несколько поздно, когда уже вся компания сидела и занималась чаепитием за большим круглым столом. Началось обычное шарканье, двиганье стульями, обмен ничего не значащих фраз. Разговор не вязался. Тургенев, как истый европеец, старался быть любезным и сказать каждому из новых знакомых какую-нибудь приятность, например, дать понять автору, что он знаком с его статьями. Но большинство из нас туго поддавалось на эти деликатные авансы. Мы все чувствовали, и, вероятно, это чувство разделял и сам Тургенев, что надо прежде всего отыскать какой-нибудь мостик между ним и нами. Но этого-то и не удалось сразу найти, и скоро плавная речь Тургенева стала короче, при-



И. С. Тургенев

нужденные реплики, которые подавал ему то тот, то другой из нас, незначительнее. Воцарилось неловкое молчание...

Тургенев сидел, как сейчас помню, несколько наискось от меня, возле стены, близ двери, весь залитый молочным светом лампы с матовым шаром. Я жадно всматривался в него. Меня поразили прежде всего громадность, мощь, пышность его фигуры. Это не был кающийся дворянин в роде Некрасова, которому

И хлеб полей, возделанных рабами,
Идет не впрок.

Вольные хлеба крепостного права, питавшие Тургенева в его молодости, пошли впрок. Все мы, по большей части разночинцы, перебивавшиеся с грехом пополам, почти ребятами выброшенные на литературный заработок, казались возле Тургенева какими-то гвоздями, сухопарыми, испитыми, что называется, без цвета и радости. Старшим из нас не было в то время и сорока лет, иным едва половина того, а борьба за существование провела уже по лицу у иных преждевременные складки. Но на громадном, благообразном, очищенном лице, — я чуть было не написал „лике“, — Тургенева 60 лет не оставили почти ни морщинки. Эффектно-седые волосы, белая борода только еще больше оттеняли поразительную моложавость этого наполовину библейского, наполовину джентльменского лица, на котором и свет лампы лежал как-то особенно правильно и мягко. Он, и сидя за чайным столом, был выше нас целой головой, и его речь, плавная,

сытая, я бы сказал серебряная, как он сам, лилась на нас сверху. Он сопровождал ее такими же плавными, но громадными жестами, от которых, казалось, должны были бы раздвинуться стены маленькой комнатки, и время от времени словно сам убаюкивал себя звуками своего голоса, и его серые глаза, будто прищуриваясь от света лампы, полузакрывались... „Хорошо поют курские соловьи" звучала у меня в такие минуты при взгляде на Тургенева его же фраза из „Записок охотника", — те самые соловьи, знаете, читатель, что зажмуривают глаза от собственного пения...

Тургенев замолк. Наша братия стала тянуть друг друга за рукав, тщетно стараясь найти смельчака, чтобы начать прервавшийся разговор. Зазвенели чайные ложечки, слышались хлебки, попыхивали папиросы... Прошла минута, может, и другая... Молодой, горячий и речистый Р., о котором говорил Шелгунов, не выдержал и сорвался с места. Но, увы, я был так настроен в то время, что не мог развивать каких бы ни было социальных теорий, а тем более в течение получаса. Дело было гораздо проще и гораздо стыднее для моей речистости. Мне было досадно, что время уходило, а мы еще не узнали от Тургенева, как он смотрит „на злобу дня". Казалось, эпоха была интересная: во Францию впервые возвращались коммунары накануне полной амнистии; в России многие не знали, где же настоящее правительство, в Зимнем ли дворце, или в конспиративной квартире Исполнительного Комитета. Но Тургенев все время раз-

матывал перед нами нить своих воспоминаний. 19-летний мальчик, я не понимал еще в то время невольной прелести, которой у всякого пожившего человека окружено прошлое.

Волнуясь, начав с фраз, где подлежащее играло в невозможную чехарду со сказуемым, и постепенно смелея и легче и легче формулируя свою мысль, я приблизительно говорил следующее: „Вы, Иван Сергеевич, давно живете во Франции и хорошо знаете и ее настоящее и прошлое; вы, конечно, знаете и Россию; каково же ваше мнение о теперешнем положении вещей у нас, и не думаете ли вы, что у нас на носу революция? Разве нет большого сходства у теперешней России и дореволюционной Франции? Там был вечный дефицит в бюджете — он есть и у нас; там были голодные бунты — они и у нас; там разорялись помещики, уступая место интендантам, откупщикам и прочим капиталистам — и у нас Чумазый разоряет „Дворянские гнезда" (Тургенев при этом улыбнулся); там абсолютный король послал за море войска, чтобы поддержать свободную Американскую республику, и в то же время бросал либеральных писателей в Бастилию, — у нас самодержавие лезет за Балканы, чтобы насаждать конституцию в Болгарии, а у себя вешает социалистов и т. д.".

Выложил я это в несколько минут и как попало. И Тургенев не развел руками, не сказал: „не понимаю", но очень заинтересовался, если не убедительностью, то убежденностью оратора. Мягко и уклончиво начал он возражать мне на это, что он не пророк в своем

отечестве и не может претендовать на предсказания — „будущее на лоне у богов, — говорит Гомер“, но что, по его мнению, Россия далеко не так близка к революции, как Франция прошлого века. „Обратите внимание, — говорил Тургенев, — на одно обстоятельство: в то время во Франции было могущественное оппозиционное течение, и все мыслящие люди, несмотря на различие мнений, впрочем, соглашались в одном: старый строй должен быть заменен новым. То ли же самое в теперешней пореформенной России? Есть реакционеры, есть либералы, есть революционеры... крайние прогрессисты, поправился он, окинув нашу комнату добродушным взглядом, как бы не желая обидеть нас; что между ними общего, что они все согласны уничтожить и что сохранить? А пока нет общего могучего течения, в котором сливались бы отдельные оппозиционные ручьи, о революции, мне кажется, рановато говорить“... И сейчас же прибавил: „Впрочем, мне кажется, что в последние два года в России настроение бодреет как будто, увеличивается интерес к общественным делам... Поживем — увидим“, — добродушно улыбнулся патриарх-джентльмен.

Я начал быстро оспаривать этот пессимизм, указывать, что за настоящую силу в России только и можно считать, что „крайних прогрессистов“, а у них у всех приблизительно взгляды не только общие, но одни и те же. Стал горячиться, разносить, по обыкновению, либералов за отсутствие у них энергии, трусость... Меня дернул за полу один из приятелей; вы-

ходило, действительно, как будто неловко. Но Тургенев продолжал улыбаться и очень искусно, как будто и не уклоняясь от предмета разговора, перевел его на менее щекотливую почву. „Да, я, между прочим, сказал о могуществе одного общего оппозиционного течения... Увы, и у нас в России было такое время, но прошло. Это было в сороковых и пятидесятых годах, когда мы все, за исключением самых ужасных реакционеров, знали, что делать и что свалить. Я говорю о крепостном праве. Все были согласны в этом, и публицисты, и романисты". И Тургенев припомнил, какой, по его мнению, „преувеличенный успех пал на долю „Записок охотника" именно потому, что там мужик был представлен таким же человеком, как герои и героини из благородного сословия, с такими же радостями и горестями, муками несчастной любви и страданиями попираемого достоинства, способностью восторгаться и пением птиц, и шелестом прохладной дубовой рощи, и журчанием ручья, там, в степном овраге, между кустами орешника"... — „А из вас, господа, никто не охотится?"—неожиданно закончил свою речь этим вопросом Тургенев.

Между нами оказалось целых четыре охотника, а один даже и очень страстный. То был изобретатель. Он выскочил из дальнего темного угла, где сидел все время, ожесточенно попыхивая папиросой, подошел совсем близко к Тургеневу и несколько неожиданно начал: „А я вот, Иван Сергеевич, терпеть не могу охоты за птицей — то ли дело за кабанами, на Кавказе". И в нескладной, но заме-

чательно картинной речи он развернул перед нами яркую зоологическую драму, сцену борьбы, чуть не психологический диалог между двумя зверями, четвероногим с клыками и двуногим с винтовкой и ножом: и что́ сказал, или, вернее, прорычал междометием двуногий зверь, увидя четвероногого, и что в ответ прохрипел застигнутый врасплох четвероногий, и как он хотел сначала уйти благоразумно, и как не мог, и как решился защищаться и дорого продать свою жизнь, и каким непреклонным героизмом светился взгляд его маленьких свирепых глаз в момент агонии, когда охотничий нож вошел ему по рукоятку возле лопатки... Мы все затаили дыхание, а охотничье и художницкое сердце Тургенева, видимо, вдвойне таяло от этого поразительно нескладного и в то же время удивительно живого рассказа.

Тургенев остался очень заинтересован первым знакомством с нами и следующее свидадание было назначено у одного миллионщика-мецената из купеческого сословия[1]. Великоленный дом, чуть не дворец, толстый седовласый швейцар со страшной булавой у подъезда, мраморная лестница вся в растениях, вся залита газом в легком синеватом дыму от громадных курильниц, длинная анфилада комнат, обширный кабинет мецената с монументальными шкафами для книг, колыванскими вазами из порфира, дымчатой сибирской яшмы, разными бюстами и высокими пальмами... Мне хорошо знакомы эти парадные покои купцов-миллионеров, в которых обыкновенно никто не живет и которые

[1] У К. М. Сибирякова, издателя журнала „Слово“.

растворяются только на экстренный случай, для приема важных гостей... Домочадцы, как и полагается, сбились в небольшой — судя по звуку голосов — комнатке, выходившей маленькой дверью в великолепную переднюю, с противоположной стороны которой развертывался ряд казовых комнат, куда нас попросили. Когда мы проходили мимо, дверь была слегка притворена; оттуда слышалось энергичное шлепанье карт, звон монеты и возгласы: „стучу“... „три“... Очевидно, там резались в стуколку.

На этот раз Тургенев встретился уже с нами, как со старыми друзьями. Он сидел возле Гаршина, к изящному таланту которого чувствовал особое влечение. Гаршин чуть не с самого начала вечера и, по обыкновению, вкладывая всю душу в то, что говорил, обратился к Тургеневу от своего лица и от лица „молодого поколения“ с вопросом, который в иных устах мог бы показаться совсем неуместным. „Всем нам крайне интересно знать, что нужно делать теперь, по вашему мнению, в России, Иван Сергеевич? Верен ли путь политической борьбы, на который стали революционеры? Или как прежде итти в народ“? В эту минуту можно было, кажется, расцеловать Гаршина: так просто, мило и конфузясь, и как бы заранее извиняясь за свой очень щекотливый вопрос, он обратился к Тургеневу; но многим из нас стало очень неловко.

Тургенев первую минуту действительно несколько смутился, но потом улыбнулся и только развел руками, как бы говоря: „ну, что с вами поделаешь, большой вы ребенок!“

„Я вижу,—начал он после минутного молчания,—что молодые люди попрежнему заняты вопросом, что делать... Мне кажется, им самим и надо решить его... Стариков упрекают порой, что они перестали понимать задачи молодого поколения“, и светлое лицо Тургенева как будто потускнело. „Да я и живу теперь в России только наездом и не берусь решать сложные вопросы политики... Так ли надо вести дело, как оно ведется теперь, — не знаю. Но что хождение в народ не удалось, это, кажется, очевидно. Да и могла разве удасться пропаганда отвлеченностей социализма людям, вся жизнь которых состоит из перехода от одной конкретной, осязательной вещи к другой: от сохи к бороне, от бороны к цепу, а от цепа иной раз и к полуштофу... особливо ежели дело о Покрове или о Рождестве. Если речь, которую вы ведете к мужику, не идет прямо навстречу его конкретным желаниям, он не станет вас слушать... Вон правительство несколько раз принималось внушать мужику, чтобы он не думал того-то и того-то, а думал то-то и то-то. А мужик все понимал в том смысле, в каком ему хотелось понять... Да, вот, кстати, я расскажу вам по этому поводу один небезынтересный факт. Дело было так. На границе Орловской и Калужской губерний — невдалеке от меня — случился, не припомню точно когда, но вообще вскоре по отмене крепостного права, бунт. Помещик надул уставной грамотой крестьян: отрезал у них самый лучший участок, которым они пользовались крепостными. Те упрашивать барина, жаловаться

к мировому посреднику. Последний решил не в их пользу. Мужики забунтовали, т. е., не взирая на отмежевание, отправились пахать под озими спорное поле. Власти переполошились и наделали такого шуму, что об этом дошла весть до государя, который случайно охотился в это время на лося поблизости, в дремучих калужских лесах. Время было горячее, волнения из-за „настоящей воли" вспыхивали повсюду, и царь решил явиться на место и самоличным увещанием подействовать на бунтовавших, а через них, надеясь на стоустую молву, и вообще на крестьян нашей полосы. Бунтовщиков с раннего утра собрали возле церковной паперти: государь известил через начальство о скором прибытии. Целый день прошел в напрасных ожиданиях"...

Тут Тургенев внезапно переменил тон и с неподражаемой интонацией в неподражаемо-народной форме повел рассказ от лица мужика-очевидца, который описал Тургеневу все царское посещение. „Ждем мы пождем, а царя все нет да нет. Уж солнышко закатываться за лес стало. Отошшали мы, инда тоска на нас напала... Только глядь, по дороге прямо на нас валит кто-то страшенный, с усами, на коне; как подлетел, как пужанет во все горло: „Такие из-этакие, на колени! Государь едет!" Так мы и пали ничком и лежим, словно на страшной неделе — господи, владыко живота моего — и головы поднять не смеем. Много ли, мало ли мы так лежали, только как загогочет кто-то опять: государь едет! Поднял я бочком голову: вижу, не то казаки, не то

егеря летят во всю мочь и гикают, а по дороге, брат ты мой, этак в шагах в тридцати, жарит тройка лошадей, каких я от роду не видывал: копыта — во какие, дуга — во какая, — и Тургенев широко разводил своими мощными руками, — и кучер как чудо-юдо бородатое, а в брычке, значит, сидит сам ен, и того больше, шинель серая, фуражка с красным околышем, а голова, ну вот умри я, что пивной котел, ровно у Лукопера богатыря. Прожег мимо нас, как молония какая, крикнул зычно таково: стой! и остановился шагах в пяти от нас. „Вставай, пгвасгавные!", а голос, как труба, только что с картавинкой, как у нашей старшей барышни. Мы вскочили. Стоят царские лошади, что вкопанные, и ямщик, как астатуй какой, сидит, а царь, не слезая, приподнялся, повернулся, знычит, к нам с брычки, через верх спушшенный, да и начал говорить грозно так сначала, да слова все какие-то мудреные, а потом словно бы смиловался, а под конец опять закричал: „повиноваться господам помещикам, повиноваться вам им!" Да как подымет руку, да как погрозит нам ба-а-альшущим пальцем, да как крикнет кучеру: айда! Лошади опять, как молония, в гору по дороге, промеж леску, а солнышко уж село, и заря дуже погорела, а царь все держится за брычку, стоит к нам обернумши да пальцем грозит, а палец-то евоный — во какой, что столб, — по небу-то по огневому качается"... Ну и что же, спрашиваю я мужика? — продолжает Тургенев, убравши свой не меньше легендарного царского палец. „Ну, вестимое дело, и повино-

вались, только уж и драли нас за это!“ — Как, за что за это? — недоумевал я. „Да мы, значит, землю ту у помещика так и отпахали“. — Как отпахали? А разве вы не слыхали, что вам царь-то говорил, чтоб повиноваться помещикам? — „Эх, барин, мы люди темные, мы рассудили, что накричать-то он на нас только для страху накричал, а что приказ от яво был помещикам, чтоб, знычит, теперь-то уж их благородиям да нам сиволапым повиноваться: буде-ста им над нами мудровать“... — Так вот видите, как трудно мужику вбить в голову то, что ему не по душе“, — и Иван Сергеевич снова улыбнулся.

Я передаю лишь остов этого рассказа и, по возможности, слова, какие остались у меня в памяти. Но как передать мастерской тон Тургенева, его жесты, мужицкое выражение его лица? На нас этот рассказ произвел глубокое впечатление.

Тургенев вскоре уехал из Питера в свое орловское имение, но не забыл своих новых знакомых[1]. Если напечатают когда-нибудь его письма из этого времени к Успенскому, который нас познакомил с Тургеневым, то из них читатель убедится, как Иван Сергеевич следил за литературной деятельностью нашей братии, и не только за беллетристикой, но и за публицистикой, и не раз встретятся в них рассуждения по поводу, например, той или другой чисто-экономической статьи (между прочим, и моих „Проявлений современного капитализма в России“, напечатанных в начале 1880 г.

[1] Тургенев уехал из Петербурга в середине апреля 1880 г.

в „Русском Богатстве“)[1]. Не забывали и мы его, и когда года два спустя в редакцию артельного журнала, который издавался в то время некоторыми из нас (прежнего „Русского Богатства“ или „Устоев“?) было прислано довольно ядовитое стихотворение на Тургенева, громадное большинство артельщиков решило не печатать его.

История вышла такая. Иван Сергеевич написал в это время свою наделавшую много шума „Песнь торжествующей любви“[2]. Некоторые старались отыскать в ней какую-то политическую аллегорию. Но многие были прямо возмущены этой, как им казалось, отчужденностью Тургенева от русской жизни и ее вопросов, его „тупочувственностью“, как говорил один мой приятель, умнейший человек. И вот некий адвокат-радикал, кажется тот самый, который, увлекшись героическими фигурами девушек-пропагандисток процесса 50-ти, написал знаменитое в свое время стихотворение:

> Мой тяжкий грех, мой умысел злодейский
> Суди, судья, но проще, но скорее[3],

этот адвокат не мог простить Тургеневу его экскурсии в область „чистого искусства“ и сочинил довольно удачную пародию на тургеневскую фантазию. Из пародии я помню только

[1] Статья Н. С. Русанова называлась „Современные проявления капитализма в России“ и была напечатана в двух первых книжках „Русского Богатства“ за 1880 г.

[2] „Песнь торжествующей любви“ была закончена Тургеневым в июне 1881 г. и напечатана в 11-й книжке „Вестника Европы“ того же года.

[3] Это стихотворение написано А. Л. Боровиковским (1844 — 1905) — одним из защитников на „процессе 50-ти“ (1877).

описание первого визита таинственного музыканта к прекрасной сеньоре:

„Посмотри“, и вверх ногами
Пред сеньорою стал гость,
Опираясь волосами
На бамбуковую трость...

да финал, следующий за падением загипнотизированной сеньоры, когда она обращается к мужу с мольбой о помиловании:

„Извини, прости, мой милый...
Извини: ведь я — во сне“...
Написал блондин картину
На брюнетовой спине...

Каково бы ни было, впрочем, мнение публики об уместности „Песни торжествующей любви“, Тургенев искупил ее, написавши в это же время такую поразительно-сильную и всю проникнутую сочувствием к революционерам вещь, как его „На пороге“, внушенную ему, как мне говорили позже, удивительной личностью Софьи Перовской...

Н. Н. ЗЛАТОВРАТСКИЙ

ИЗ ЛИТЕРАТУРНЫХ ВОСПОМИНАНИЙ

Николай Николаевич Златовратский (1845—1911) — известный писатель-народник. Дебютировал в литературе рассказом „Падеж скота“, напечатанным в „Искре“ 1867 г. Следующие годы сотрудничал в ряде мелких изданий: „Будильнике“, „Новостях“, „Неделе“ и др. Первым произведением, доставившим ему более широкую известность, была повесть „Крестьяне-присяжные“, появившаяся на страницах „Отечественных Записок“ 1874 г.

Принадлежа к „литературной артели“, Златовратский входил в состав кружка молодых писателей, знакомства с которыми искал И. С. Тургенев. Впрочем, настроен был Златовратский умереннее своих товарищей.

В настоящем издании воспроизводится только первая глава статьи Н. Н. Златовратского „Из литературных воспоминаний“ (Сборник „Братская помощь пострадавшим в Турции армянам“. М. 1897) — глава, целиком посвященная воспоминаниям об И. С. Тургеневе.

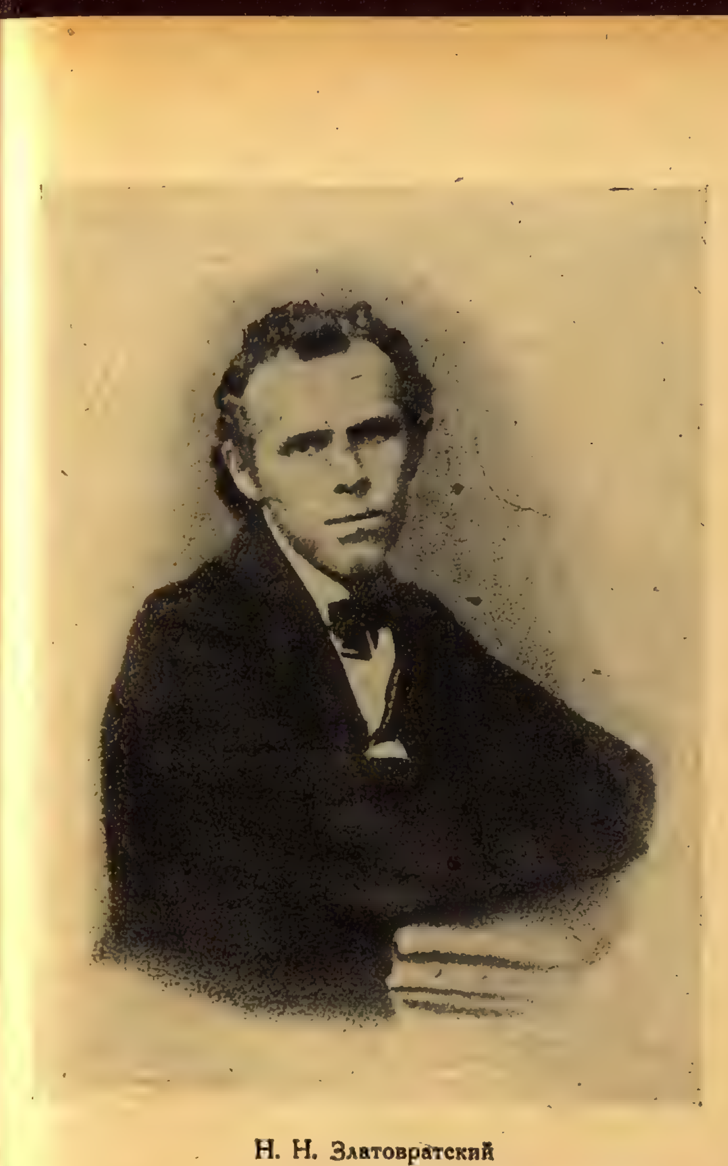
С Тургеневым мне пришлось встретиться при несколько исключительных условиях. Это было, кажется, в начале 80-го года, когда был основан „молодой“ группой сотрудников „Отечественных Записок“ небольшой „артельный“ журнал „Русское Богатство“. [1] Помнится, молодая редакция решила просить Тургенева через Г. И. Успенского, бывшего в то время за границей и видавшегося с ним, прислать что-нибудь для нового журнала. Тургенев, в виду

[1] Основанный в 1876 г. Н. Савичем „журнал торговли и промышленности“ „Русское Богатство“ не имел никакого успеха и был в мае 1879 г. приобретен за ничтожную сумму (300 рублей) С. Н. Бажиной, за которой стояла „литературная артель“ с С. Н. Кривенко во главе. В состав артели вошли: П. В. Засодимский, Н. Н. Златовратский, Н. С. Русанов, Н. И. Наумов, Г. И. Успенский, В. М. Гаршин, А. М. Скабичевский и др.

известных натянутых отношений между ним и „молодым поколением", начавшихся еще с „Отцов и детей" и не рассеявшихся даже после „Нови", был, говорят, особенно тронут этой просьбой. Он тотчас же передал в редакцию на первый раз небольшое стихотворение „Игра в крикет в Виндзоре" (в журнале не напечатанное по цензурным условиям, как говорили, в виду дипломатических соображений) [1]. В это же время Тургенев выразил желание ближе сойтись и познакомиться с „молодым поколением", на первый раз в лице редакции нового журнала, и протянуть друг другу руки в знак „примирения". Это „слияние" и должно было произойти в первый же приезд Тургенева в Петербург. Помню, о предстоящем свидании шли среди молодых литераторов большие разговоры: „ригористы" решительно протестовали против такой „слабости", а тем более против того, чтобы самим брать на себя инициативу этого свидания. Споры обострились еще более, когда стало известным, что Тургенев никак не может сам притти в редакцию (или к кому-либо из членов ее), так как вследствие подагры был не в состоянии подниматься на верхние этажи [2]. Требовалось устроить

[1] Не точно названное Златовратским стихотворение „Крокет в Виндзоре" было написано Тургеневым в 1876 году и предложено А. С. Суворину для „Нового Времени", но „по независящим от редакции причинам" напечатано не было (см. „Открытое письмо к И. С. Тургеневу" А. Суворина, „Нов. Время" 1877 г, № 413 от 24 апр.). Напечатано в 1881 г. в № 8 журнала „Слово", сотрудниками которого состояли почти все члены „литературной артели" „Русского Богатства". Более исправный текст стихотворения помещен в 10-й книжке „Русской Старины" за 1883 г.

[2] И. С. Тургенев писал 15 февраля 1880 г. Л. С. Стечькиной: „я . . . занемог тотчас по приезде сюда, две недели не выходил из комнаты . . .".



Н. Н. Златовратский

подобающую обстановку свидания. Решено было воспользоваться гостеприимством одного богатого золотопромышленника.[1] Для большинства соблазн побеседовать по душе с „большим“ писателем (а побеседовать в то время было о чем) был настолько велик, что оно не устояло и приняло эту комбинацию.

В назначенный час я в сопровождении товарища двинулся на званый вечер в салон г. N. Признаться сказать, до такой степени большинство из нас, — разночинских литераторов, — было робко, дико, застенчиво, что одно только антре салона привело нас в полное смущение, а когда мы вошли в богатое большое зало, убранное тропическими растениями, когда увидали впереди стоявшее отдельно кресло, а вокруг него целый ряд стульев, уже наполовину занятых неизвестной нам публикой, как будто ожидавшей выхода на эстраду знаменитого певца или музыканта, — мы смутились окончательно и сгрудились в сторонке около входной двери. Очевидно, нас ожидало впереди вовсе не то, на что мы рассчитывали. В публике говорили вполголоса, сам хозяин постоянно подходил к лестнице и смотрел вниз, чтобы не пропустить момент приезда гостя. Во всем чувствовалось что-то необыкновенно торжественное. Вдруг зазвенели по всем комнатам электрические звонки. Хозяин сорвался с места и бросился к лестнице, за ним поднялась хозяйка. Глаза всех напря-

[1] Это свидание, по сообщениям других мемуаристов, не первое, а второе по счету, состоялось в феврале 1880 г. в доме К. М. Сибирякова, издателя журнала „Слово“.

женно обратились к дверям. По лестнице поднималась величественная седая фигура Тургенева. Джентльмен с головы до ног, безукоризненно одетый, изящный и любезный, с свободно величавыми жестами, он, как истинный „король“ литературы, широкими, твердыми шагами прошел к приготовленному для него месту. Публика заняла полукруг стульев вокруг него — и Тургенев, как воспитанный, общественный человек, давно привыкший ко всевозможным салонам, тотчас, кажется, понял свою роль. Пока публика терялась, не зная с чего начать разговор, — он сразу взял все дело в свои опытные руки и начал свободно, оживленно и остроумно рассказывать о своей заграничной жизни, о встречах с разными особами; затем, мимоходом упомянув о современных русских делах, выразил сожаление об „обоюдных крайностях“ и, наконец, как-то совершенно неуловимо перешел к характеристике „народа“, который, по его мнению, растет не по дням, а по часам, и мы не заметим, когда он будет совсем большой. Как иллюстрацию этой мысли, он бесподобно передал два эпизода из своей деревенской жизни.

В первом он рассказал уморительную сцену встречи важной особы [1].

Публика долго смеялась, прежде чем Тургенев, с губ которого не исчезала все время тонкая ироническая улыбка, перешел к другому рассказу.

[1] Рассказ Тургенева о приезде Александра II во взбунтовавшуюся деревню передан Н. Русановым, см. стр. 280—283.

— А вот это уже недавно было. Заехал я побывать в свое старое имение. Думаю, — посмотрю, как то там, что осталось от старого, — все же была старая поэзия, воспоминания... Признаться сказать, — холодно почувствовалось, сиротливо, неуютно... Да оно так и должно быть!.. Так и должно быть!.. Велел это я старосте вынести на террасу самовар: сел один, пью чай... Вот вижу двигается неторопливо к дому молодая деревня, все ближе и ближе. Смотрю: пиджаки, сапоги с наборами глянцем так и прыщут, на головах картузы словно накрахмаленные натянуты — идут, зернышки погрызывают, скорлупки на стороны побрасывают. Подошли, остановились невдалеке от меня. Смотрят: глаза веселые, бодрые. Приподняли не торопясь над головами фуражки, опять не торопясь аккуратно надели.

— Ивану Сергеевичу-с! — говорят.

— Здравствуйте, господа.

— Разгуляться, значит, к нам приехали?

— Да.

— Соскучились по родной стороне?..

— Соскучился.

— Поди, не весело теперь здесь?

— Вот посмотрю.

— Тэ-эк-с!..

Я не припомню хорошенько всех характерных деталей разговора, — да и не в этом собственно дело было, а в том непередаваемом тоне, с которым он велся и воспроизвести который мог только такой неподражаемый рассказчик, как Тургенев. Он действительно был неподражаем. Я, конечно, и сотой доли не

могу теперь передать тех тонких черт, характерных выражений, неуловимых деталей, с которыми передавал оба рассказа Тургенев.

— Стоят, зернышки грызут, скорлупки на сторону пробрасывают, — повторял Тургенев. — „Счастливо, говорят, оставаться, Иван Сергеевич!“.

— Ну, мыслимо ли было что-нибудь подобное двадцать лет назад!

Иван Сергеевич иронически добродушно улыбнулся, публика была в восторге. Присутствовавшие тут некоторые редакторы и издатели тотчас же набросились на Тургенева с просьбами „непременно“, „обязательно“ воплотить эти „чудные вещи“ в перл создания — и, конечно, вручить для напечатания в их журналах.

— И, имея такой неистощимый запас творчества, вы, Иван Сергеевич, так скупо нас дарите своими произведениями! — восклицали они: — это просто грешно!..

— Э, господа, — сказал Тургенев, — вы нас, писателей, плохо знаете. Рассказать что-нибудь забавное в игривом тоне — это вовсе не так трудно, а воплотить этот же рассказ в художественном произведении — это большое дело!.. Вот я вам сейчас рассказал два эпизода, вам понравилось, а попробуй я их сейчас же, придя домой, передать на бумаге, — я уверен, что ничего не выйдет, даже строчки не напишу!..

Разговоры в том же направлении продолжались еще несколько времени.

Наконец, Тургенев громко поднялся: очевидно „сеанс“ был кончен. За ним шумно поднялась публика, — и только теперь Тургенев, повидимому, вспомнил, что у него с кем-то должно было произойти свидание „по душе“, одним словом совсем не то, что вышло на самом деле. Он стал искать кого-то глазами и, наконец, обратился с каким-то вопросом, кажется, к Гаршину или Успенскому, с которыми был знаком раньше. Ему указали в дальний угол, где сидело несколько человек из „молодой“ литературы. Проходя мимо к выходу, он любезно и благожелательно пожал нам руки; сказал каждому по нескольку лестных слов, дав понять, что он слыхал уже нечто „о молодых талантах“, и попрежнему торжественно удалился. Мы были решительно огорчены всей этой торжественностью, которой никак не могли и предполагать.

Кажется, на другой или на третий день ко мне приходит Г. И. Успенский.

— Это чорт знает, что вышло! — говорит он — это совсем невозможно. Я слышал, что Тургенев сам остался недоволен, что все так случилось. Поедемте сейчас к нему, поговорим с ним и, кстати, условимся насчет нового, уже настоящего свидания, у кого-нибудь из нас. Только поедем пораньше, чтобы застать его на свободе, пока еще никто на него не налетел из поклонников.

Мы поехали часов около 11. Тургенев остановился в отеле на Морской. Он занимал довольно большой и богатый номер. Мы застали его за чаем, свежего и бодрого, уже

изящно, хотя и по-домашнему, одетого в легкое длинное пальто. Он тотчас же разговорился с нами очень весело и оживленно.

— Да, да, — говорил он, — мне это было ужасно неприятно, что тогда собралось так много постороннего народа... Но как же бы нам это устроить получше, по-домашнему?

Успенский предложил собраться у него как-нибудь вечером, хотя при этом предупредил, что находит это в одном отношении не совсем удобным: его квартира на 3 этаже, и для Тургенева будет, может быть, совсем трудно взобраться туда. Но ничего нельзя было придумать лучше, так как ни у кого из нас не оказалось квартиры ниже 3 этажа. Тургенев предупредительно заверил, что это для его ног еще вовсе не так высоко, и при помощи палки он легко взберется. Мы уговорились относительно дня и часа нашего нового свидания.

— Мы очень рады, — сказал Успенский, — что, кажется, никто еще у вас не был и мы застали вас одних.

— Вы думаете? — засмеялся Тургенев. — Напрасно. Только что перед вами у меня была одна барынька, большая моя поклонница, и мы уже успели решить с нею не мало важных литературных вопросов, хотя бы, напр., о том как теперь надо писать романы. Она сама писательница [1]: мне кажется, у нее есть талант... но она затрудняется, видите ли на-

[1] Речь идет, вероятно, о Л. Ф. Нелидовой, часто посещавшей Тургенева во время его пребывания в Петербурге в феврале 1880 г. Об ее очерке „Полоса", помещенном в 10-й книжке „Вестника Европы" за 1879 г. Тургенев отзывался одобрительно в письмах к М. М. Стасюлевичу.

счет содержания и спрашивает меня, что бы я ей посоветовал изобразить, на какой тип обратить внимание, какая тема была бы интереснее... Довольно, знаете, затруднительно отвечать на такие запросы... Но мне пришла в голову счастливая мысль. Знаете, что бы я посоветовал, сударыня, — сказал я, — вместо того, чтобы нам, романистам, пыжиться и во что бы то ни стало выдумывать „из себя“ современных героев, — взять, знаете, просто, самым добросовестным образом биографию (а лучше, если найдется автобиография) какой-нибудь выдающейся современной личности и на этой канве уже возводить свое художественное здание. Конечно, при условии, что из этого не выйдет „личностей“!.. Как вам кажется эта мысль? Я сказал ее барыньке вместо шутки, а теперь мне думается, что она может иметь некоторое серьезное основание.

Мы согласились с ним и попросили его развить свою мысль.

— Да ведь это действительно верно! Посмотрите сами, — разве наше время не представляет целый десяток в высшей степени оригинальных и глубоких по своим психическим свойствам личностей?.. Да какая же беллетристическая „выдумка“ может сравниться с этой **подлинной** жизненной правдой. Вот хотя бы взять недавно умершего писателя Слепцова [1]... Говорят, была преоригинальная

[1] Василий Алексеевич Слепцов (1836—1876) — писатель с богатой событиями биографией. Кончив курс Пензенского дворянского института, поступил в 1853 г. на медицинский факультет Московского университета, но, увлекшись театром, забросил лекции. Оставил университет и на зимний сезон 1854—1855 г. был ангажирован в Яро-

личность... А других, других сколько, не чета Слепцову!

Тургенев воодушевился, повидимому, его самого заинтересовала новая мысль, и мы могли ожидать продолжения очень интересного разговора, как вдруг звонок.

— Входите! — кричит И. С.

— Вас ли мы видим, И. С., опять в наших местах! — захлебываясь, залпом выпаливает запыхавшийся поклонник, врываясь в номер.

— Здравствуйте!.. Очень рад вас видеть... Мы, кажется, виделись с вами случайно в Париже?..

— Как же, как же!..

Но не успел еще гость высказать своих „приятных“ воспоминаний о встрече с Ив. Серг., — как уже второй звонок.

— Мы ли вас видим, Иван Сергеевич! — кричит новый поклонник, неистово потрясая руки Тургенева и умиленными глазами впиваясь в его лицо.

— Садитесь, садитесь! Очень рад, — говорит Тургенев.

— Ну, значит, достаточно, — шепчет мне Успенский. — На нынешний раз и того довольно, что успели переговорить... Теперь уж баста — он в плену! Поедем.

славль сразу же на первые роли. Вернувшись через год в Москву, занялся литературной деятельностью. В конце 50-х годов отправился в пешеходное путешествие с целью собирания этнографических материалов. В 1865 г. переехал в Петербург и сошелся с редакционным кружком „Современника“. Слепцов ревностно пропагандировал идеи женской эмансипации, устраивал коммуну (в связи с чем был арестован), женскую переплетную мастерскую, контору переводов и т. п. В литературе выступал с народными рассказами, романами и драматическими сочинениями

Мы еще раз напомнили Тургеневу о нашем уговоре и распрощались.

В назначенный вечер нас собралось у Г. И. Успенского человек более десяти, сгрудившись в его маленьком зальце за обыкновенным раздвижным обеденным столом. К назначенному часу явился и И. С. Тургенев, и появление это теперь совершилось уже без всякой торжественности. Это было приятно, но, увы! и теперь не произошло, кажется, того, чего так долго мы все ждали, именно того „по душе“, о чем мы сильно мечтали, т. е. и мы — „новое поколение“, и он — маститый ветеран славного прошлого. Не могу, конечно, отвечать за других присутствовавших на этом вечере, которые, может быть, вынесли другое впечатление, но я... я не был удовлетворен, и мне казалось, что не были удовлетворены ни сам Тургенев, ни многие другие. Тургенев, может быть, наивно думал, что мы вдруг оживимся, заговорим, заволнуемся так же вольно, широко, беззаветно, как бывало это в кружках Станкевича и Белинского, а его старческому сердцу оставалось бы только таять и млеть и любовно-отечески радоваться на нас, а мы столь же наивно ждали, что вдруг он развернет перед нами свою душу, ту святую святых, в которой совершается великая тайна творческого проникновения, или, по крайней мере, поведает нам свои тайные взгляды на ту новь, которую, как нам думалось, он только чуточку еще затронул, робко, неуверенно, даже иногда фальшиво. О, как далеко было это время от тех блаженных времен, когда могли вестись эти безза-

ветные, бесконечные разговоры о „матерьях важных“, когда юные приятели могли писать друг другу письма в 10, 20 или более печатных листов, когда между ними царила такая же дружба, как между платонически-влюбленными институтками! Многие из нас сидели по углам, замкнутые, сосредоточенные, из которых каждое слово надо было тянуть клещами. И не потому, конечно, чтобы они уже так „холодны“ были сравнительно с своими идеалистами-предшественниками и чтобы у них вместо „души“ был пар и чтобы они были „жестки и черствы“, как то думал когда-то о Добролюбове сам Тургенев, — а потому... Впрочем, вряд ли бы тогда кто-нибудь из них, а тем более сам Тургенев — в то время уже человек из далекого мира грез и художественных созерцаний — могли понять и объяснить эти „почему“. Но теперь, когда знаешь, как многие из присутствовавших там уже были отмечены неумолимой страшной судьбой, когда вспомнишь Гаршина, Левитова[1] (хотя его там и не было, — но были подобные ему)... самого хозяина... все это сделается так понятно, так естественно. Конечно, разговоры велись, и больше всего опять-таки вел их сам Тургенев, очевидно не любивший натянутых положений, но не было, насколько мне помнится, ничего захватывающего, сильного, характерного, хотя, конечно, было не мало интересного в том смысле, в каком интересно всякое „слово“ знаменитого человека.

[1] Александр Иванович Левитов (1835 — 1877) — беллетрист-народник.

Между прочим, Тургенев все расспрашивал о „новых“, „оригинальных“ людях, о существовании которых он мог догадываться, но видеть и знать которых не мог. Ему, между прочим, тут же были указаны некоторые „из кавказских колонистов“ прежнего, еще не „толстовского“ типа [1]. По поводу этой темы Тургенев говорил, что он сам недоволен „Новью“, что это он только наметил некоторые черты, которые мог проследить по своим заграничным знакомым, что он теперь очень занят мыслью глубоко изучить это явление и что у него уже теперь имеется план изобразить русского „социалиста“, именно „русского“, который не имеет ничего, в главных психических основах, общего с социалистом западно-европейским [2].

Все это, конечно, было очень интересно; но к сожалению, вследствие головных болей, какими я страдал в то время, я не мог высидеть до конца беседы. Знаю, впрочем, что, повидимому, особенно выдающегося ничего не произошло. „Слияние“ и „примирение“ состоялись само собою, насколько могли состояться, так как, прежде всего, в них и надобности не было: с одной стороны, Тургенев вскоре же мог убедиться из необыкновенно шумных оваций, которыми он был встречен на первом же публичном чтении [3], что между самым „новей-

[1] Имеются в виду члены „кавказской колонии“ учрежденной С. Н. Кривенко близ Туапсе.

[2] См. стр. 73—74 настоящего сборника.

[3] На чтении в пользу Литературного фонда 30 марта 1880 г., на котором И. С. Тургенев выступил с рассказом „Малиновая вода“.

шим“ поколением и им не существует уже ничего из прежних, отошедших в область преданий недоразумений, с другой — времена были настолько другие, что никому уже и в голову не приходило поднимать старые дрожжи.

В. Ф. ГИНТОВТ-ДЗЕВАЛТОВСКИЙ

ИЗ „ПАРИЖСКИХ ВСТРЕЧ“

Владимир Францевич Гинтовт-Дзевалтовский—эмигрант и ссыльный (отбывал ссылку в Усть-Каменогорске). Умер в Новосибирске в 1925 году, оставив незаконченные мемуары, отрывок из которых напечатан в № 2 журнала „Сибирские Огни" за 1927 г.

Приехав в конце 1880 г. в Париж, В. Гинтовт-Дзевалтовский был через несколько дней избран библиотекарем русской эмигрантской библиотеки на улице Бертоле. Библиотека эта возникла в феврале 1875 г., пополнялась главным образом книгами, пожертвованными разными лицами, и русскими газетами и журналами, присылавшимися редакциями бесплатно. Горячее участие в ее организации и поддержке принимал И. С. Тургенев, устраивавший ежегодно в ее пользу литературно-музыкальные вечера.

В. Гинтовт-Дзевалтовский, как библиотекарь, должен был ежемесячно являться к И. С. Тургеневу с докладом о состоянии дел — отсюда его знакомство с писателем.

В настоящем сборнике воспоминания Гинтовт-Дзевалтовского перепечатываются лишь в части, касающейся его встреч с И. С. Тургеневым.

К моему появлению в Париже с И. С. Тургеневым у колонии выросла глухая борьба. Эмигранты находили, что И. С. разыгрывает левого с левыми, а с правыми — правого, что это непозволительная игра. Иезуитизму нет места среди русских. В одни двери впускают либералов — Салтыкова-Щедрина, Стасюлевича [1], а в другие — русского посланника в Па-

[1] М. М. Стасюлевич (1826—1911) — историк, публицист и общественный деятель. Редактор и издатель либерального „Вестника Европы".

риже [1] и иных прочих бюрократов, вплоть до выщептавшихся и выдохшихся чиновников, прожигающих во Франции остатки жизни и средств.

Конечно, зеленая молодежь набрасывалась на И. С. с пеной у рта, а люди средних лет относились более умеренно, и были такие, что стояли горой за „красу и гордость отечественной литературы".

Волна нападок то поднималась, то падала до полного штиля, и вдруг — караул! Тургенев поместил в русской ретроградной газете письмо, где называл себя либералом английского пошиба и что он не революционер [2].

Никто не входил в мотивы этого письма. Повода к нему тоже никто не знал. Все азартно набросились на писателя, не принимая его объяснений. Вышибли из-под ног его скамейку, чтобы он повис у позорного столба. Горячие и азартные советовали мне писать ему о делах, но на дом не ходить.

В раздумьи, как мне быть, я вспомнил Петра Лавровича [3] и пошел к нему со своим горем. Торопливо и возбужденно я изложил ему все. Он изредко давал короткие реплики, предоставляя мне высказаться до конца. Наконец, П. Л. сказал:

— Я имел объяснение с Иваном Сергеевичем из-за этого письма, но то, что вам говорили, не совпадает с моим отношением к Тургеневу.

[1] Н. А. Орлова (1827—1885).

[2] Имеется в виду „Ответ Иногороднему обывателю" Тургенева, опубликованный в № 359 газеты „Молва" от 30 декабря 1879 г., — еще до приезда Гинтовт-Дзевалтовского в Париж.

[3] Лаврова.

Он был, есть и будет солью земли, и партийные мерки к нему не приложимы.

— Это так издали. Но, являясь к нему, я должен быть на-чеку... может выйти неловкость...

— Пустяки, — сказал П. Л. — Ничего подобного не случится. Он всегда любезен, внимателен и корректен. Это я знаю по личному опыту и отзывам тех эмигрантов, что бывают у него и сейчас. И. С. всегда даст хороший совет, не откажет в помощи соотечественнику, как было со многими, нередко злоупотреблявшими его терпением и средствами. Ваши с ним отношения будут деловые, а „како веруеши“ он никого не спрашивает.

— И все-таки я не буду чувствовать себя самим собою, как, например, у вас...

— Не робейте.

— Не это, а...

— Понимаю... талант, знаменитость, недоступность. Но вы увидите олимпийца в лучшем значении этого слова. И, дабы не смущалось сердце ваше, я дам свою карточку.

П. Л. присел к столу, набросал на визитной карточке несколько строк и, передавая мне, посоветовал итти сегодня же.

— И будьте сами собой! — добавил он спокойно, с доброй улыбкой...

Весь далекий путь от Латинского квартала до улицы Дуэ я совершил пешком...

Вот и квартира маститого писателя, красивый двухэтажный особняк. Я еще раз задал себе задачу — домой или к нему? Внизу жили Виардо, вверху — он.

Не помню, как я вошел в дом и пробрался в прихожую.

Передо мною, пока я копался в передней, выросла стройная фигура крепкого, подвижного старика, в котором безошибочно я узнал И. С. Таково было поразительно сходство оригинала с портретами.

Подавая карточку П. Л., я хрипло сказал:

— Я к вам, Иван Сергеевич.

— Прошу... Пожалуйста!

На ходу он пробежал глазами записку, круто повернулся на каблуках и воскликнул:

— Так это вы naufragé! да? [1]

— Я... Двое с половиной суток тонул и пока что жив.

— Очень рад, очень!.. Тому две причины: первая — naufragé, а вторая — мой сотрудник. Но что же я?.. Тут у меня холодно и неуютно, — взмахнул он рукой на гостиную. — Пойдем в кабинет. Вы озябли?

— Кажется, немного.

— Скоро согреемся у камина, а я принесу вам плед. Слава богу, вы на суше и заслужили немножко тепла.

Твердой и быстрой походкой И. С. вышел из кабинета и через минуту вернулся с пледом в руках. Я поднялся, чтобы взять плед, но он силой усадил меня и накрыл этой дорогой пуховой вещью.

[1] Потерпевший крушение. В конце ноября 1880 года пароход «Oncle Joseph», на котором В. Гинтовт-Дзевалтовский переправлялся из Неаполя в Марсель, столкнулся в море с другим пароходом и затонул. При этой катастрофе из 300 пассажиров спаслось только 35 человек — часть из них была подобрана тотчас же проходившим мимо кораблем. Гинтовт-Дзевалтовский пробыл в открытом море на обломке палубы 52 часа и лишь на третьи сутки был замечен и спасен.

Усевшись рядом, он лопаткой прибавил коксу в камин „до яркого пламени“.

— Хотите чаю или кофе?

— Спасибо, Иван Сергеевич, не хочу.

— Скажите, сколько времени в Париже? — спросил И. С.

— Три недели.

— Как он показался?

— Ничего, понравился.

— Весь осмотрели?

— Нет. Кроме Лувра, где пробыл около двух часов, нигде не был.

— Побывайте в Лувре 10, 20 раз и подольше там оставайтесь, чтобы ознакомиться хоть поверхностно со всеми его сокровищами. Лувр — единственный в мире.

— Постараюсь.

— Французский язык знаете?

— Немного.

— Говорите, читайте, пишите.... Можно долго прожить здесь, водить знакомство только с компатриотами и нисколько не научиться языку. Современем пожалеете, что не использовали случая.

— Постараюсь.

— Вы эмигрант?

— Да.

— Серьезно влопались?

— Нет.

— Хотите в Россию?

— Пока нет.

— Как ваши дела — финансовые?

— Не блестящи.

— Что думаете делать, чем заняться?

— Не присмотрелся, не решил.

— Пробовали писать в газеты, журналы?

— Нет.

— Вот попробуйте. И для начала опишите ваше кораблекрушение. Не торопясь, шаг за шагом, припоминайте мысли, чувства, жесты, движения. Не старайтесь изложить красиво, следите за точностью, пока не забыто происшествие во всех мелочах и подробностях. В затруднительных случаях я обещаю вам свою помощь.

Я поблагодарил Ивана Сергеевича и смотрел на него, не спуская взгляда.

— Не верите? — спросил он.

— Своим силам... и боюсь... и к чему?

— Вот вы все такие, господа эмигранты. Извините за эти слова. Учиться писать надо. Верить в свои силы необходимо. Бояться некого и незачем, а что касается вопроса — к чему? — то ответ до-нельзя прост, а именно: хлеба ради насущного. Смотря по объему и содержанию, поместим в газету или журнал. Пишите! Сама судьба позаботилась о вас, давши в руки исключительный материал. Да, наконец, это же интересно и другим. Я, например, отнесусь с крайним вниманием к подобной вещи, написанной самим претерпевшим на море. Со мною нечто подобное могло случиться когда-то давно, пожалуй, в ваши годы. Но у меня вышло несуразное и глупое, и я вспоминию об этом с прискорбием... [1]

[1] В ночь с 18 на 19 мая 1838 года произошел пожар на пароходе „Николай I“, на котором И. С. Тургенев уехал в Германию для поступления в берлинский университет. По преданию, встречающему, впрочем, подтверждение в письмах матери писателя, Варвары Пе-

И. С. молчал, глядя грустно в камин...

— Потом, — продолжал он, оживляясь, — случай помог мне встретиться с человеком, жизнь которого, засыпанного обрушившейся шахтой, три-четыре дня висела на волоске. Но от него я ничего не мог узнать, кроме фразы: не знаю, что было со мною... страшно было... хотелось жить... Не помогли и наводящие вопросы, которые я ему ставил. Он повторял одно, и беседа наша рассохлась. Вас я не прошу сейчас рассказать, что и как было, надеюсь, что напишите, и тогда ознакомлюсь.

Поговорив о делах библиотеки, получив от него несколько ценных указаний и советов, согретый и ободренный, я поднялся уходить. И. С. проводил меня и в передней, когда я готов был выйти, понизив голос, сказал:

— Я могу в счет вашей работы выдать аванс.

— Но у меня деньги есть, и я ни в чем не нуждаюсь. Благодарю!

— Ну, хорошо... А когда я вас увижу с рукописью?

— Постараюсь возможно скорее. Понатужусь, напишу и принесу.

Возвращался я счастливый, удовлетворенный. Сама резкая погода была забыта. Я шагал, как сказочный герой в семимильных сапогах. До чего я был наэлектризован, что не испытывал ни голода, ни усталости. Одно стремление поглощало меня: домой за работу...

тровны, Тургенев во время катастрофы обращался к матросам с мольбой: „Спасите меня, спасите меня! Я единственный сын у матери“ (в действительности у него был брат — Николай Сергеевич).

Накануне нового года я отправился к Ивану Сергеевичу с импровизированным портфелем под мышкой; там у меня между разными делами была и поспевшая к тому времени моя первая рукопись... На ходу я подумал, что, пожалуй, поздно к Ивану Сергеевичу, но шел к нему.

У входа еще раз задумался, — не вернуться ли домой, — и вошел.

У него были гости. Кто-то раскатисто смеялся, слушая речь хозяина. Когда я вошел, все умолкли, а Тургенев улыбнулся и представил меня гостям. Их было трое-четверо, и запомнил я только одного из них — Альфонса Додэ, пожилого красавца с характерной бородой двумя прядями и моноклем.

— Это наш naufragé, — сказал хозяин гостям и кратко, отрывисто рассказал историю мою присутствующим.

Я был предметом их любопытства, и чувство неловкости наполняло меня. Я решил поскорее ускользнуть.

— А это вот... моя мазня, Иван Сергеевич; боюсь, что она вам не понравится.

— Ну-ну! Поменьше смирения...

Прошло две-три пары дней. На журфиксе у Петра Лавровича я получил приглашение явиться к Ивану Сергеевичу „по делу“... Мне очень не хотелось итти к Ивану Сергеевичу, и я откладывал этот „поход“ со дня на день. Причина нежелания лежала в чувстве неловкости — я определил это — получить деньги, может быть, за вещь негодную, но напечатан-

ную только в угоду Тургеневу. Дела библиотеки шли своей колеей, и я выжидал, так сказать, необходимости, вынужденности посещений...

Наконец, такой случай представился. Я обязан был итти, так как явилось опасение, что библиотеку изгонят из занимаемого помещения.

Медленно, неохотно, как на барщину, шел я, зевая и оглядываясь по сторонам. Ноги привели меня к славному домику. Тут у подъезда стояла шикарная карета. Я воззрился на нее и любовался красотой лошадей и экипажа. Поднимаясь по лестнице, я был остановлен прислугой, быстро, полушопотом говорившей о приеме русского посланника и просившей зайти через час.

Этому препятствию к встрече я как будто обрадовался и, спускаясь вниз, повторял:

— Ambassadeur... Ambassadeur...

Выйдя на тротуар, я враждебно оглядел карету и безразлично пошел в пространство. Чувство недовольства нарастало во мне и крепло.

— Скажите, пожалуйста... Да мне что!.. Видно и так, что это не мешок с отрубями... Перепуганные ужимки прислуги тому порукой... да. Ну, а я-то что... — робко заговаривало во мне самолюбие.

— Мы люди крохотные, — ответил я, — выброшенные, преследуемые, опасные, „злоумышленники“. Какая чепуха! Что я злоумышлял? Как раз напротив: слушаю, читаю, думаю, чтобы научиться „сеять разумное, доброе, вечное“... и награда тебя — „злоумышленник“!..

Следующей ступенью, если я что-нибудь хорошее сделаю, будет злодей!..

— Ну, а сам Тургенев кто по их терминологии? Ни то, ни другое... или.... Ведь пришлось же ему выпутываться... и так неловко, унизительно... Компромиссы, уступки, объяснения... Жизнь! Цена-то тебе — грош в базарный день... Бр-р! Мерзость. Домой. Прочь! Нельзя размениваться по мелочам. Назвался груздем — полезай в кузов. Все или ничего — вот девиз, достойный имени человека!

Незаметно для себя я повернулся и шел обратно. Перед моим носом шумно сорвался с места экипаж. Кучер внимательно следил за мною при размине. Я догадался, что гость Тургенева уехал. Порывистое движение экипажа предсказало мне, что я кому-то подозрителен и, пожалуй, опасен.

— Комики, — сказал я, — не знают той простой истины, что мирный человек, как я, сам себе опасен: его-то и обидит всякий Тит Титыч.

На лестнице у входа к Ивану Сергеевичу оказалась ловкая французская прислуга и вежливо приглашала входить.

— Ну, что ж, — говорил я по-русски, — конечно, я должен зайти: у меня дело спешное и неотложное.

Тургенев приветливо улыбался и говорил:

— Это вы? Давно жду. С вами маленькое недоразумение... Но это пустяки. Сейчас сообщу вам приятную новость. Получил письмо от Стасюлевича. Статья ваша в наборе. Можете получить гонорар.

— Благодарю. Но хотел бы подождать выхода в свет, а уж потом и получить.

— Что за щепетильность? Ведь теперь номер „Порядка“ появился в продаже. На-днях мы увидим [1]. Впрочем, как хотите. Наконец, возьмите аванс!

На меня нашло упрямство, и я отказался от аванса. Заметив, однако, что мой отказ вызвал в Тургеневе неудовольствие, я сказал:

— Я взял бы аванс, но только самую малость .... рублей пять.

— Ну вот и хорошо... Ха-ха... Пять рублей... Чудак вы. Ха-ха. Нет, я так не мог бы...

Посмеиваясь, Иван Сергеевич вышел в другую комнату. Вернулся он с сотней франков в горсти, высыпал их мне в карман и сказал:

— Это пока. Остальные четыреста франков считайте за мной: так распорядился Стасюлевич [2].

Смешная монета — франк. Она мала, но для меня была как бы рублем. Сантимы мне представлялись копейками. И, казалось, что приобретаемое в России рублями во Франции я покупал франками. Что-то двойственное было в моем представлении о франках: и много и мало.

Позвякивая монетами, я шел домой с назойливо внедрившейся в меня мыслью, что я получил больше, чем следовало за мою первую литературную вылазку.

[1] Статья Гинтовт-Дзевалтовского „Пятьдесят два часа на обломке в открытом море“ была напечатана за подписью „М. К.“ в № 16 газеты М. М. Стасюлевича „Порядок“ от 17 января 1881 г.

[2] Тургенев писал 3/15 января 1881 г. М. М. Стасюлевичу: „Телеграмму получил и 200 фр. утопленнику [т. е. Гинтовт-Дзевалтовскому] выдал“.

— Чтобы чорт побрал хороших людей, — думал я. — Со своим устремлением к филантропии они ставят людей в невозможное положение. К этим монетам в кармане мне противно дотронуться. И выбросив их на улицу, не поможешь делу. Только дураком назовут. Нет, я объяснюсь с Иваном Сергеевичем и в случае его неудовлетворительного ответа откажусь от дальнейшей получки, которая мне руки обжигает“.

Самоанализ разъедал меня. Я чувствовал себя обиженным, униженным и не мог успокоиться.

Только работа в библиотеке изменила мое настроение. Я подумал: „Тургенев, Стасюлевич... да полно, это филантропы! Эти не унижаются и не унижают. Вот до чего доводит меня моя щепетильность, как сказал Иван Сергеевич“.

Я пописывал фельетоны, вычурные по форме и никуда негодные по содержанию. Иван Сергеевич просил писать еще, не огорчаться неудачами. Из пяти моих „трудов“, отосланных в редакции, в печать попало с грехом пополам два, остальные канули в вечность [1]. Я не сердился на газету, зная хорошо, что товарец мой жидкий, зато огорчался на себя. Все чаще появлялось сомнение в моих способностях к писанию. Кое-как писать не хотел. Написанное бесконечно исправлял и все был недоволен и формой и смыслом.

[1] В газете „Порядок“ нет фельетонов, подписанных теми же инициалами „М. К.“, которые стоят под статьей „Пятьдесят два часа на обломке в открытом море“. Быть может, перу Гинтовт-Дзевалтовского принадлежат три статьи о международной электрической выставке (№№ 247, 256 и 300 за 1881 г.), подписанные инициалами „М. Кр.“

Сказать „недоволен“ — это ничего не сказать, так как мое недовольство стало страданием, в чем я сознался Ивану Сергеевичу.

— А вы временно бросьте это и понаблюдайте жизнь. Характерное и особенное записывайте, соблюдая правду. Это скучная, но необходимая подготовка. Не святые горшки лепили, и не с неба упал Пушкин.

— Ну, что вы, Иван Сергеевич...

— Всякий солдат должен надеяться быть генералом, — шутил он. Думаете мне даром досталась работа? — О, все бывало: и досада, и тоска, и злоба. А зависть, дрязги, мелочные придирки, искажение простейшей мысли в явно враждебном истолковании... А беспощадные удары по самолюбию... Тернистый путь мой подходит к концу, а молодежь — мой кумир, радость и утеха заката — требует от меня невозможного. Всякому овощу свое время, а мне предъявляют векселя, по которым я платить органически не в силах. Дал, что мог. История рассудит нас... Вы боитесь смерти? — круто изменил он тему.

— Какой?!

— Самой обыкновенной... телесной.

— Пока отношусь индиферентно. Даже после аварии не думаю.

— Ах, naufragé, это хорошо. Как я был бы счастлив, если бы...

— Может быть, с годами стану задумываться и грустить и страдать.

— Вы приписываете моей старости? Ошибаетесь, naufragé! Я с юности думаю частенько о ней и боюсь. Эта отвратительная гостья

часто посещает меня. Это моя особенность, что при малейшей опасности я теряюсь и заболеваю медвежьей болезнью. О всех случаях испуга и болезни рассказывать долго и неинтересно. Укажу такое, в сущности, ничтожное происшествие. В Петербурге, переходя на другую сторону Невского, я был ударом дышла сшиблен с ног, но лошади и экипаж меня не задели. Возвратился домой самостоятельно, но, рисуя себе картину ужасных последствий подобного случая, расхворался... Того курьезнее был со мной инцидент в Одессе[1]... и смешной и грустный, и, пожалуй, роковой. В то время я уже имел некоторое имя в литературе. Имел друзей и заводил новые знакомства. Ехал для отдыха, а попал в беличье колесо. Между прочим, пленился, и не на шутку, одной девицей из представительного аристократического рода. Ее душа отозвалась созвучием моей, как говорили в доброе старое время. Не вдаваясь в подробности встреч, разговоров, ухаживанья, сомнений и предположений, перейду к главному. Однажды деве пришла в голову блажь прокатиться в ялике по взморью. Заторопилась, затормошила меня; я согласился. Мы сели в лодку — я на весла, она у руля. Плывем, весело болтаем. „Ходит птичка весело по тропинке бедствий“, — подумал я при первой значительной качке и легком, но зловещем урчании в моем нутре. Быстро настроение изменилось. В немногих словах я подготовил девицу к возвращению на берег, говоря: я люблю море,

[1] Тургенев в Одессе никогда не бывал.

но только наблюдая с берега; что оно мне портит настроение и здоровье, что морского волнения совсем не переношу.—Это не волнение, а ничтожная зыбь, — сказала барышня. Вот сейчас попадем на водоворот и т. д. Я попросил ее повернуть лодку к берегу — она отказалась. Я бросил весла и заявил настойчивое желание вернуться, но она не изменяла курса. Между тем, волны значительно качали нас. Мое беспокойство перешло в боязнь: мне представилось бог весть что. Тон, каким я сказал барышне отойти от руля, был настолько стилен, что она поспешно покорилась; я занял ее место, но... благополучно доплыть до берега не удалось: мой желудок сыграл надо мною злую шутку. Как вышли на сушу, как она скрылась, — я плохо помню. Поднимаясь на высокий, крутой берег, я оглянулся, но нигде не видел признаков моей спутницы. Она умчалась домой с легкостью серны...

— А что же с вами было дальше? — не удержался я от вопроса.

— Да ничего. Именно ничего, — сказал Иван Сергеевич замедленным темпом.—Сразу прошла болезнь и физическая и психическая. Как рукой сняло. Я зевал от усталости, поднявшись на крутизну, оглядывался по сторонам, как потерявший что-то малоценное и неудобное для посторонних зрителей, но ни сожаления, ни раскаяния, ни желания поправить во мне не было.

— Но симпатия или что больше не могли же исчезнуть?

— Так быстро, скоропалительно — вы хотите сказать? К удивлению моему, именно это и

случилось. Дела давно минувших дней, но я остро помню этот перелом в моем состоянии.

— Что же, вы скоро покинули Одессу?

— Настолько торопился, что многих не удостоил прощальным визитом.

— И барышню не видели больше?

— Нет, конечно, хотя их психика иная, и, вероятно, возможно было молчаливое забвение и т. д. Ведь это какой народ! Хрупкие и нежные, идеально настроенные, витающие в эмпиреях, они быстро спускаются на землю и живут ближе к природе и ее явлениям, чем мужчины. Да и что особенное случилось?

— Неловкость, — подсказал я.

— Ха-ха... — раскатисто смеялся Иван Сергеевич. — Это мягко сказано. Случилось неприличие в клубе, но жизнь и примеры ее научили меня немножко понимать женщину. Женщина и не такие вещи прощает. Поживете — увидите. Правда, прощает не каждая, но лучшая. Прощает нахальство, грубость, издевательство, тяжелые уколы самолюбия, оскорбления и даже побои. Посмотрите шире, например, как крепко сшита российская женщина ударами плети, кулака, пинками и затрещинами.

— Но ведь у нас и сильный пол не в Эдеме обретается.

— И ей же хуже, — улыбнулся глазами Иван Сергеевич.

— Почему же!?

— Да потому, что, кроме общего изуверства, она и в частной жизни, в семье не имеет своего я. Вот тут-то и надо поражаться такой

женщине, ее мощности, и удивляться, что она и сама жива в уме и энергии и дает другим жизнь и радость. Поймите, что другие женщины (персиянки, китаянки) при таких условиях доводят нацию до маразма и гибели. Женщина — основа жизни народа. Отсюда и вывод, который сами знаете.

— Но я хотел бы услышать ваш.

— Культивируйте хорошую женщину, содействуйте ее освобождению и просвещению без крайностей, несвойственных ее природе.

— Теперь говорят о равноправии во всем.

— Говорят, говорят... пока еще немногие. Но я сказал бы больше. Блестящее будущее за тем народом, который поставит женщину не только наравне с мужчиной, а выше его. Признаки такого отношения налицо: это — Англия, Соединенные Штаты и в особенности Австралия.

Со следующего дня начались прощания...[1] На самый конец я оставил поход к Ивану Сергеевичу и Петру Лавровичу. Дошла очередь и до них.

С отчетом и кратким обзором по библиотеке я появился в гостинной „кумира 60-х годов". Он, как всегда любезный, закидал меня вопросами.

— Что так долго вас не видно?

— В прошлом месяце ведь я был.

— Написали что нибудь?

— Да вот кое-что о библиотечных делах.

[1] В начале 1882 г. В. Гинтовт-Дзевалтовский уехал из Парижа в Россию.

— Я не о том. А для „Вестника Европы" пора бы вам этакое... в повести, рассказе попробовать свои силы.

— Я подумывал об этом, но не решился даже составить плана. Что может у меня получиться, когда и для фельетона у меня нехватает слов, образов, картин.

— Фельетон — особый род литературы. Мне тоже не написать хорошего фельетона, — сказал И. С., как мне показалось, с грустью.

Я удивленно поглядел на него, думая, что он насмехается над моей неопытностью.

Он переменил тему.

— Знаете, что „Порядок" закрыли [1] и что порядки таковы, при которых невозможна даже такая газета?

— Знаю.

— Ну, вот и пишите... Хоть эскизы, обходя, конечно, политику и всякие „измы".

Я молчал, сосредоточившись на мысли, как объяснить свой уход из библиотекарей. И. С. помог мне своим вопросом.

— Вы что-то хотите мне сказать?

— Да. Я на-днях покидаю библиотеку. Таковы мои обстоятельства, что необходимо это сделать.

— Временно?

— Нет.

Он подошел к окну, посмотрел на улицу, повернулся и прогулялся по комнате, молча и обдумывая. Я боялся его вопросов и сосредоточенно обдумывал ответы. Но вопросов не последовало. Он понял, что я не только ухожу,

[1] Издание газеты „Порядок" оборвалось на № 8 от 9 ян. 1882 г.

но и уезжаю, что это наш последний разговор и что спрашивать меня дальше неуместно.

— Все же, — сказал И. С., — если понадобится вам — обращайтесь ко мне, постараюсь быть вам полезным.

— Благодарю. Но я ведь постесняюсь.

— И совершенно напрасно.

Я уже был в передней, оделся и сказал прощальное слово. И. С. остановил меня.

— Подождите одну минуту!

Он ушел в кабинет. Я в недоумении ждал его, решая эту новую и неожиданную загадку:

— Что все это значит!?

Продолжительное отсутствие его меня интриговало. Но вот послышались характерные шаги, и он подходит ко мне со словами:

— Простите, что долго копался. Чтобы вы меня скоро не забыли, я прошу вас вот эту книгу взять от меня на память. Это—сочинение А. Додэ — „Жак“, написано интересно и реалистически правдиво. Так написать и в такой форме сюжета мог только большой художник.

— Благодарю и никогда не забуду, — говорил я, сильно растроганный.

— Дал бы вам что свое, да ничего не нашлось под руками.

Я очутился на улице, думая об И. С. и книге в красивом переплете, что я держал крепко в руке. Я много раз в душе благодарил его за деликатность, что он не поставил меня в неловкое положение. Давая книгу, он ясно понимал, что я улетаю на восток и навсегда.

ПРИМЕЧАНИЯ

В воспоминаниях В. Ф. Гинтовта-Дзевалтовского с большой ясностью обнаруживается различие в отношении к И. С. Тургеневу „старшего“ и „младшего“ поколений русских революционеров. Статья говорит о настороженном внимании к писателю парижских эмигрантских кружков в 1880 году, но еще раньше, в 1877 году, при выходе „Нови“, мнения об этом произведении четко разделились. Принятый сочувственно П. Л. Лавровым и П. А. Кропоткиным роман встретил резкую отповедь со стороны активного революционера, принадлежавшего к „младшему“ поколению, Г. А. Лопатина. Его отзыв о „Нови“, включенный в состав предисловия („К читателю“) сборника „Из-за решетки“ иллюстрирует рассказы В. Ф. Гинтовта-Дзевалтовского и является одновременно дополнением, а отчасти и коррективом к прокламации, составленной Якубовичем и написанной под влиянием понесенной потери — смерти Тургенева. Приводим целиком этот редкий, но показательный отзыв.

„Даже такие художники-джентельмены, как Ив. С. Тургенев, — которого, конечно, никто не заподозрит в доброхотном холопстве, — посодействовали своими трудами искажению нашего „мученика правды ради“ в глазах нашего общества. Частью недостаток знакомства с последним движением [1] и его представителями, частью условия нашей подневольной прессы принудили даже его избрать своими героями наименьше характерные и многочисленные типы и заставить их действовать самым несообразным, чтобы не сказать смешным, образом, вследствие чего у читателя невольно получится самое неверное пред-

[1] Видный уже из того, что чисто „народническое“ движение последнего шестилетия вставлено автором в рамки „заговорщицкого“ движения времен Нечаевщины, т. е. автор смешал две ступени развития, резко различающиеся между собою по своим основным воззрениям на способ достижения новых порядков. (Примечание Лопатина).

ставление как о внутренних мотивах, толкающих наших революционеров на избранный ими путь, так и о формах их деятельности и о степени состоятельности их упований. В самом деле, кто такие эти „революционеры" г. Тургенева? Это — или аристократический выблядок, кидающийся, как будто со зла и наперекор своей созерцательной, художнической натуре, в крайнюю демократическую деятеленость, или „неудачник", потерпевший крушение в любви, или же это разные Остроумовы и Машурины — люди „скорбные главою", хотя и „чистые сердцем", служащие послушными пешками в руках какого-то закулисного „воротилы". Есть тут еще заправский Хлестаков, выбравший случайно для своей брехни революционную почву, да прохвост Голушкин... Вот и весь персонал представителей нашей революционной молодежи! Есть тут, правда, еще молодое, симпатичное женское существо, но это — ребенок, с прекрасными порывами молодой души, со страстной жаждой принести себя поскорее в жертву за что-то высокое и благородное. Это — вновь завербованный адепт, а не деятель. Затем есть еще, пожалуй, Соломин, человек умный (по словам автора), но он поставлен в такой таинственной тени, что сам чорт не разберет, что он такое: русский ли это Шульце-Делич, Верещагин [1], ожидающий невесть каких чудес от артельных сыроварен и гвоздилен, или же это тонкий агитатор, с иронией смотрящий на промахи своих чересчур горячих и неумелых товарищей и старающийся осторожно заручиться прочным влиянием на простой народ, внушив ему беспредельное уважение и доверие к себе. Итак, вот мотивы, толкающие по мнению Тургенева, наших революционеров на их дорогу. Это — фальшивое общественное положение, житейские неудачи, обманутая любовь, умственная несостоятельность и слабость характера... Но факты жизни громко вопиют против такой простой разгадки. Переберите всех личностей последних процессов: — много ли вы найдете людей, кото-

[1] Н. В. Верещагин (1839—1907) — брат знаменитого художника, сельский хозяин-практик, организатор артельных сыроварен и школ молочного хозяйства.

Герман Шульце-Делич (1803—1883) — немецкий экономист и политический деятель, организатор кредитных товариществ, имевших успех у ремесленников и вообще мелкой буржуазии.

рым бы жизнь не распахивала дверей для того, что принято называть в обществе благополучием? Где это „фальшивое житейское общественное положение и житейские неудачи", когда мы видим тут людей с аристократическими именами, с независимым состоянием, с блестящею ученой карьерой, бросающих все это, чтобы поднять на свои плечи крест подвижничества за народ? Где эта „обманутая любовь", когда мы видим, что ни тюрьма, ни каторга не в состоянии разорвать личных связей русских социалистов? Где эта „бесхарактерность и недомыслие", когда мы видим, что одни и те же личности судятся во второй и в третий раз, т. е. после того как прежние заключения и муки успели уже просветить их разумение и испытать их решимость и настойчивость? А народ г. Тургенева? Как он смотрит на усилия своих доброжелателей? Он или глядит на них, как коровье стадо, выпуля глаза и не понимая ни слова, или же, поняв в чем дело, поспешно тащит своих доброхотов в стан, наклав им предварительно в загорбок... Много ли случаев такого рода известно г. Тургеневу из действительности? Не поражает ли, напротив, всякого хотя бы ничтожность числа отобранных у крестьян экземпляров разных запрещенных изданий по сравнению с распространенными? Что касается до нас, то мы знаем, насколько мы обязаны благожелательному укрывательству крестьян. Да и разные отставные солдаты, вычитывающие по временам крестьянам из „старых" указов про „новую" волю", могут рассказать ту же сказку... Если кое-кто из крестьян и пристает к социализму, то это, по словам героя г. Тургенева, только дряблые, бесхарактерные, разбитые натуры, „развинченные, чахоточного сложения". И это писалось в то время, когда крестьянин Марк Малиновский, сказав свое умное и смелое слово в сенате, сидел в центральной каторжной тюрьме в ожидании смерти. Когда другой крестьянин, Григорий Крылов, умирал в заключении, не дождавшись суда, а крестьянин Петр Алексеев выступал перед судом с своей речью! [1].. Мы нарочно упомянули особо о г. Тургеневе,

[1] Скажем мимоходом, что всюду на белом свете констатирован тот факт, что к социалистическому движению пристают обыкновенно наиболее интеллигентные из рабочих, самые энергические люди и лучшие мастера. Так было в 1848 году во Франции, в 1864 г. в Германии

не желая смешивать его вольных и невольных ошибок с завываниями доброхотных холопов, одинаково отвратительных и когда они кричат „живио!“ в своих славянских комитетах, и когда они ревут „распни его!“ на всякого, осмелившегося сбросить с себя ливрею холопства. Тем не менее эти ошибки показывают ясно, что даже сильный талант бессилен изобразить среду, относительно которой он имеет лишь кое-какие отрывочные сведения, особенно при стеснительных условиях нашей подцензурной прессы, и что если он и не натравливает общество на носителей новых идей, как это делают другие, то все-таки способствует составлению уродливого представления о новом историческом моменте и его деятелях. Мы охотно готовы свалить все недостатки „Нови“ на цензурные условия и согласиться, что эти условия необходимо требовали: и неверного помещения центра тяжести повести, т. е. сосредоточения внимания на личностях слабых, неумелых, наивных, непрактичных, чтобы не сказать глупых, и оставления в тени и даже полного исключения личностей умных, понимающих, последовательных, энергичных, деятельных и практичных, и даже того натянутого утешения, которое заключается в невосприимчивости народа к социальной пропаганде и в неопасности пропагандистов! Ведь обыкновенная публика не разбирает таких тонкостей и плохо читает между строк.

Художественные образы насильственно врываются в ее воображение, становятся для нее живыми лицами, и она не в силах удержаться, чтобы не судить о новом направлении и его представителях по „Нови“.

Предлагаемого уже достаточно, чтобы показать, насколько заслуживают доверия лубочные изображения наших революционеров, хотя бы и писанные патокой, как в первой части „Нови“.

(„Из-за решетки“. Сборник стихотворений русских заключенников по политическим причинам в период 1873—77 г.г., ожидающих „суда“. Женева, 1877 г., стр. XV—XIX).

(Лассальянское движение) и в Интернационале, тоже самое было и в Парижской Коммуне и, наконец, то же самое происходило на наших глазах за последнее время и на Руси. (Примечание Лопатина).

УКАЗАТЕЛЬ

СОДЕРЖАНИЕ



Цена 2 р. 40 к.
Папка 30 коп.



СКЛАД ИЗДАНИЙ:
Москва, Тверская, 26, 3-й магазин Гос. Акц. Изд. Общества
«ЗЕМЛЯ и ФАБРИКА»
Телефон 5-45-13